

**НОВЫЙ
Журнал**

158

**THE NEW
REVIEW**

THE
NEW REVIEW
Новый Журнал



Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942
С 1946 по 1959 редактор М. Карпович
С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев
С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль
С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор),
Г. Андреев, Л. Ржевский

Сорок четвертый год издания

*РЕДАКЦИЯ: РОМАН ГУЛЬ (главный редактор),
Ю. Д. КАШКАРОВ и Е. Л. МАГЕРОВСКИЙ
СЕКРЕТАРИ: О. РАДЫШ и З. ЮРЬЕВА*

NEW REVIEW. March 1985

NEW REVIEW (ISSN 596680) is published quarterly by New Review Inc., 2700 Broadway, New York, NY 10025. Second Class postage paid at New York, N.Y. POSTMASTER: Send address changes to the New Review, 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Мацкевич</i> — Милостивая государыня!	5
<i>Р. Гуль</i> — Я унес Россию. Том III. "Россия в Америке"	14
<i>Б. Закович</i> — Стихи	38
<i>Ю. Кашкаров</i> — Князь Иван Хворостинин. Словеса Царей и Дней	40
<i>М. Косталевская</i> — Стихи	59
Мария Башкирцева и ее дневник. Текст и публикация <i>В. Гинзбург</i>	60
<i>Л. Владимирова</i> — Стихи	89
<i>Ю. Иваск</i> — Похвала Российской поэзии	90
<i>Ю. Зорин</i> — Русские и Модильяни	116
<i>Ю. Иваск</i> — Стихи	122
<i>К. Померанцев</i> — Философия в поэзии Георгия Иванова	123

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ

<i>М. Шапиро</i> — Женский концлагерь	130
<i>М. Гольдштейн</i> — Екатерина Гельцер	155
<i>Б. Бровцын</i> — Первого июня на Лахте	167
Новые документы о Петре Первом. Публикация <i>А. Бабкина</i> ..	174
<i>Троцкий</i> — Сталин. Публикация <i>Ю. Фельштинского</i>	195

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА

<i>А. Федосеев</i> — Парадокс высоких духовных ценностей	224
<i>Я. Тельнов</i> — Певец в стане русского крестьянства (А. Чаянов) ..	238
<i>Ю. Фельштинский</i> — Продовольственная политика большевиков в 1917 — 1920 годах	248
<i>В. Миклашевский</i> — Александр Радищев	267

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

<i>В. Пирожкова</i> — Памяти И.А. Мацкевича	286
---	-----

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К пятой годовщине Афганской войны; *Ю. Иваск* — Письмо в редакцию; *Бройде-Треннер (Антонов)* — Обращение292

БИБЛИОГРАФИЯ

Игумен Геннадий Эйкалович — "Диалектика художественной формы" А.Ф. Лосева; *Т. Фесенко* — Б. Закович, "Дождь идет над Сеной"; *В. Перелешин* — Ренз Герра. Библиография Б. Зайцева; *Т. Фесенко* — Е. Таубер, "Верность".298

МИЛОСТИВАЯ ГОСУДАРЫНЯ!

Иосиф Антонович Мацкевич оставил после себя богатое литературное наследство. Желая почтить память недавно скончавшегося писателя, я выбрал для перевода его фельетон, который был впервые опубликован в 1967 году в польской эмигрантской газете «Wiadomości» и вошел в последнюю книгу И. Мацкевича и его жены Барбары Топорской под заглавием «Droga Pani» ("Kontra", London, 1984).

Со смертью И.А. Мацкевича ушел на этого мира настоящий Человек, большой польский патриот, лишенный какого бы то ни было шовинизма, самый крупный современный польский писатель. Мир праху его в немецкой земле, не такой уж далекой от его родной Виленщины, красоту и дух которой он ярко выразил в своих писаниях.

С. Крыжицкий

Я получил письмо из Варшавы. На конверте стояло: "Институт литературных исследований при Польской Академии Наук, Варшава, Дворец Сташица". Внутри была анкета и любезная просьба ее заполнить с целью частичного использования в следующих томах "Словаря современных польских писателей". Подписано: заведующая работой над «Словарем современных польских писателей», доктор Ядвига Чаховская. Итак, я с удовольствием отвечаю по этому адресу.

Милостивая государыня, в ответ на Ваше любезное письмо от 1-го декабря 1966 года я думаю, что обязан объяснить Вам, почему не нахожу возможным заполнить присланную анкету. Я делаю это не с позиции так называемой незыблемости политических убеждений, которая логически должна удерживать каждого поляка от участия в каких бы то ни было мероприятиях оккупационного коммунистического правительства в созданных

им в нашей стране административных учреждениях, объединениях, союзах, институтах и т.д. Логический принцип этого подхода уже давно нарушен как на родине, так и в эмиграции. Этот принцип заменен "эволюционным" толкованием, запутанной формулой которая перебрасывает мост между несоместимыми: "Воля партии — воля народа, воля народа — воля Бога". Борьба за сохранение или восстановление первичного принципа непримиримости практически бесплодна, особенно для отдельной личности; как говорит русская поговорка, "один в поле не воин". Но есть и другие причины, отчего я не хочу отвечать на Вашу анкету. Прежде всего, позвольте мне проанализировать некоторые ее пункты.

Пропускаю первые пять пунктов, касающиеся персональных данных. Но вот пункт 6-й: "Жизнеописание в хронологическом порядке, включая политико-общественную деятельность". Сомневаюсь, что мой ответ приведен в «Словаре» достаточно полно. По призыванию я не политик. Но (не считая, конечно, антибольшевицкой войны 1920-го года, на которую я пошел со школьной скамьи гимназистом шестого класса) если я и принимал когда-либо участие в политической деятельности, то неизменно на стороне "контрреволюции". Я и сейчас считаю большевицкую революцию самым большим злом, затормозившим так великолепно развивавшийся с XIX века прогресс человечества, наиужаснейшим во всей истории человечества духовным рабством. Гитлеризм — близнец коммунизма, а нынешний национал-коммунизм — близнец гитлеризма. И все началось с т.н. "Великого Октября", погрузившего мир в мерзость коллективной лжи. Только контрреволюция, только уничтожение темной силы социалистического тоталитаризма сможет вернуть человеческой мысли ту свободу, которой она пользовалась до рокового 1917 года.

Жаль, что пока это всего лишь благие пожелания. Но если бы я мог когда-нибудь развернуть политическую кампанию, то повел бы ее под лозунгом: "Бей коммунистов, спасай свободную мысль!" Как видите, милостивая государыня, этот лозунг — глубоко человекен и, будучи универсален, лишен национальной ограниченности. Поэтому я бы осмелился в пункте 6-ом охарактеризовать мою деятельность или, точнее, мою мечту о таковой,

как прогрессивную в самом точном смысле этого слова. А что было бы напечатано в «Словаре»? Не возражаю, если Вы назовете меня там „врагом народной Польши“. Я им и являюсь. Но если, характеризуя мою деятельность, или мечту о таковой, Вы назовете ее „антипрогрессивной“, „антисвободительной“, то это будет неправдой. Зачем же мне помогать Вам в этой лжи? И еще. Юзеф Циранкевич в одной из своих речей назвал меня „нигилистом“ и „представителем наиболее ожесточенных кругов международной реакции“. Так не решает ли это вопроса в целом, ибо имеет ли право Польская Академия Наук помещать в своих изданиях оценки, не согласующиеся с оценками представителя Польской Объединенной Рабочей партии и самого премьер-министра Польской Народной Республики, — не говоря уже о противоположных?

Пункт 7-й анкеты: „Награды и отличия“. Вы догадываетесь, милостивая государыня, что за взгляды, подобные моим нынешним, никто не получит не только ордена „Возрожденной Польши“ из Варшавы, но и никаких наград и отличий в Западном мире. В мире, который ради „разрядки“ помогает коммунистам как можно прочнее укрепить их господство в завоеванных странах, или, заимствуя с французского, в „Европе отечеств“, в том числе — и в нашем с Вами отечестве.

Перейдем к пункту 8-му. „Хронологический перечень публикаций с точным указанием дебюта (газета, особое издание, сцена, радио)“. Со времени моего дебюта я написал десять книг и одну пьесу. Теперь пишу одиннадцатую повесть, которая, боюсь, Вам не понравится.* Большая часть этих книг была издана и на иностранных языках. «Дорога в никуда» — по-английски, по-немецки и по-французски. Книга о Катынском злодеянии была издана в Лондоне („The Katyn Wood Murders“), Цюрихе („Ungesühntes Verbrechen“), Риме („Il Massacro della Foresta“), в Мадриде („Las Fosas de Katyń“); по-французски в отрывках в газете „La Libre Belgique“ в Брюсселе. Можно ли считать это некоторым „достижением“, с точки зрения „современного польского писателя“? Несомненно. Являются ли мои книги научным вкла-

* „Nie trzeba głośno mówić“ (1969)

дом в польскую историческую науку? Несомненно, хотя и скромным, но вкладом. Казалось бы, Польская Академия Наук совместно со своим Институтом Литературных Исследований должна оказывать особенное покровительство такой деятельности. Однако, боюсь, если бы я упомянул в 8-м пункте Вашей анкеты об этом моем вкладе, то о нем либо вообще умолчали, либо препарировали, исказив научную и историческую правду. Исказили или умолчали правду, касающуюся целого народа, правду о судьбе уничтоженных в Катynie и в других местах 15-ти тысяч интернированных, главным образом, офицеров, 15-ти тысяч поляков, убитых выстрелами в затылок.

Прежде, чем перейти к дальнейшему обоснованию моего нежелания принять участие в любезно присланной Вами анкете, я прошу мне позволить несколько отклониться от темы.

Знаете ли Вы, сколько смертных приговоров было вынесено в царской России за 80 лет, с 1826 по 1906 год? Включая сюда два польских восстания и революцию 1905-го года? Прошу Вас, попробуйте угадать.

В 1907-м году в Москве вышел коллективный пятисотстраничный сборник «Против смертной казни». В нем приняли участие: Лев Толстой, Соловьев, Немирович-Данченко, Булгаков, Бердяев, Розанов, Набоков и многие другие. И иностранцы: Анатолий Франс, Брандес, Бьёрнсон, Бутру, Поль и Виктор Маргериты, Октав Мирбо, Массарик и многие другие. Клеймя царскую жестокость (в книге, изданной в России — вот времена! — представляете себе, а?), они опираются на приведенный в этом сборнике именной (!), тщательно проверенный список людей, приговоренных к смерти (только "приговоренных": 28.5% приговоров, по разным причинам, не были приведены в исполнение) за 80 лет. Не знаю, угадали ли Вы хотя бы приблизительно... Так вот, с 1826 по 1906 год в России было приговорено к смерти 3419 человек.

Это на целую тысячу меньше, чем лежит только в одной Катynie (где были расстреляны интернированные из Козельска); в пять раз меньше числа убитых в Катynie и в других местах, в том числе в лагерях Старобельска и Осташкова, вместе взятых. И уж совсем ничтожный процент по сравнению с общим числом смертных приговоров, вынесенных и приведенных в исполнение

большевиками за 50 лет их владычества. Ибо число таких приговоров исчисляется миллионами и миллионами. А какой-нибудь коммунистический циранкевич грозит кулаком каждому, кто хотел бы "повернуть вспять часы истории". Разве не естественно, что я хотел бы их повернуть вспять. А Вы — нет?

Я умышленно задержался на моей катынской книге, так как считаю ее "образцовым", как у Вас выражаются примером.

Если сопоставить огромную массу научных исследований, неисчислимо число литературных публикаций, посвященных мартирологу поляков во время немецкой оккупации и написанных с экстагическим патриотическим придыханием, но и с полнейшим — в то же самое время — умалчиванием польских жертв под оккупацией советской (хотя бы и в работах Польской Академии Наук), то трудно отделаться от впечатления, что это придыхание ненатурально, а литературно-патриотический экстаз отдает заказом. Сам же патриотический дух оказывается как-то странно раздвоенным. Может существовать поляблока, полдома, полкоровы (если ее зарезать и разделить пополам). Но может ли быть полдуха, полобъективности, наконец, полискренности? Как не может быть и полуверы в Бога, ибо тогда ее вообще нет.

На практике дело выглядит еще более затруднительным. Официально Катынское преступление совершили немцы. Разумеется, никто в Польше в официальную версию не верит, все партийные гомулки прекрасно знают, как это было на самом деле. И поэтому об этом "немецком" преступлении было вежливо, но твердо предложено не писать и никак его не исследовать. Мы становимся свидетелями постыдной практики, когда коммунистическая партия, руководясь якобы "польскими" интересами, дает точные топографические указания мест, из которых одни подлежат освещению в отечественной литературе и науке, а другие — нет. И так все прекрасно, так все замечательно.

Чеслав Милош назвал это "порабощением ума", Витольд Едлицкий — релятивизацией правды. В таком *modus vivendi* есть ровно столько "польскости", сколько ее нужно коммунистам. Некоторые считают, что подобный *modus vivendi* тем не менее служит национальному делу и им нельзя пренебрегать. Не буду вступать в полемику. Пусть, кто желает, соглашается по патрио-

тическим соображениям на такое половинчатое деление. Лично я, принимая во внимание мое понимание человеческого достоинства, не соглашаюсь. А поэтому, не будучи уверен, что перечень моих публикаций в «Словаре современных польских писателей» не будет сокращен или искажен, я воздерживаюсь от заполнения 8-го пункта анкеты.

Тоже самое с пунктами 10-м и особенно 11-м Вашей анкеты: "Перечень критических работ (статей, рецензий), посвященных Вашему творчеству". Перечня статей и рецензий о всех моих книгах я не смог бы привести, даже если бы и хотел, так как их число перевалило за тысячу (собираю всё, это мое "hobby"). На шестнадцати языках. Точнее — на польском, английском, французском, немецком, итальянском, испанском, голландском, фламандском, португальском, русском, финском, венгерском, литовском, белорусском, украинском, чешском. Я понимаю, что даже такой ответ, несмотря на его краткость, может показаться чем-то вроде "рекламы" для "современного польского писателя". А у меня создается впечатление, что «Словарь» вовсе не заинтересован в рекламе писателя, который хотел бы остановить злосчастные "часы истории".

*

Однако, кроме мелкого спора о пунктах анкеты, для меня милостивая государыня, существует и принципиальная сторона вопроса. Я лично являюсь, может быть, единственным исключением, не считающим литературу Польской Народной Республики литературой, а тем более литературой польской. Ведь, скажем, до войны у нас в Польше никому не приходило в голову называть советскую литературу русской, — даже советскую литературу периода НЭП'а, которая пользовалась гораздо большей свободой, нежели нынешняя "пээнэровская". Русская литература — это литература дореволюционная плюс ее продолжение в эмиграции. А в Советском Союзе — литература *советская*, даже если в некоторых книгах и повествуется о детских играх или об обманутой любви. И так это понимали до войны не только в Польше, но и во всем мире. После Второй мировой войны, с учреждением в западном мире эволюционного конкур-

са — кто ниже в пояс поклонится коммунистам (до сих пор премии еще не присуждены, на первое место претендуют: Америка, де Голль, бургомистр Западного Берлина, левые интеллектуалы, римский папа, студенты, канцлер ФРГ), положение вещей изменилось. Я же все еще придерживаюсь старомодных, дореволюционных взглядов.

Мерилом всякой настоящей литературы является ее искренность. Коммунист, пишущий в свободном мире, если он не занят исключительно исполнением своих функций, но, предположим, искренно высказывает свои коммунистические взгляды, безусловно принадлежит к национальной литературе своей страны. С другой стороны, не только коммунист, но и не-коммунист, пишущий в коммунистическом государстве и тем самым подлежащий идеологической регламентации, требуемой коммунистическим строем, принадлежит уже не литературе своей страны, но литературой школе, навязанной этой стране (я говорю о литературе как таковой в ее *целом*, а не об единичных произведениях). Мериллом такого типа литературы является уже не индивидуальная искренность ее создателя, но — выполнение партийных директив.

Это мое мнение вызвало всеобщие возражения и даже возмущение. Но шум многочисленных голосов не убедил меня в том, что литература в коммунистической Польше и в эмиграции составляют одно целое. И если благие намерения эмигрантов понятны, то многочисленные нападки в мой адрес со стороны радио и коммунистических газет в Польше показали мне совершенно непоследовательными. Но вот мне на помощь пришел сам Гомулка и его подопечные. В своих многочисленных речах и указаниях они с пафосом заявляли, что "пээнэровская" литература (т.е. "современная польская") перестала быть прежней литературой, что с нею произошли необратимые изменения, что как "*литература в целом*", это уже литература не "буржуазная", но "социалистическая" и т.д. Тем самым они еще раз подчеркнули отличие "пээнэровской" литературы от литературы эмигрантской. Я привожу эти многочисленные свидетельства в своей книге «Победа провокации» и не буду их повторять здесь.

Кроме того, деятельность идеологического аппарата польских коммунистов снова и снова подтверждает мой тезис о рас-

хождении этих двух литератур. Нам твердят, что партия и правительство "поощряют" пээнэровскую литературу. Нет, это не так, — она издается ими, является их собственностью и заполоняет всю страну. А распространение польской эмигрантской литературы на территории Польши запрещено полицейским указом. О какой же общности тут можно говорить?

Если Институт Литературных Исследований при Польской Академии Наук разделяет мою точку зрения и, рассматривает писателей-эмигрантов как "современных польских писателей", то возникает вопрос, отдает ли он себе отчет в том неслыханном парадоксе, что этих "современных польских писателей" запрещено читать в современной Польше? Их книги, изданные за рубежом, не только не продаются в Польше, но даже отдельные экземпляры этих книг конфискуются на "польской" границе "польской" таможней, "польской" цензурой, "польской" полицией. Эти книги проникают в Польшу только контрабандой. Эмигрантская литература *в целом*, безразлично, политическая или аполитичная, считается в Польше чем-то чуждым. Я лично не смог переправить даже один экземпляр моей исторической повести времен Первой мировой войны «Дело полковника Мясоедова» с авторским посвящением близкому мне человеку. Корреспонденция "современных польских писателей" контролируется, или вовсе не доходит до адресата; газетные вырезки, заметки в прессе, рецензии — все это конфискуется. Не считаете ли Вы, милостивая государыня, что такое отношение к "современному польскому писателю" беспрецедентно в истории Польши?! Если, конечно, история Польши не ограничивается для Вас историей ПНР, т.е. историей владычества в ней коммунистической партии.

С другой стороны, разрешу себе заметить, что до сих пор я еще не слышал о том, чтобы Институт Литературных Исследований, Польская Академия Наук, Союз писателей, Союз журналистов, Союз артистов или какой-либо другой союз, объединение, культурное учреждение Польской Народной Республики или, наконец, отдельные писатели когда-либо выдвинули предложение или требование разрешить свободное распространение зарубежных польских книг в Польше. Когда какого-нибудь коммуниста выгоняют из партии, другого арестовывают, а третьего

лишают кафедры, поднимается буря протестов. Но чтобы кто-нибудь протестовал против запрета ввозить в Польшу книги современных польских писателей — о таком протесте не было и, наверное, не будет слышно. Не слышал я и о том, чтобы кто-нибудь из ученых, артистов и писателей из Варшавы, совершающих многочисленные вояжи по странам свободного Запада, когда-либо публично высказался в этом духе. С другой стороны, нет недостатка в многочисленных попытках наведения компромиссных мостов. Вот и я неожиданно получил анкету с предложением вступить в ряды "современных польских писателей" из... Варшавы.

Благодарю. Не ощущаю в себе никакой общности.

Примите, милостивая государыня... и т.д.

Иосиф Мацкевич

*Перевод с польского
Галины и Сергея Крыжицких*

Я УНЕС РОССИЮ

ТОМ III "РОССИЯ В АМЕРИКЕ"

Шато Нодэ

В "оплаченную еще" неделю к нам из "Пети Комон" на велосипеде совершенно неожиданно приехал Сережа. И с неожиданным предложением.

В обиталище мадам Пруст Сережа вошел одетый, как всякий французский крестьянин: в берете, рабочих штанах, рубашке с засученными рукавами и в неизменных деревянных сабо. Олечка приготовила какой-то обед. И за обедом Сережа рассказал, почему он внезапно приехал. Недалеко от Вианна есть замок, шато Нодэ. Он принадлежит старому французскому аристократу мсье Ле Руа Дюпрэ, бывшему парижскому банкиру. Старик одинок и с великими странностями, может быть потому его ферму никто и не хочет брать исполу. Сейчас у него "метайеров" (испольщиков) нет. Прежние (итальянцы) уходят, ферма свободна. (Поясню: — на юге Франции испольщина очень принята: вы даете свой труд, на свой риск и страх ведя хозяйство, а в конце года делите все барыши пополам с хозяином).

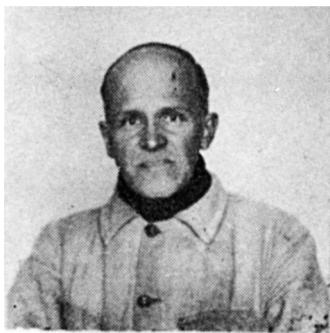
— Какая же, Сережа, ферма у этого банкира? — спросил я.

— Очень хорошая. 33 гектара земли. Коровье поголовье — 22 головы, из них 11 молочных, дойных. Земля — и пахотная, и виноградник, и луга. Дом для нас хороший, уместимся вполне. И я предлагаю взять ферму исполу на три года.

Тут я хочу рассказать кое-что о характере Сережи. На ферму в Гаскони мы сели по его настоянию: опрощение, труд, жизнь на природе. В этом жило некое "своеобразное мироощу-



Рома (2½ лет) и Сережа (4 лет). Пенза 1899.



Я в бытность мою исполщиком. 1940.



Наше обиталище в "мэтри" Нодэ

щение". И я задумывался: откуда всё сие в Сережу вошло? Где корни? Во-первых, по-моему, от детских капризов. Как своего первенца, мама Сережу очень баловала. И плюс — наследственность от деда (по отцу), вспыльчивость. В семье у нас бытовал рассказ, как к больному Сереже (ему было лет пять) пришел наш постоянный доктор и друг Александр Трифонович Уклеин и, осматривая Сереже горло, сделал ему, вероятно, больно. Сережа вырвался от него и стал кричать, бросаясь на доктора: "Трифка, черт, я тебя зарежу!" Конечно, при папе подобные "выступления" были невозможны. Но мама Сережиным капризам противостать не могла.

Другое, игравшее существенную роль в образовании "мироощущения" Сережи, пришло, по-моему, от Густава Эмара (Aimard). С детства у Сережи была страсть (именно *страсть!*) к чтению. Он часами просиживал за книгами. Во мне этого не было. Я предпочитал игру на нашем большом дворе — в лапту, в чушки, а особенно — гоняние своих голубей. Они бурной стаей вылетали со звоном крыл из голубятни и шли кругами сначала над крышами, а потом, все выше, выше и выше поднимаясь, уходили в поднебесье, где летали разноцветными точками. "Голубиная охота" меня радовала. Сережа этого не понимал.

Когда он перечитал Фенимора Купера и Майн Рида, он принялся за Густава Эмара и после того, как в пензенском книжном магазине Добровольнова был куплен весь Густав Эмар, Сережа пристал к родителям, чтоб ему выписали из Москвы (от Вольфа, по-моему) *полное* собрание сочинений Густава Эмара. Мама и папа эту Сережину страсть к чтению поощряли и, действительно, из Москвы вскоре пришло *полное* собрание сочинений Г. Эмара (как сейчас помню, в твердом синем переплете с золотым тиснением, томов 10-12, кажется). От приключенческих сочинений этого француза, писавшего из американской жизни, Сережу было не оторвать. И мне кажется, эта страсть к Эмару с его описаниями дикой природы и всяческих приключений с годами сильно повлияла на характер Сережи: его полное отвращение к городам, любовь к природе, к охоте, к верховой езде. Родители этому никак не препятствовали.

И вот теперь в этом "метайерстве", в опрощении, по-моему, в Сереже давал себя знать подсознательный импульс этой тоже

(если хотите) страсти к "приключенческой" жизни. Сережа ненавидел всякую "буржуазность", весь городской уклад жизни. А тут — хоть и в труде (быть может, даже непосильном), но он на природе, и с природой.

Когда Сережа кончил описание всех "прелестей" фермы в 33 гектара, я внутренне ахнул. Это вам настоящий Густав Эмар!

— Все это прекрасно: и замок, и всё, — сказал я с некоторым смущением, — но жить-то ведь мы будем, к сожалению, не в замке, а в доме батраков. Что же ты думаешь, мы справимся с 33 гектарами и с 22 коровами, из которых одиннадцать дойных?

Перед Сережей таких вопросов не вставало. Действовали каприз и Густав Эмар. Раз он хочет — всё кончено. Причем эта Сережина решительность шла именно, по-моему, от капризов и от Эмара, потому что в ней не было никакой деловитости, сметки, расчета. Он вот так хочет — и кончено! Капризы переродились в упрямство.

Но по тому, как моя жена слушала брата, я видел, что и у нее просыпается некая "дворянская фантазия". Но не от страсти "пахать", "ходить босым" и обязательно в рваном крестьянском тряпье. У нее это было от природной любви к деревенской усадьбе, к животным; она выросла и воспиталась в том же дворянско-помещичьем воздухе, в богатом имении своей тети, кн. О.Л. Друцкой-Сокольниковой, в "Муратовке" Пензенской губернии. Эти две — хоть и разные, но пересекшиеся — страсти, брата и жены, лишали меня всякой возможности возражать против метайерства в шато Нодэ: *ведь выхода-то всё равно никакого не было.*

— Ну что ж, если хотите, попробуем, — сказал я неуверенно, — только боюсь, что не справимся мы с этими 22 головами скота и особенно с 11 дойными. Ведь их же надо доить! И не раз, а два раза в сутки, так, по крайней мере, у нас в имении доили разные Дашки и Палашки. Кто же у нас будет доить?

— Ты! — безапелляционно сказал Сережа. — Тут доят только мужчины. Посмотри на любой ферме. Итальянцы, все мужчины, доят. Женщинам не под силу доить, им трудно. А насчет того, что не справимся, — пустяки. С чем мы не справимся? Я беру на себя всю пашню. Ну, иногда ты будешь мне помогать бороновать. И мы прекрасно справимся, *надо только захотеть.* И я

чувствовал, как действует и Густав Эмар, и капризы, и ярый баптизм. Он хочет сесть на большую настоящую ферму, чтобы стать настоящим крестьянином-испольщиком.

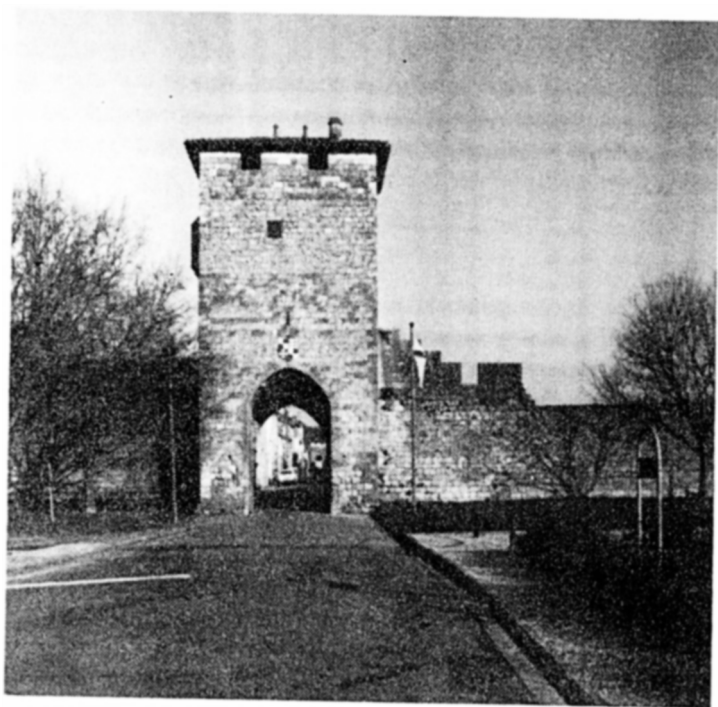
Итак, я согласен. Меня уговорила не только безвыходность положения, но у меня, сознаюсь, проснулось и некое желание попробовать *такую, по-настоящему крестьянскую жизнь*. Хватит ли сил? Сам себе я говорил: "Что ж тут, действительно, страшного? Работают же в СССР люди в концлагерях? Да как! И выдерживают. А я-то ведь буду не в концлагере, а на свободе. Это же не тюрьма, не концлагерь". Одним словом — "попробуем". И через несколько дней мы уже были французские испольщики, то-есть люди самой низкой социальной категории.

Мсье Ле Руа Дюпрэ

Старины в Лот-э-Гаронн довольно много. К замкам у меня всегда была романтическая любовь. Многие французские замки были изумительны. Были покинутые, ничьи, необитаемые, полуразрушенные, как "Назарет" — руины замка тамплиеров, были и обитаемые. В двух шагах от Нодэ — знаменитый Тренклеон. На горе около Вианна был замок писателя Марселя Прево, прославившегося в свое время (даже в России) книгой "Дневник горничной".

Шато Нодэ хоть и старый но, скорее, барский дом, чем замок. С верандами, с красивым рисунком больших венецианских окон, он стоял в прекрасном парке. Все в нем было под старину и сделано с тем вкусом, который у французов безошибочен. Дом для метайеров был вместительный, двухэтажный, построенный в стиле швейцарского шале.

Но прежде всего скажу о нашем "барине", мсье Ле Руа Дюпрэ. Это был худющий, высоченный, трехсаженный старик. Богат, парижский банкир. По своему душевному складу он меня поразил: я никак не мог себе представить, что в современной Франции, перепаханной многими революциями, мог сохраниться человек эпохи ДО великой французской революции. Мсье Ле Руа Дюпрэ оказался именно столь необычайным экземпляром, и я благодарен судьбе, что она его мне показала.



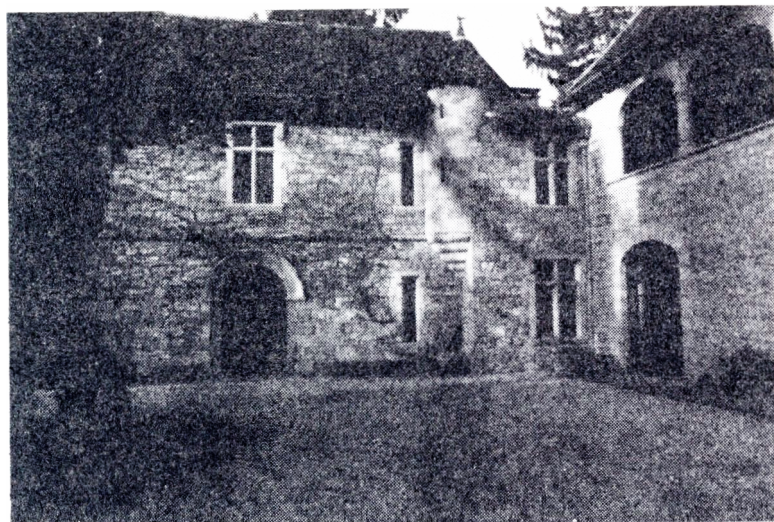
Ворота Вианна



Площадь в Вианне



Въезд в "мэтри". Прямо — сеновал и коровник. Налево — наше обиталище



Замок Нодэ. Внутренний двор.

Окрестные старики рассказывали про всякие его чудачковости. Они с улыбкой говорили, что мсье Ле Руа Дюпрэ многим подает только *два пальца*. Но рассказывали об этом без злобы, как о барской прихоти. Про "два пальца" я не поверил, я всегда это понимал, как метафору. Но, увы, мсье Ле Руа Дюпрэ впервые в жизни показал мне, что это вовсе не метафора. При знакомстве он подал мне — не три, не один — а именно два пальца! И я с интересом пожал эти два длинных, костлявых старческих пальца: для меня это было редкой литературной находкой. Старик вряд ли что-нибудь в этом понял. Он просто "снизошел" к испольщику, может быть, доставляя себе некое удовольствие этими символическими "двумя пальцами". Это было, когда мы пришли к мсье Ле Руа Дюпрэ впервые — договариваться о взятии его фермы в метайаж.

До тех пор, пока вы еще не испольщик, вы считаетесь равным и приходите в замок, естественно, через парадный вход. Но уже на другой день этот вход для вас должен быть "психологически" закрыт, вы входите с заднего крыльца, через кухню.

Итак, в первый раз мы с Сережей, конечно, вошли к мсье Ле Руа Дюпрэ с парадного крыльца его прекрасного замка. Дверь открыл мордастый, хитроглазый итальянец-лакей по имени Данте. По его красивому, толстому лицу и по всей упитанности было видно, что в это полуголодное время он никак не голодает. Данте сказал, что доложит хозяину и оставил нас в большой комнате, увешанной превосходными гобеленами, старинными гравюрами, обставленной стильной мебелью, какую редко увидишь, тут и Генрих Второй, и Генрих Четвертый! Вскоре появился наш трехсаженный "барин". Необычайно худ. Как Дон Кихот. Совершенно седой. С небольшой заклиненной бородкой и седыми волосами. Одет он был в черную бархатную куртку, с черным небрежным жабо, в черных штанах, заправленных почему-то в резиновые американские сапоги (мерз, наверное). В большом камине кабинета тлели поленья. На лице у мсье Ле Руа Дюпрэ играла чуть приметная усмешка. Первый разговор был короток. Мсье Ле Руа Дюпрэ уже знал о нас от русского электрика Рябцова, жившего неподалеку в деревеньке Фегароль, который нас ему и рекомендовал. А мы о странностях мсье Ле Руа Дюпрэ знали от Рябцова.

Мсье Ле Руа Дюпрэ выслушал нас, что мы хотим взять исполу ферму на три года, что хотим привести из "Пети Комон" двух своих рабочих коров. По его ответам я сразу понял, что Рябцов прав — мсье Ле Руа Дюпрэ совершенно ничего в сельском хозяйстве не понимает, он — городской барин. А знакомый француз нам говорил, что мсье, конечно, нас возьмет, ибо сроки метайажа уже проходят, а у него никого нет. К тому же, по целому ряду причин к нему на ферму не хотят идти. Народу было мало — разогнала война, развал Франции уменьшил число рабочих рук, много молодежи пропало неведомо где. Многие фермы, обрабатываемые испольтщиками, сейчас пустовали: нехватало людей.

Мсье Ле Руа Дюпрэ сказал, что знает, что мы русские, что нас ему рекомендовали, как порядочных людей и хороших работников. "Но, — сказал он, — мне говорили, что вы не крестьяне, не сельские хозяева?" Тут пришлось уверять его, что мой брат — настоящий сельский хозяин, а я тоже что-то вроде этого. Но я увидел, что в конце-концов мсье Ле Руа Дюпрэ это и не интересует.

Через несколько дней подписывать контракт я пришел к мсье Ле Руа Дюпрэ один (Сережа подписал раньше). В этот раз старик принял меня на балконе. Он, наверное, скучал, и хотел поговорить, хотя бы с испольтщиком. С балкона видны были разноцветные листья виноградника, словно красочная атака ворвалась в сад. Горели тонким лимоном листья облетающих магнолий. Сад, скорее, парк, был прекрасен своей осенней запущенностью. Конечно, эта осенняя запущенность не должна была входить в сознание сельскохозяйственного батрака. Но ко мне она входила отзвуком многих пензенских помещичьих парков, где прошли детство и юность...

В этот день я ближе разглядел старика (старую Францию в облике барина и банкира Ле Руа Дюпрэ). Ему было явно скучно. Он попивал какой-то лимонад иль оршад из принесенного хитроглазым Данте высокого бокала. Было бы, конечно, нелепо с точки зрения всех законов общежития, чтобы эдакий феодал предложил стакан лимонада испольтщику. Да я бы, разумеется, и не взял. Поступая в свой "концентрационный лагерь", я хотел играть *свою роль как надо, до конца*. Я старался приравнять

свое "сознание", к моему новому бытию. Это, разумеется, удавалось плохо. Но я неплохо все-таки играл свою роль, хотя "сознание" и сопротивлялось. Так, входя в свою роль, я пришел вторично к Ле Руа Дюпрэ уже не с парадного крыльца, а с заднего, через кухню. Именно так, как у нас в имении приходили, когда надо, кузнец, староста и прочая челядь. В кухне я о чем-то поговорил с кухаркой — красивой итальянкой Бонишон, и с лакеем Данте (больше прислуги у барина не было).

Как-то увидев меня идущим с заднего хода, приехавший на велосипеде Рябцов был моим "опрошением" потрясен.

— Роман Борисович, да вы что, с ума сошли!? — корил меня донской казак, хитрейшая bestия Рябцов. — Зачем же вы с кухни-то к хозяину идете?

— А как же? Это теперь для меня самый законный путь, это "мой ход".

— Да что вы, я никогда не хожу! Чего же это вы с его прислужгой-то смешиваться будете!

И Рябцов, важно раскачиваясь, пошел к парадному крыльцу.

Я понимал, что ему к этому барину приятно было идти именно с парадного крыльца, потому что в жизни своей к таким барам с парадного крыльца он не был вхож. Его путь был с заднего крыльца. И назвав себя в эмиграции инженером, он хочет во что бы то ни стало стать "сен-бернаром". Ну, а мне доставляло удовольствие, может быть, с некоторой примесью внутреннего озорства, переменить парадные входы на задние. Это было и интереснее и экспериментальнее. Мне хотелось взглянуть на мир "из-под-низу". Вот я и шел в своих деревенных сабо к заднему крыльцу (кстати, прекрасная, удобная обувь! около пяти лет я ходил только в сабо).

Итак, в тот день, когда моему барину было, вероятно, постариковски скучно, он, отшивая что-то такое приятное из красивого узкого бокала, смотрел куда-то в пространство, а я докладывал ему после подписания договора, что мы решили продать одну старую корову, ибо она будет в хозяйстве невыгодна. Пока я это говорил, мсье Ле Руа Дюпрэ глядел на меня своими глазами цвета выцветшего ситца без всякого интереса.

— Не возражаю. Я ничего не понимаю в коровах, — нако-

нец, медленно сказал он. — Вы, наверное, об этом уж слышали, что я никогда не занимался сельским хозяйством. Молочных коров во что бы то ни стало хотела завести моя жена, покойная мадам Ле Руа Дюпрэ. Правда, — неожиданно засмеялся воспоминанию старик, — она хотела, чтобы на этом лугу паслись коровы, — показал он рукой на громадный зеленый и издали удивительно красивый луг, на который как раз в это время моя жена выгоняла коров, — я предлагал ей купить фарфоровых коров, чтобы они всегда стояли на лугу. Но она хотела, чтобы коровы двигались, ну вот, я и купил... коров... Я этим никогда не занимался, — повторил старик, и я видел, что он уходит в сладостные воспоминания прошлого...

От крестьян и от прислуги я уже много слышал о мадам Ле Руа Дюпрэ. Это была, по всей вероятности, крайне эксцентричная каботинка, женившая на себе богатого молодого банкира; и он ее обожал, исполняя все ее прихоти.

— Вы знаете, конечно, что мадам Ле Руа Дюпрэ умерла...

— Да, знаю, мсье.

— Она была слишком добра ко всем, и я думаю, что все эти метайеры ее очень обманывали, — кратко засмеялся старик, как бы говоря мне: "Я не очень-то верю и вам, я никому не верю, и вы — русские — такие же мошенники, как итальянцы-испольщички, которых вы сменили". Но этого он не сказал. Я это понял без слов. Помолчав, мсье Ле Руа Дюпрэ, отпив свой оршад, вдруг проговорил:

— В Париже я прекрасно знал одного русского, которого вы едва ли знали. Это было уже давно... Мсье Эли Мечников, — произнес он, отдаваясь каким-то приятным воспоминаниям. — Оо, хоть он был и русский, но это был настоящий барин!

Я сказал, что, конечно, как всякий русский, знаю, кто такой был Илья Ильич Мечников и дабы доказать эту старику, сказал о его работе в Пастёровском институте и о его знаменитом лакто-бациллине.

Тут старик сморщился, будто закусил лимон.

— О, да, да, но это была совершенно отвратительная вещь! Ее нельзя было взять в рот. Впрочем, я никогда никакого молока не пью и никаких простокваш не ел и есть не собираюсь.

Это совсем по-французски. Сев на землю, я увидел, с каким

отвращением многие французы относятся к молоку, предпочитая ему пинар — красное вино.

— Хорошо, хорошо, продавайте корову, если находите нужным. Только не делайте ничего, что было бы во вред хозяйству. Понимаете?

— Разумеется, мсье.

В этот момент я встал, чтобы уйти, но старик остановил меня.

— У меня к вам просьба. Когда поедете к маклаку на базар в Нерак, возьмите с собой вот эту гравюру, ее надо как следует обрамить, я скажу вам адрес магазина.

Я остановился перед небольшой английской гравюрой, изображавшей сцену из шекспировского "Укрощение строптивой".

— Хорошая гравюра, мсье, — сказал я, и не без того, чтобы показать, что и исполщики тоже кое в чем знают толк, добавил: — Это "La Mégère apprivoisée" Шекспира, по-моему?

Старик сделал ртом типичный для француза звук легкого взрыва губами, долженствовавший выражать удивление и одобрение. — Пппа... вы совершенно правы... Но откуда вы это знаете?

Мсье Ле Руа Дюпрэ вполне искренне считал русских какими-то тамерлановскими монголами.

Однажды я заговорил с ним о Гитлере. Странно, что о немцах старик с особой ненавистью не говорил. Вся его ненависть сосредотачивалась на демократической Франции, которую он презирал.

— Что ж немцы и Гитлер? — сказал он, — Они работали и работают, это достойно уважения.. А мы? Эта la gueuse! — произнес он с презрением и отвращением. Это аргоистическое слово, пущенное в политический оборот Шарлем Моррасом (Maurras) в "Action Française", имело много значений: и гидра, и охлос, и распутная женщина, и нищий-попрошайка.

— Что мы делали? — продолжал старик, Ну з'авон дансэ... ну з'авон дансэ... Э сэ ту... Э ментнан — вуаля!

Относительно la gueuse старик был, конечно, отчасти прав, в демократии много пороков. Но что предлагал Шарль Моррас с его les camelots du roi? Графа Парижского? Утешение небольшое. И вряд ли это — "исцеление" человеческой греховности от

соблазнов власти. Демократия все же боится их скорее при всех своих пороках. Главная же суть дела, по-моему, в том, что всё так называемое "человечество" в массе своей — большое дрянцо.

Во время суда над Леоном Блюмом в Рионе я спросил мсье Ле Руа Дюпрэ, читал ли он в газете об этом процессе?

— Блюма? — презрительно проговорил старик, и на лице его появилась всегдашняя презрительная усмешка. — Этого господина я превосходно знал по Парижу. Он из богатой и вполне порядочной семьи. Вполне светский человек. Он понимает толк в искусстве, у него лучшая коллекция серебра в Париже. О, я его прекрасно знал! Но кого-кого, а его, конечно, сейчас нужно расстрелять в первую же очередь, именно такие погубили Францию.

Гитлеровцы оказались к Блюму милостивее, не расстреляли, а отправили в немецкий концлагерь.

Как-то я спросил старика, ездит ли он в церковь в Вианн? На лице его появилась та же брезгливая гримаса. Он ничего не сказал, но я понял, что мой "феодал" с церковью не имеет ничего общего. Потом, засмеявшись, сказал:

— Этот священник, аббэ Пьер, всегда норовит так приехать, чтобы остаться у меня к завтраку, — в голосе его звучало то же презрение, как и к la gueuse.

С любовью старик говорил только о своей жене. Тут он мог долго рассказывать, как жену его любил весь Вианн, потому что она была слишком щедра, добра и всем помогала. И эту прихоть жены скупой старик прощал.

Ле Руа Дюпрэ был совсем непохож на дельца-капиталиста типа Форда, Рокфеллера. Это был ленивый барин с психологией феодала, искренне считавший, что трем четвертям человечества он может подать только два пальца. Для него никаких французских революций вроде как бы и не было. Он был необыкновенным обломком давно ушедшей Франции, Франции ДО 1793 года, может быть, он и задержался только для того, чтоб я его встретил и описал.

Дойка коров

С коровами я был незнаком. Вот лошади, собаки — другое дело. — "Где Рома?" — "Да, наверное, торчит на конюшне". —

Верно, я постоянно "торчал" на конюшне, и у деда в Керенске (но у него было всего четыре лошади). А потом у себя в имени, где выездных у нас было лошадей 20: и верховые, и гнедая тройка, и рысистые со знаменитой призовой "Волгой", и красавец, серый в яблоках жеребец-производитель "Спич". Тут я и чистил лошадей, и кормил, и седлал, и скакал. Одним словом, я любил и знал лошадей, с лошадьми я *знаком*, как настоящий лошадиник. И с собаками тоже. Каких только собак у меня не было. Но не буду о них "предаваться воспоминаниям", ибо это уведет нас от сегодняшней темы. А тема наша — коровы.

У нас в имени их было голов больше 20, все бланжевые грудастые симменталы. С балкона я только видел, как пастух пригонял их с пастбища и они медленно шли в коровник, где поступали в распоряжение хитрой бабы Марьи и ее помощницы Дашки. Конечно, я заходил кое-когда в коровник, в это "царство Марьи" и видел, как ловко доила она коров, с этим стремительным, звенящим звуком молока, ударяющего в до блеска начищенные дойки. Разумеется, я не задумывался над тем, легко или трудно Марье доить. А черт ее знает, вероятно, очень легко. Сидит такая Марья, подоткнувшись, на маленькой неуклюжей скамейке и доит, как шьет, с быстротой молнии. В России всегда доили бабы.

В шато Нодэ в первый раз я вошел в коровник с братом днем. Одиннадцать чудесных голландок стояли ко мне задом, жуя с аппетитным хрустом сено. Второй раз я зашел с испольщиком, который сдавал нам всё перед отъездом. Это был итальянец, наглый по виду, наживший, как говорили, неплохие деньги. Он был льстив с хозяином-барином и нахален с посторонними. Звали его Франческо. Он был скуп на слова и малообщителен, в отличие от обычно столь разговорчивых итальянцев. Шел он со мной, указывая закорюзлым коротким пальцем на коров и называл их имена. А я записывал имена на бумажке. Странные это были имена коров, переходящих в мое "писательское владение": Дуска, Нуаро, Кокет, Бланшет, Петит, Миньон, Нувель, Сури, Ненетт, Розали...

Перед сдачей коровы были чисто вычищены, имели "праздничный" вид. Возле красивой черной коровы с белыми задними ногами, как в белых чулках по колено, Франческо задержался.

Ухмыльнулся и сказал с нескрываемым удовольствием:

Ну, с этой вам придется помучиться.

— А что такое?

— Не дается доить, связываем ноги перед дойкой.

— Что ж, свяжем, — сказал я, но догадался, что это должно быть не так уж легко, тем более, если учесть, что я в жизни своей никогда не сидел под коровой, а только видел тридцать лет тому назад, как доила Марья, никогда, конечно, коров никаких не связывая.

“Сдача дел” была закончена. Коровы переписаны. Затем я “представил” их жене, читая (называя) их имена по бумажке. Надо сказать, что жене все коровы очень понравились. “Эта вот какая милая, посмотри!” — говорила Олечка, как будто мы были не исполщиками, а все еще пензенскими помещиками, приехавшими покупать для себя этих “милых коров”.

— Как раз вот эта-то милая и не дается доить, ее связывают перед дойкой, — сказал я, невольно засмеявшись все тому же барскому умилению Олечки несмотря на перемену социальных декораций.

— Связывают? — удивилась жена. И я почувствовал не жалость к нам, кому придется, ни черта в этом не понимая, связывать эту проклятую корову, а сочувствие к “бедной корове”, которой мы должны будем причинить такие неприятности.

— Да, связывают, и я не знаю, как мы все это проделаем, но проделаем.

“Всеу свое время, и время всякой вещи под небом”, как сказал Экклезиаст. Коров доят дважды в сутки: рано утром и поздно вечером. И это неминуемо, как день и ночь, и тут нет никаких двенадцатых праздников: корми, дои каждый день — ничего не поделаешь! Клиенты — соседние крестьяне — придут за молоком ровно в восемь утра. И зная, что ферму взяли какие-то новые — русские! — придут, конечно, поглазеть на этих русских, которые, говорят, никогда и на земле-то не сидели.

По мудрому совету Сережи, решили в коровник клиентов не пускать. Ни одного. Во время дойки мы будем с коровами *с глазу на глаз*, чтобы пришедшие крестьяне не увидели, что мы не умеем доить, и чтобы этого не разболтали.

Племянник Миша встал на всякий случай у двери в коров-

ник, чтобы говорить клиентам, что теперь за молоком надо приходиться не в восемь, а в девять утра, и что молоко будет выдаваться в молочной, а не в коровнике. Сами же мы заперлись в коровнике.

Эту первую свою дойку трех коров я никогда не забуду. Брат Сережа умел кое-как доить. Почему? Потому что на ферме "Пети Комон" у него было две рабочих коровы. И когда они телились — приходилось их доить, ибо телят тут не подпускают под корову, а поят из таза, с пальца. Такие уж правила. Вот он-то и должен был первый показать нам, как это делается — доится.

Я доил Дуску, Нувель и Нуаро. Дуска была чудесная породистая голландка. Белая, с черным чепраком — совершенно правильным для этой породы рисунком. Причем черные пятна шерсти чуть-чуть отливали рыжеватым волосом, что тоже — признак хорошей породы. Она была рослая, легкая в походке, доброго и веселого нрава. С загнутыми книзу совсем небольшими рогами, скорее, даже рожками, двумя ровными черными пятнами на белой морде. И необычайно красивыми — вот именно "коровьими"! — глазами. У обывателя, никогда не общавшегося с живой коровой, а выдавшего их только на картинке или издали, нет никакого представления о красоте коровьих глаз. А коровьи глаза, оказывается, часто необыкновенно красивы — умные, слегка выкаченные и какие-то всегда грустные. Есенин, человек деревенский, понимал прелесть таких глаз и писал о любимой: "Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз". Особенно красивыми, осмысленными и страдальчески-печальными становились глаза у коров во время трудного отёла. И в тот момент, когда мы подтаскивали к взволнованной корове еще мокрого, только вышедшего из нее теленка, чтобы она облизала его своим материнским любящим шершавым языком. О, коровьи глаза — чудесное поэтическое определение!

Так вот, первой я доил Дуску, с которой мы вскоре чрезвычайно подружились. Вымя у нее было большое, легкое, светлорозовое, с полными мягкими сосками, на одном из них — черное пятно.

Я сел под Дуску, сказал по-нашему, по-крестьянски: "Ну, Господи, благослови!". В детстве видел, как Марья перед дойкой всегда крестила коровье вымя, мне это нравилось, как крестное

знамение перед едой, и я сделал то же. Устроившись на низкой деревянной скамеечке, я зажал меж колен доенку, смазал маслом соски Дуски и свои пальцы и потянул за сосок. Потянул, вероятно, не так (конечно, не так!) как надо, и Дуска подняла левую заднюю ногу, как бы говоря — “дурак, разве так доят!” — и, оторвавшись от сена, покосилась, едва повернув голову. Мы дали всем коровам самого лучшего сена — клевера! — навалили полные кормушки, чтобы подольститься к ним для первого знакомства. Дускин умный глаз ясно говорил: “Так разве тянут, дурак?” — “Ты не тяни, не тяни”, — учил Сережа, который ассистировал мое первое выступление в качестве доильщика.

— Как же не тянуть?

— Да так, это же по-нашему, по-русски, а тут они совсем иначе доят, берут по соску в каждую руку и дают. Ты попробуй.

Я подчинился правилам французской дойки, попробовал и пошло лучше — две довольно сильных струи ударились с серебряным звоном о дно доенки. Я вспомнил этот напористый звук струи, который мне так нравился в детстве, когда я заходил в коровник. Дуска была выдоена. Под конец она вполне благодарно посматривала на меня. На надоенном молоке сверху пузырилась — как и полагается — белая взбитая пена. Так что всё как будто было в порядке. Я совсем осмелел. Первая корова в моей жизни выдоена!

Катастрофа произошла со второй коровой — с низкой, неприятного вида старой голландкой Флорет. У нее было сверхъестественно большое вымя и громадные белесые соски, покрытые мелкими бородавками. Эти бородавки-то и оказались главным препятствием. Хотя не только в них было дело. Надо сказать, что у коров столько характеров, сколько на свете коров. Я узнал коров милых и добрых, злых и неприятных, ласковых и бодливых, прожорливых и скромных в еде, озорных и застенчивых. Коровы — как люди, у каждой свои особенности характера и “психологического склада”. И вот, когда я после трех лет доения стал уже большим спецом в коровье-молочных делах, я увидел, что разница характеров обусловлена, главным образом, людским отношением к коровам. Грубое нечеловеческое отношение — дает злых и грубых животных. Умное и человеческое

или, так сказать, отношение "на равной ноге" воспитывает мягкость характера у животных. Так что и тут человек зачастую многое портит сам.

Флорет отказалась давать молоко новому неопытному доильщику. Как только я сдавливал ее бородавки, она стремительно и чрезвычайно ловко ударяла ногой по доенке, пока, наконец, не опрокинула ее на пол.

Еще хуже было с той самой черной коровой в белых чулках, Нуаро, четырехлетней красавицей-брюнеткой, о которой прежддал — вероятно, с удовольствием предвкушая баталию — Франческо. Она сразу же, безо всяких предупреждений, как только садились ее доить, била то одной, то другой ногой. Пришлось-таки применить серьезные меры воздействия. Мы с братом связали ей обе задние ноги вожжами и при каждой ее попытке лягнуть брат жестоко стегал Нуаро по бокам длинной лозой. Вот только так, с физическим воздействием, и удалось выдоить Нуаро.

В молочной — небольшой комнате, рядом с нашим жилищем — жена разливала молоко крестьянкам и детям, пришедшим за молоком. А молоко разливать тоже непросто. Казалось бы, несложное занятие, но надо уметь.

Однако, все трудности дойки были только в первые дни. Скоро я узнал, почему на юге Франции доят мужчины и только мужчины: дойка — физически трудное дело, нужны сильные руки и крепкие пальцы. Женщинам это, конечно, не под силу. Так, моя жена, к своему большому горю, доить не смогла. А вот жена брата, консерваторка-пианистка, оказалась хорошей доильщицей, но одной рукой.

Вскоре дело пошло так, что и клиентов стали пускать в коровник, под каким-то благовидным предлогом перенеся время раздачи молока.

"Млекаж! Млекаж!"

По утрам я всегда еду в Вианн душевно радостный. Во-первых, потому, что это — утро, а всякое утро радостно-неповторимо. Я вдыхаю полной грудью резкий, свежий, ароматный воздух. И чувствую всем телом, *что я живу*. И вовсе не потому,

что *cogito ergo sum*. Я вовсе "не мыслю". Я ДЫШУ — значит, и существую, ощущая необычайное чудо удивления всему миру с его невысказанной тайной ("как не любить весь этот мир — невероятный твой подарок!"). Пока я еду — откуда-то с лугов пахнёт скошенной травой, из лесу — лесной прелью. Бидоны в прицепке позвякивают от неровности асфальтовой (давно не чиненной) дороги.

Это голодный военный 1940-й год Франции. Я — молочник и разливаю молоко в Вианне "по карточкам". Во Франции все теперь стало "по карточкам". Мой велосипед совершенно необычайного вида. Это результат войны. На шинах надеты куски старых шин (ими залатаны), а внутренние шины берегутся, как зеница ока. В продаже — ни шин, ни велосипедов, ничего, немцы все угнали куда-то на север. Велосипеды стали единственным способом передвижения. Автомобилей на дорогах нет. Изредка протрясется какой-нибудь захудалый автомобильчик пятидесятилетней давности (бензин дается по самым скучным карточкам).

В реморке у меня три больших бидона молока. А молоко по этим временам — неоценимая драгоценность. Все в Вианне меня знают, все любезны, иногда даже льстивы, потому что я сейчас — большой чародей, могу дать кому-нибудь побольше, чем по карточкам. Причем наше молоко — первоклассное, не снятое, не разбавленное водой, что сейчас часто делают. Как Иван Никитич не настаивал — разбавлять молоко водой — мы (русские интеллигенты) наотрез отказались. — "Ну, тогда ничего и не зарабатываем, будем гнать впустую!" — Но отказались все и этим даже зарекомендовали себя, как поставщики самого хорошего, *цельного* молока.

В Вианне я сначала еду в чешский поселок, рядом со стекольной фабрикой. И только мне стоит со звоном бидонов спуститься с дороги в поселок, как со всех сторон с криками — "Млекаж! Млекаж!" — ко мне вихрем несутся чешские детишки, светловолосые, круглолицые, светлоглазые. Их тут много, сейчас они получают молоко, которое некоторым я даю с "прибавкой". Поэтому меня так радостно и встречают. А я к этим славянским ребятишкам почему-то особенно расположен. Вероятно, это подсознательное славянско-расовое чувство ("гей, славяне!"), хотя все дети всегда были моей "слабостью" (любил и



Стекольная фабрика, где мы работали с Олечкой



Чешский поселок, где я разливал молоко



HANAK « Le Balafré »



FRAU HÜBSCHER
Maîtresse de Zorn et Agent de la Gestapo



ZORN
Chef de la Gestapo à Agen



CLARCK
Sous-Chef de la Gestapo

Гестаповцы в Ажене

люблю детей за их натуральность, естественность). Матери моему приезду радуются не меньше детей, когда я разливаю им в каструли, в кувшины, в бутылки.

После чехов еду назад в Вианн и начинается хождение из дома в дом: кому $\frac{1}{4}$, кому $\frac{1}{2}$, а кому и целый литр. Особую жалость у меня вызывала одна еврейская семья беженцев откуда-то с севера: муж, жена, двое маленьких детей. Они были тут чужеродны, с французами не сходились. Детям я старался дать чуть-чуть (как мог!) да побольше. По виду это были интеллигенты. С мужем разговаривать не пришлось, разговаривал с женой. И в один день, вся в слезах, она сказала: — "На мужа не давайте... его арестовали жандармы и увезли..." — "Куда?" — "Не знаю, наверное, в Ажен..." — и заплакала.

Дня через два я напрасно стучался в их квартиру. Вышла соседка-француженка, махнула рукой, сказала: "Всех увезли... жандармы... в Ажен..." Детей и женщин увозили в Ажен, передавая немцам, а те увозили (думаю) в Германию на уничтожение... С мужчинами поступали иначе.

В резистантской книжке "Crimes de Guerre en Agenais" Жак Бриссо рассказывает, как действовало Гестапо в Ажене. Здесь особым садизмом прославился некто Ханак (по прозвищу "Le Balafgré"). Уроженец Франции от отца-немца и матери-польки, он о французах говорил: "Les Français me dégoûtent. Je prend plaisir à faire souffrir cette sale race". И убивал людей бесчисленно и бесчеловечно особой "плеткой" с зашитым в нее металлом. Вот как он убил еврея Леона Когена. Заставил голого лечь на кровать животом вниз и начал стегать плеткой. Коген сначала кричал, потом стонал, хрипел, потом перестал: он был мертв. Вся кровать была в крови.

После победы союзников Ханак попал-таки в руки французов (выдали из Гамбурга) и его расстреляли. По-моему, это было неумной милостью и несправедливостью к тем, кого он убил. По-моему, перед расстрелом Ханака надо было хоть одну неделю подвергать телесному наказанию его же "плетью", чтоб он *знал, что* чувствовали пытаемые и забиваемые им люди. Я ненавижу это дурацкое и гибельное "непротивление злу насильем" от Льва Толстого до Александра Федоровича Керенского, развалившее Россию. Я верю в правильность положения: "Злом

злых погублю”.

“Если гаснет свет — я ничего не вижу
Если человек зверь — я его ненавижу.
Если человек хуже зверя — я его убиваю.
Если кончена моя Россия — я умираю,” —

писала З. Гиппиус.

После раздачи молока всем клиентам я заезжаю отдохнуть к мадам Мишо — в стоящий на площади подвальный темный ресторанчик, похожий на какой-то шинок. Прислонив у кабачка велосипед к громадному каштану, я захожу, сажусь за низкий дубовый стол. И мадам Мишо — грязнейшая, какая-то веками немытая, хриплая француженка (а теперь — друг русского молочника) нацеживает мне прямо из бочонка стакан чудесного вина. Я растягиваю это удовольствие — сидеть, отпивать вино, ни о чем не думая, чувствуя, что вот сейчас я пять минут чудесно свободен. Я переговариваюсь с мадам Мишо о несложных новостях, слушая одни и те же рассказы, какой чудак и скопидом был всегда мсье Ле Руа Дюпрэ и какая милая, шалая у него была жена, бывшая каботинка, которую все очень любили за ее доброту и широту характера, и какая она была рассеянная: в праздник Пасхи в вианнскую церковь раз приехала в двух разных ботинках — один черный, другой рыжий. Посидев так минут пять, я той же дорогой возвращаюсь в Шато Нодэ. Поездка эта, в сущности, — единственное время, когда я могу о чем-то задуматься. Остальное — с раннего утра до позднего вечера: убирать коровник, вывозить навоз, поить коров, задавать им корм, бороновать, рубить дрова, мотыжить, отвести пришедшую в охоту корову к соседскому быку, полоть, опаживать маис, доить. Тут времени для задумчивости нет.

(продолжение следует)

Роман Гуль

БОРИС ЗАКОВИЧ
ИЗ СБОРНИКА СТИХОТВОРЕНИЙ "ДОЖДЬ ИДЕТ НАД
СЕНОЙ"

Б.Г. Закович — один из последних ныне здравствующих поэтов "Парижской ноты". Б. Поплавский посвятил ему сборник "Снежный час" (1931).

Н. Д. Татищеву

Мы шли домой, но вдруг сообразили,
Что забрели как будто не туда:
Места вокруг страшны и чужды были,
А древний путь потерян навсегда.

Сказал я брату и жене доверил
Ночной завет покойного Отца
(Отца, который все пути измерил),
Что в недрах тьмы есть радость без конца.

"Поверь мне, брат! Поверь, жена!"

"Поверим!"

Сказали трое голосом одним.
И вот с тех пор мы бродим, ищем, верим,
Зовем друг друга и пространство мерим,
Ища наш дом под небом ледяным.

* *
*

Пахло кошатиной, скукой,
Слышался дождь... Иногда
В кране по птичьей, но с мукой
Тихо ворчала вода.

Брезжило утро... По-вдовьи
Выли заводы во мгле,
Сон покидал изголовье,
Будто жалел обо мне.

Р.Ю. Герра

Увы, не испытали вы
Ночного холода Невы
И Рима холода дневного.

На водах Тибра и Невы
Вес камня, времени и слова
Увы, не испытали вы.

О, главы знания ночного,
О, статуй пыльные главы
Вес камня, времени и слова.

О, воды Тибра и Невы
Невозвращаемые снова,
Невозвратимые, увы!

* *
*

Для детищ нашей матери — Цереры
Все вечное в земном отражено —
И звездных пастбищ зыбкие размеры,
И Стикс, где нам забвенью суждено.

И прав любовник, смертному лишь верный,
Когда лишь смерть в нас будит сердца жар,
Органа звук и ямба голос мерный
И звезд осенних траурный пожар.

Не выше ль звезд, кто тщится в жизни дикой
Земную боль надеждой укротить?
Не он ли сможет душу Эвридики
Из темного Эреба вернуть?

КНЯЗЬ ИВАН ХВОРОСТИНИН

СЛОВЕСА ЦАРЕЙ И ДНЕЙ

V

Зима начиналась нестройно. Снег то и дело перемежался с дождем. В Псков князь Иван не поехал, повернул на Север; в Изборске он слышал, что в Пскове замятня, детей боярских кидают с раската, а за кого стоит город — за царя Василия или царя Димитрия — неизвестно.

Леса вокруг были худые, мелкие, со многими болотами. В первую ночь он не попал на жилье, ночевал в лесу, выбрав место повыше, под суховерхой сосной. Долго не мог заснуть — болела укушенная рыжей собакой рука. Среди ночи поднялся ветер, сбивал с деревьев сухие сучья. "Вот, заспавшийся лешак проснулся, — подумал Иван, а не испугался. — Пусть отбушует. Погуляет и провалится под землю — до весны". Место, однако, показалось ему странно — кто-то близко, подо мхом и вереском ползал, шуршал, не успокаивался. Засыпая, он просил ангела помиловать, не затворять в смерти душу.

Приснился князю Ивану сон. Черный, в снежных пятнах дол, кругом лежит перелогом смерзшаяся земля; там и сям торчат ромашки на черных ножках с обношенными, будто обгорелыми венчиками лепестков. Он идет за кривым меринном, держась за лошадиный хвост, и жалеет: "Как же быстро истлела земная красота!". Из редкого леска подходят к нему двое. Издали он их не разглядел, принял за людей, а подошли ближе, присмотрелся — один был человек, а другой — обезьяна в немец-

ком кафтане. И тот, что был человек, его спрашивает: "Далеко ли путь держишь, князь Иван? Не заблудился бы!". А тот, что обезьяна, говорит: "Поворачивай к нам, во Флоренцию! Наш бог — Абракас. Под его началом триста шестьдесят пять богов. У него голова короля, ноги змей и бич в руках". И, сказав так, обезьяна в кафтане лезет на старую осину, на самую макушку. Человек внизу смеется, кричит обезьяне: "Хорошо тебе там, во Флоренции?". — "Куда как хорошо! — кричит сверху обезьяна. — Бери князя Ивана и лезь ко мне".

Утром он встал, потянулся и чуть не упал в поросшую вереском, засыпанную валежником и сучьями яму. В яме шевелилось что-то живое. Он поворошил длинным сукон. Сук сразу отяжелел. Он вытащил сук и увидел — к суку прицепилось с десяток черных змей. Над его головой на суховерхой сосне зашипели в древнем страхе две совы. Он и сам испугался, зашвырнул сук за яму, под необлетевшую старую осину. Листья на ней трепетали, а не падали.

Днем замела поземка. Лед обметал незастывшие воды. Теми же чахлыми лесами он подъехал к Крыпецам и заночевал у кладбищенского сторожа на сеновале. Ночью опять был ветер, под стрехами стонал и охал домовый, на кладбище скрипели ветхие кресты. Среди ночи он проснулся, услышал, что кто-то лезет наверх, на сено. Схватился за нож:

— Дьявол, что ли?

— Дьявола разве не видел? — ответил человеческий голос. Рога калачом, вместо глаз угли, шерстью рыж.

— А ты видел? — спросил, успокоившись, Иван.

— Самого не видел, а копыта его кобылки — очень даже хорошо.

— Ты кто?

— Старец я, Леванид, из Саввина монастыря. Пришел к своей братии из странствия, да не приняли, прогнали.

— Отчего прогнали?

— Ты, говорят, имя переменял. Ушел в Литву с чернецом Григорием, он тебе там свое имя отдал. Ты, говорят, теперь чернец Григорий, или Гришка Отрепьев, Вор и Расстрига. Зовись, как хочешь, только места тебе у преподобного Саввы нет.

Наутро они вместе тронулись в Елизаров монастырь. Иван ехал на мерине, а старец Леонид шел рядом, рассказывал:

— Гришка он был, или Юшка — не знаю. Отрепьев ли, Нелидов — не знаю. Царевич ли Димитрий или так, гуляющий человек — не знаю. Сверг он с себя иноческий образ — это я знаю. Сам его видел в скуфье в Крыпецах, а потом в чернецах в Киеве, в Никольском монастыре. Держал он меня в Путивле в цепях, всякий день приходил с кубком ренского. Себя угощал, меня, грешного, поил. Уговаривал: "Назовись Гришкой Отрепьевым, жалко тебе, что ли?". Я ему отвечал твердо: "Чужое имя занимать — грех!". Он опять придет, сядет напротив, покрутит бородавки на щеке, отопьет из кубка: "Ну как, — говорит, — будешь называться моим ложным именем, не то сейчас тебя предам жестоким пыткам!". А я ему опять: "Каким таким именем?" "Ложное, — говорит, — имя у меня одно — Юшка Отрепьев. Будешь запираяться, убью". "Что же, — я ему отвечаю, — переселюсь в вечную жизнь с твердым упованием".

— Выводил он меня на высокий берег, на крутец, трава там зеленая, верба пылила, птицы пели. "Посмотри, — говорил, — на эту красоту, чего себя лишаешь ради суетного имени. Не все ль равно, как назваться, не в имени дело!". "А в чем?", — спрашиваю. "В славе, чернец, в славе. Будет тебе слава и мне слава. Имени меня царского в малолетстве лишили от страха. В каком только обличь не жил! Так возьми мое ложное имя ради себя и мира..."

— Веришь ли ты, старец, что он был царевич Димитрий? — спросил Иван.

— Голоден я, боярин! — заплакал Леонид. — Стар, непамятлив. А то в голову взойдет, стрекочет, будто сверчки.

Иван слез с мерина, накормил чернеца. Леонид ел жадно. Вдруг поперхнулся, побагровел: "Крошка в горло бросилась". Поев, он осоловел, попросился отдохнуть: "Куда нам спешить? Дотемна будем в монастыре". Он заполз под разлапистую ель, закутался в тряпицы, закрыл глаза — то ли спал, то ли молился.

Ветер шумел в верхушках елей. Близко брехала лисица. Иван сидел на пне, на прогалине, и думал, отчего он едет теперь назад, в тлю, в ложь, в воровство, в зависть, в разбой. "По кругу ходят нечестивцы, по кругу человека водит бес".

Старец Леонил из-под ели окликнул:

Ты что там делаешь?

Смотрю на вертеп своего существа, — ответил князь Иван.

Смотри, смотри! — обрадовался Леонид. — И то сказать, страсти к нам привязаны, как скоты. Чуть не кормлены — мычат, просят вон. Господь, однако, милостив, сильно не умучит.

А тебе там тепло? — спросил Иван.

— Куда ж теплее!

— Скажи мне правду, ты — чернец Григорий?

— Старец я, Леонид, Крыпецкого монастыря. А каким именем Судия назовет, когда перед ним предстану — не знаю.

Старец вылез из-под ели, отряс с себя иглы. У пояса загрела оловянная кружка.

— Вечереет, однако. А до монастыря версты три.

В Елизаровском монастыре ночевала сотня стрельцов из Пскова. Они ехали в Тушино к царю Димитрию, надеясь на царскую милость.

— Не тот царь, дак другой — говорили стрельцы. — Они теперь на своих степенях долго не держатся. Где государь пожалует, а где и сами приищем.

Со стрельцами были несколько детей боярских и князь Артемий Аштон, старый знакомый, честнейшего чина Подвязочный рыцарь. Он ехал в Москву за княгиней Пенелафой, забирать ее домой, в английские земли.

— Опасные времена, Джон, — говорил князь Артемий. — Кругом — импостэры, бригааны, антропофаги. Москва осаждена так называемым царем Димитрием. Там — голод. Боюсь, съедят мою Пенелафу в каком-нибудь пирожке. А ведь я с нею был счастлив!

— Расскажу Вам, Джон, такой случай. У меня в Пскове была хозяйка — преласковейшая женщина. Добрая, услужливая, набожная. Но однажды угостила меня пирожком, а в пирожке я нашел человеческий ноготь. Оказалось, они с невесткой убили мужика, привозившего снедь из деревни и положили в ледник под полом. Они убили и лошадь. Но меня, надо отдать ей долж-

ное, хозяйка кониной не кормила. Да, князь, человек — преопаснейшая обезьяна.

К ним подошел старец Леонид, упал перед Иваном в ноги.

— Князь, не ходи на прелесть! Сиди в монастыре до безмятежных времен!

— Не могу, — ответил князь Иван, — у меня там мать, и жена, и имения. — И сказал неправду. О матери если и вспоминал, то с горечью. Нечаянную жену не любил и не вспоминал никогда. Имением больше никаким не дорожил. В живого царя Димитрия верил мало. Что же там? — Посмотреть на мать, разязвить сердце, чаяние небывшей радости и детскую память. Увидеть рябую жену, пожалеть — тиха, или прибить с ненужного горя. Встретить царя Димитрия, или чужого человека, назвавшегося именем того, кто столько обещал. "Чего я там себе жду? Ничего там для меня нет... Как бы узнать, что — правда, и что — неправда".

Он посмотрел перед собой, туда, где стоял на коленях старец Леонид и увидел — нет Леонида, а сидит на старой гробовой плите обезьяна, бьет оловянной кружкой об камень, прикладывает к камню ухо, будто хочет докричаться до преисподней.

— Ау, старец Леонид, отзовись! Было три Рима и все три истлели! Пошлем князя Ивана на пепелище, пусть веселится!

Князь Аштон сказал:

— Безмятежных времен в этой стране больше не будет. Вы правы, третий Рим лежит в руинах.

Князь Иван схватил Аштона за плечо:

Ты кому говоришь, мне или обезьяне?

— Какой обезьяне? — удивился Аштон.

— Не ходи, боярин, в разбойный мир! — услышал Иван плач Леонида. Старец, как и прежде, стоял перед ним на коленях. — В монастыре тихо. За болотами укромно, покойно. Схоронимся...

— А каково ваше мирское имя, старец Леонид? — спросил Аштон. — Гришка Отрепьев?

— Не знаю, каким именем меня Судия назовет. А мирское, мимотекущее — забыл, — повторил Леонид.

— Слава Богу, никого тут, кроме нас, нет, — перекрестился

князь Иван. — Никакой твари. Ты меня, старец, не проси, не останусь. Поеду со стрельцами в табор, может, увижу царя Дмитрия.

— Царь Дмитрий — или Григорий Отрепьев — мертв, — твердо сказал Артемий Аштон. — А тот субъект, что стоит табором под Москвой — *furtum et figmentum** подданных ничтожного короля Сигизмунда.

— Мера жизни — огонь и горе, — причитал, отходя прочь, старец Леонид. Он едва волочил ноги. Гремел оловянной кружкой, куда Аштон бросил грош. И пел:

Расплатится, растоскуется
Душа грешная, беззаконная
Прожила я век, окаянная,
Всегда в лености, с нерадением.

В дороге стрельцы делились с князем Иваном хлебом, жалели: — Мать у тебя там и жена! В злом обдержании!

А под Вязьмой украли, пока он спал, все золотые. Сочувствовали Ивану, помогали искать, только ничего ни на ком не нашлось.

Князь Артемий Аштон всегда трапезничал в стороне, сам по себе. Его сума была полна и сала и копченья. Стрельцы к нему не подступались:

— Не от нашей он стороны, басурман. Обычаи у них другие, поганые. И собака его больно зла, того гляди оттяпнет полруки.

Стрельцы жаловались на псковских воевод, говорили:

— Воеводы наши — нечестивые мытари. Несытые, всё-то в мздоимстве, в грабежах. У царя Василья неправедные лизоблюды. А стрелецкие головы — подметчики, поклепчики, воеводины кормильцы. Вот погоди, дойдем до Тушина, возьмем с государем Дмитрием Ивановичем Москву, царь нас пожалует, не обделит. Только и милости — царь да Бог.

*уловка и умысел

Боярские дети, Фетка Муравьев, Фома Подщипаев, Мишка Обернибесов ехали в Тушино выпрашивать поместья. Мишка Обернибесов рассказывал:

— Был я на Поле у атамана Вóрона Носа, потом у Митьки Беззубцева. С Поля пошел в Тулу с царевичем Петром, государевым племянником. В осадное затопление чуть сам не утоп. Вернулся в Псков восвояси, проведать родимцев. У меня там жена Маланья и детки — Путила, Курбат и Кирик. Скот давно весь прирезали. Хлеб едят из лебеды, лепешки из коры. Рода я древнего, а без поместья самим собою подняться нечем.

Фетка Муравьев погулял на Волге в казаках, воровал, играл в зернь, бражничал. Говорил Ивану:

— Получу поместье и сейчас отдам в монастырь. Сам постригусь у преподобного Сергия, у Троицы. Много было бито, граблено, пора и душу спасти. Плоть, князь Иван, она, ух, какая презлая!

Под Смоленском боярские дети забрали торговый обоз, разбили, разграбили. Фетка Муравьев взял себе толстую, большую маркитанку. На стоянках уводил ее в лес, за деревья. Вернувшись, присаживался рядом с князем Иваном, жаловался:

— Ох, князь, плоть наша, до чего она зла! — И смачно плевался в сторону маркитанки. — Погоди же, получу поместье, отдам в монастырь, сам посихмлюся.

Стрельцы налетали на уцелевшие от пожаров и разоренья деревни, что могли унести, забирали, а остальное бросали в снег, в грязь, топтали лошадьми. Кричали, остервенясь:

— Мы были жжены, мучены, ничего у нас нет. А эти, гляди, как сыто живут! Мы их сейчас с собою сравняем!

Били утварь, секли двери, окна.

Князь Иван ни во что не вступался. Стрельцы ему пеняли:

— Баба ты, и твой басурман — баба. А еще боярин!

— Отчего ваши люди так беспощадны к своим соотечественникам? — спрашивал Аштон.

— От страха, — отвечал князь Иван.

Раз к нему подъехал боярский сын Фома Подщипаев и шепнул, озираясь, на ухо:

Ты не царь Димитрий?

— Кто тебе такое сказал? — удивился Иван.

Мишка Молчанов. Ты не бойся, я буду молчать и ты молчи — до поры.

VI

В Таборе первым из знакомцев князь Иван увидел Молчанова. К нему Хворостинина привел Фома Подщипаев. Мишка был пьян, ползал у своей палатки на коленях, что-то искал в снегу. Поднял голову, раздвинул в улыбке толстые свежие губы:

— Вот и ты, княже, к нам перелетел!

— Я не из Москвы, — сказал Иван. — С ливонской границы.

— И то добро, — отвечал, ползая в снегу, Молчанов. — Старый друг лучше новых двух.

— Что ты там, Мишка, в сугробе ищешь? — спросил Иван.

— Царя ищем! — загоготал Молчанов. — Ты как, не хочешь быть царем Димитрием? — Он поднялся с колен и показал князю Ивану серьгу с большим изумрудом: — Нашел, что искал.

Хворостинин вспомнил, что видел серьгу среди драгоценностей, присланных принцессой Анной, сестрой короля Сигизмунда. Их показывал ему и царю Димитрию Немоевский, предлагал купить. "Я тебе ее подарю!" — обещал тогда царь Димитрий. А наутро его убили. "Когда же ты, Мишка, успел эту серьгу украть?" — подумал князь Иван.

На высоком берегу Москвы реки, на мысу, там, где в нее впадает речонка Всадная, стоял свежерубленный царский дворец. На башнях трепались на слабом ветру красные, с черным орлом, штандарты царя Димитрия. А кругом — вперемежку: свозные избы, землянки, грязные побуревшие палатки, две-три церкви, казацкие и маркитанские обозы. Целый город. По площади перед дворцом бродили худые злые псы. Торчала на колу голова польского пана в бобровой шапке.

— Пан Меховецкий, — кивнул в сторону головы на шесте Молчанов. На длинных сивых усах Меховецкого застыли сосульки, стеклянные голубые глаза смотрели на леса за Москвой-рекой, на дальние дымки, туда, где начиналось непрочное царство царя Василия.

Через площадь проехал боярин в красном возке. Потом пьяные ляхи верхами, казаки. Проехал в санях польский пан в обнимку с визгливой маркитанкой.

— Пан Бобовский гуляет, — сказал Молчанов. — Вернулся из Коломны.

Некрещеные татары проскакали следом за мурзой в ватном зеленом халате. Кричали: "Алла Бисмалла!". Лицо мурзы показалось Ивану знакомо. "Кто это?" — спросил он Молчанова.

— Царевич Муртаза, племянник царя Симеона. Вчера перелетел из Москвы.

Во дворце, ожидая царя, сидели по лавкам в сонной дреме бояре. Хворостинин увидел князя Ивана Катырева-Ростовского, подошел.

— Вот и ты тут, Ваня, — сказал как-то безрадостно Катырев. — Все мы, гляжу, ныне ослабели. Одни от страха, другие от прелести.

Сидевший рядом грузный Михайло Салтыков очнулся от дремы, недобро покосился на Катырева.

— Царство шубника непрочно, — громко, будто оправдываясь, сказал Катырев. И — тише, одному Хворостинину: — А куда податься? Кроме Тушина некуда.

— Да увидим ли мы царя Димитрия Ивановича? — зычно, по-хозяйски спросил Молчанов.

— Царь в бане моется, — ответил сидевший на крайней лавке у двери монах. — Отрясает слепоту во купели. Все ждем.

— И ты здесь, старец! — засмеялся Мишка. — Давно ль царю Василию крест целовал?

Из нужды целовал, со слезами, — отвечал чернец.

— Кто он? — спросил князь Иван у Молчанова.

— Келарь Авраамий от Троицы.

Келарь отвернулся в сторону, пробормотал, а Иван расслышал:

— Молчат ныне древние, велеречат новые.

— Ты что это с Мишкой Молчановым дружишься? — шептал Ивану князь Катырев. — Чернокнижник он, крадлив, блядлив.

Иван долго царька не разглядывал, не надо было. Услышал

только голос, высокий, с хрипотцой, чужой — понял — значит, не *он*, не настоящий. Бояре сошлись у трона, заговорили разом.

Молчанов подтолкнул Ивана:

— Назовись, он тебя сейчас узнает. Или соврет. Может, сразу боярство пожалует. Кравчим тебе, как прежде, не быть, я у него кравчий.

Целую царскую руку, князь Иван разглядел пальцы — в толстых узлах, с темными ногтями, с заусенцами.

— Чем мне тебя, князь, пожаловать? — спросил царек. И вдруг сморщился чужим, незнакомым Ивану лицом, замотал худой красной шеей, запричитал:

— Сбежал я в лихую ночь из Москвы, от родной матери, от милых приятелей, ничего не захвативши. Все, что было, роздал! Золота мне не надо, дорога мне дружба, дороги верные слуги.

Царек подошел к окну. Посмотрел на площадь, где торчала на шесте голова пана Меховецкого, и заплакал:

— Да не обладает мною всякое беззаконие! Вот и друга моего, ясновельможного Меховецкого с телом насильно разлучили. Ахти мне, вижу себя в обдержании, вижу в тесноте и мучительстве!

— Гордые смиренного всегда грызут, — посочувствовал Нагой.

Царек положил голову дяде на плечо:

— Одна надежда на вас, милые родичи. И на дорогих сердцу друзей. Дайте срок, взойду в Кремль, обниму заточницу — матушку. Того больше не будет, что я в первый год натворил! К мощам — поклонение, к вере — уважение.

Царек вытер слезы, оправил на себе парчевые, похожие на епископские, ризы. Снял с пальца перстень с крупным алмазом и подал князю Ивану:

— Жалую тебе, князь, за приезд. Будешь верно служить, ничего не пожалею, последним поделюсь.

— И зачем он вам такой? — спросил, отойдя, князь Иван у Молчанова.

— Какой есть, другого не сыскали, — отвечал Мишка. — Коли тебе не по нраву, ступай в Москву, к царю Василию.

— Хорош камень! — сказал он с завистью, любуясь пода-

ренным Ивану перстнем.

Вечером Ивана позвали на пир. Он сидел за столом между князем Катыревым и келарем Авраамием.

— Вот я тут, слабый, — бормотал Катырев, напиваясь ренским. — А давно ль стоял в Успенском соборе, к патриаршим ризам припадал, кричал: "Во всем виноват, честной отец!". И вот опять виноват.

— Ты, князь Иван Андреевич, все смотри и примечай, шептал Ивану келарь Авраамий. — Не угадать, на чем свершится!

Ростом он был мал, телом крепок, волос на вид будто грязный — светлый, со многой сединой. Его часто подзывали к своему столу поляки, князь Адам Вишневецкий, Тышкевич, ротмистр Бобовский. Он к ним не шел, а полз, до того был согбен. А отходя, украдкой крестился и отплевывался: "ТЬфу, оскверненные языки, люторы, римляне".

— Терпи, старец, — утешал Иван, — терпеть надо, за всего мира безумное молчание.

— Витиевато ты говоришь, красиво, — радовался Авраамий. — Я запомню. У меня всякое лыко в строку.

Государыня Марина пришла на пир похожая, а будто чужая. Он к ней подошел, поцеловал руку в кружевной фламандской перчатке. Увидел, что нос у нее стал острее, а глаза — старше. Она на него взглянула, но глаз не задержала.

— А ты, ксёнжен, постарел! — только всего и сказала.

Позади царька стоял большой кованный короб и при коробе караул — татарин с бердышом.

— Что у него в том коробе? — спросил князь Иван келаря.

— Казна, — ответил Авраамий.

Принесли блины и чашник, князь Урусов объявил, что блины прислала королева Ливонская, старица Марфа. Вдруг в сенях послышался шум. Царек в ужасе посмотрел на двери и бросился вон из-за стола.

— Децимвиры идут! — закричал он и пал животом на короб.

Гремя саблями, в палату вошли князь Рожинский, пан Млоцкий и с ними восемь поляков.

— Это подношения! — кричал, лежа на коробе и обхватив его руками, царек. — На церковь подношения, сейчас получил

для патриарха Филарета!

Рожинский, сильно хромяя на левую ногу, подошел к царьку, взял его за шиворот и стащил с сундука. Рывкнул:

— Я над тобой накудесю, святитель! Костей не сочтешь! Марина сидела, не шевельнулась. Царек заполз под стол и оттуда подвывал:

— Повергни меня на стогны, где меня и нашли. Не хочу твоей славы! Хочу покоя! Отпусти!

— Я тебе башку сорву, курвин сын! — кричал на царька Рожинский. Пан Млоцкий открыл короб, пропустил в горсти золотые монеты:

— Добре злато!

Бояре смотрели, молчали. Один Михаил Салтыков подал голос:

— Ты, князь Романе, не шибко его бей. Он хоть и тщедушный царек, а полезный.

Рожинский сел на царское место рядом с Мариной, выпил залпом кубок, обвел палату мутным взглядом и сказал:

— Табор сожгу и уйду! Не золото мне дорого, дорого мне рыцарство, дорога слава.

За его спиной пан Млоцкий и пан Валявский считали золотые монеты — жалованье честному шляхетству.

Наутро в Таборе был рокош, люди пана Тышкевича стреляли людей князя Рожинского, горел в разных местах дворец, а царек тайно утек в Калугу в телеге под дровами.

Попила литва, попировала, порыцарствовала, радовался Авраамий. — Теперь и нам пора за дело братья.

Иван попросил у него розвальни, ехать в переславскую вотчину, проведать мать.

Авраамий, подумав, дал и потом напоминал:

Не вернешь, не мне будешь должен, преподобному Сергию.

День был тихий, сырой, пасмурный. Мерин бежал легкой рысью по укатанной дороге. В розвальнях на сене было тепло, клонило в сон. Снег еще не слежался. То и дело попадались заячьи следы на снегу. Он вспомнил, когда в последний раз травил зайцев. Было это давно, на царской охоте. Они с царем

ждали, на опушке, куда борзые приведут зайца и царь Дмитрий рассказывал, как ехал ночью с Константином Вишневецким в Самбор — скакали гайдуки по обеим сторонам возка, в лесу выли волки на полную луну. Царя Дмитрия удивили соты-окна Самборского замка и горящие площадки на площади. Вышел к Дмитрию будущий тесть, воевода Юрий Мнишек, капли пота блестели на его толстом носу. А потом вышла Марина, совсем девочка. Она показалась Дмитрию некрасива, одни глаза были хороши — большие, умные...

"Где она теперь?" — подумал князь Иван. Уезжая из Табора, он видел, как она, пьяная, брела, увязая в снегу, к палатке ротмистра Бобовского.

Мерин громко заржал. Иван очнулся от дремы и увидел близко двух верхами, должно быть, только что выехавших из ельника. Он хотел было ударить кнутом лошадь, чтоб бежала шибче, как вдруг услышал знакомый голос:

— Что, Иван, своих не признал?

К нему подъезжали Мишка Молчанов и князь Василий Масальский. Мишка Молчанов, ловкий, увертливый, еле сдерживал своего ногайца.

— Мы с Васькой едем в Самбор и дальше в Краков — просить королевича Владислава на царство. Хочешь с нами? В прошлых годах я там неплохо пожил. Перстенок-то у тебя с собой?

— Ты ему зубы не заговаривай, — сказал Масальский. — Разве не видишь, никакого оружия на нем нет. Мы его быстро кончим.

Князь Иван увидел, как Васька Масальский стал доставать из голенища нож. Испугаться не успел, только подумал: "Кому под силу принять на себя меру содеянного людьми?".

— Не дрожи, Ваня, — сказал, склябась, Молчанов. — Это не страшно. Небойсь, мы тебя в поле не бросим, как нелюди. Отвезем честное тело к матушке, к княгине Гликерии. Ох и напьюсь я на твоих поминках! А потом погляжу, может, согрею княгиню в ее вдовстве, в новом сиротстве.

— Не время еще, погодите своевольничать! — раздался тонкий голос с верхушки высокой сосны.

Иван посмотрел вверх, подняли головы и Молчанов с Ма-

сальским. На сосне сидела обезьяна в бархатном кафтане. Масальский выронил нож в снег, перекрестился. Молчанов закричал, завыл в страхе: "Сам без вины! Это меня немка в литовских городах испортила! А сам без вины!". Мерин встал на дыбы, чуть не вывалил Ивана из розвальней, и понес во всю прыть прочь от гиблого места.

Старый княжий двор стоял за Переславлем, на холме, через овраг от Данилова монастыря. В детстве его привозили сюда из Москвы после Троицы, на все лето. Здесь умер отец, князь Андрей Старко. Здесь Иван гонял голубей, ходил с дядькой купаться на Плещеево озеро, здесь научился охотиться. С годами дом на высоком подклете сильно обветшал, потемнел, тын погнил, местами обвалился, и теперь, подъезжая, он порадовался, что мать поставила новые крепкие ворота и изгородь, обшила дом тесом, надстроила верхние терема.

Она встретила его на крыльце, на обледенелых ступеньках, простоволосая, в одной телогрее. Заплакала. Синие глаза ее заметно посветлели, темные волосы заткала седина. Он поднял ее с колен, поклонился ей низко, поцеловал.

— Откуда ты, Ваня? — только и спросила.

— Из странствия, — ответил он и протянул ей кольцо, пожалованное Тушинским царьком: — Тебе гостинец. Возьми от греха подальше! Мишка Молчанов за этот перстень чуть меня не зарезал, спасибо, обезьяна спасла!

Она надела перстень на безымянный, свободный от колец палец, долго любовалась камнем, будто не слышала слов сына. А потом всплеснула руками:

— Мишка?! Быть того не может! Ты ему, верно, сказал обидное слово. Язык у тебя, Ваня, острый, злой... Обезьяна еще какая-то! Так, твое мечтание. Ох, Ваня, когда ж ты на земле-то жить будешь, да чтоб с людьми...

Они стояли в сенях. Мерцала лампада в нише перед иконой. Чистые стены пахли пивом, а воздух — сухими травами. Мать была тут, рядом, а радости, что он дома, у князя Ивана не было. И так с детства, сколько он себя помнил. Он ее ждал, чтоб пришла, обласкала, похвалила. Она приходила, целовала, будто чужого, в щеку холодными губами и за все пеняла: то не так одет,

то плохо читал, то был слишком резв, то — не по годам тих. Была княгиня Гликерия молодой женой при старом хвором муже: князь Андрей годами лежал бессловесен и глух, ничего не разумел, и она, в сердцах, выговаривала его сыну: "Вы, Хворостинины — гнилая порода, крошечники, в пыточной вам место, у дыбы, не средь добрых людей". Маленький Иван не понимал, плакал. Лет пяти он стоял с ней на долгой монастырской службе в Даниловом монастыре, томился, разглядывал стеновое письмо — архангел Михаил на горе Елеонской водит Богородицу по мукам. Там были вялые желтые тела в огненной реке, одни по пояс, другие до подмышек, третьи по шею, а иные и с головой. Он спросил, — за что эти души преданы лютой казни, и мать сказала строго:

— Это те, кого прокляли отец с матерью, за то они и мучаются. Ослушаешься нас с отцом, и мы тебя проклянем.

Он отца не боялся, тот давно лежал нем, а матери с тех пор испугался — на много лет.

— У меня гостя, — сказала княгиня Гликерия. — Екатерина Шуйская с выводком. Жены твоей, Марьи, в доме нет. Не понравилось ей у меня, отъехала к Голибесовским, к дяде.

Екатерина Григорьевна Шуйская, сестра удушенной царицы Марьи Годуновой, была скуласта, как сестра, и глаза имела те же, злые, отцовские, Малютины. У окон, поодаль, за вышиваньем сидели пять девиц Шуйских, востроносые, мелкокостные, племянницы царя Василия.

— Государевы невесты, — сказала княгиня Гликерия.

— За какого же царя вы их будете сватать? — спросил Иван.

— А какой прищется, — ответила Шуйская. — Только за другого расстригу, за поядателя человеческих душ не отдам!

Она смолчала с минуту, потом сказала, не утерпела:

— Вон она как взыскалась на Воре Гришке сестрицына кровь!

Иван тоже не удержался:

— Как же муж твой, князь Димитрий и деверь, царь Василий Вору Гришке крест целовали, встречали с хоругвями? Не с их ли ведома сестру твою, царицу Марью задавили, и племянни-

ка твоего, Федора?

Злой ты Ваня, недобрый! — укорила его мать.

— Бог попускал, а враг действовал, — ответила Шуйская.

— Врешь ты все, княгиня, — сказал Иван.

Выходя из палаты, слышал, как княгиня Катерина, плача, шептала:

— Я-то что, Господи! Я-то что! Это все Васька, да муж мой Митька! Горемычная ты, Марья, сестрица моя бедная! Погубили тебя злой смертью!

В верхней горнице, где лежал когда-то отец, печи были на-топлены жарко. Он не мог уснуть, сидел, прислонив голову к баясине, открыл окно, смотрел на запорошенные снегом заросли ольхи у Трубежа, на Ярилину Плешь, на переславские колокольни, на едва белевшиеся за Плещеевым озером стены Никитского монастыря.

Во сне он плыл на плоту по Плещееву озеру, а с ним было двое, человек и обезьяна. Он хотел разглядеть лицо человека, запомнить, и не мог. Взглянул на берег — там стоял Кремль и Царев Борисов новый дворец. В окнах сидели царь Димитрий, Тушинский царек, царица Марина Юрьевна, царь Василий. Обезьяна закричала с плота:

— Христос Воскресе, царь Димитрий! Прыгай к нам на плот, далеко уплывем!

— Какой Димитрий вам надобен? — спросили с берега.

— Какой хошь, любого берем! — отвечала обезьяна. —

Прыгай!

— А меня?! — попросил царь Василий.

— Тебя *она* возьмет! — отвечала обезьяна.

Иван увидел, что от Ярилиной Плещи, от их усадьбы идет за царем Василием — а вода ей в озере по щиколотку — огромная позолоченая баба, держа обеими руками над головой черную чашу.

У Голибесовских в вотчине темнела на месте дома едва присыпанная свежим снегом яма. На дворе между замерзшей крапивой и седыми метелками таволги валялись еще дымившиеся головешки. Из всего поместья уцелела одна изба под старой бере-

зой. Он долго стучал в кривую, иссеченную саблями дверь. Открыла Домна, ключница старого князя. Увидев Ивана, заплакала:

— Погорельцы мы! Всё литва спалила!

— А ты бы не ворожила в старой ржи! Накликнула беду! — закричал старый князь.

Голибесовский сидел на печи, свесив босые грязные ноги. Изба была завалена обгорелым добром. Старик хотел слезть с печи, шарил, ища палку. Устал, махнул рукой:

Слепой стал, глаза, что плоски, а не видят и ложки.

— Где жена моя, Марья? — спросил Иван.

— Люди стали умирать, а земля начала быть пространнее, прошамкал Голибесовский. — Нету Марьи. Все равно жить негде. Везде пожар. При последних временах, оно так и бывает!

— Ты, князь, дядечку прости, стар стал, невнятен, испугался, — оправдалась Домна. — В Москве княгиня Марья. Там царь Ладислав утверждает, так чтоб ваше добро сберечь.

— Зачем тебе Марья? — спросил Голибесовский. — Ты сам себе в тягость. Эх-ма, отдал девку кромешникам, блудникам, опричному роду!

Иван не засиделся, вышел из избы вон. Домна в дверях его крестила, кланялась, плакала. Старый князь кричал ей с печи:

— Домна, кто сей час у нас был? Гришка Вор, или еретик Ванька? Эх-ма, век притворный, привременный...

Он подъезжал к Москве со стороны села Алексеевского, низким берегом Неглинной. Места кругом были унылые, сиротские: мерзлые камыши, кучи хлама и лошадиные остовы у реки, кривые ветлы там и сям, покинутые хутора, ободранные часо-венки, разбитые амбары, обуглившиеся бревна. Из серого снега торчали почерневшие печные трубы. Таяло. Со стороны Москвы ветер доносил запах гари, слышны были пальба, гул колоколов.

За Божедомкой, у Напрудного в поле, среди полусгоревших деревянных башен стоял полукругом польский обоз.

“Да это Скородом!” — узнал князь Иван. Сюда он ездил весной с царем Димитрием глядеть, как строят Гуляй-город.

Москвичи окрестили поле Адом, сюда привезли тело царя Димитрия, или того, кого они убили, и тут сожгли.

Иван подъехал ближе. И увидел две большие деревянные клетки, стоявшие на телегах. В одной, завернувшись в медвежью полость, храпел боярин в бобровой высокой шапке и овчиной шубе. В углу другой, скрючившись и дрожа, сидел монах в накинутом на рясу бараньем кожухе.

— Князь Иван, а князь Иван! — позвал монах. Его дребезжащий голос показался Ивану знаком.

— Откуда ты меня знаешь, старец? — спросил Иван.

— Я твой законный государь, как мне тебя не знать! — обиженно сказал чернец.

Иван пригладился — в клетке сидел царь Василий.

— Сострадай, Иване! — заплакал Шуйский. — С престола сведен, насильством пострижен!

— Кто ж тебя постриг? — спросил Иван.

— Князь Гришка Тюфякин с товарищи, чужого спасения окаянные рачители! Гришка теперь — монах, не я, Гришка обеты говорил.

— Не жаль мне тебя, царь Василий, — сказал Иван. — Я от тебя все принял — гонение, грабление, тиранство.

— Я был незлобивый пастырь! — плакал Шуйский.

К клеткам подъехал наемник-немец в кирасе и с мушкетом. Князь Иван его знал — Георг Шварцкопф был телохранителем царя Димитрия.

— Морген, князь! Давно не виделись! — Указав рукой в стальной перчатке на клетки с Шуйскими, он сказал:

— Не правда ли, недурной улов?! Мы уже повесили кучку подложных царевичей — царевича Августа, царевича Ерошку, царевича Петра, царевича Гаврилку, царевича Мартынку. Теперь пришел черед и законного царя. Жаль только, что он больше не царь, а монах Варлаам.

— Куда вы его везете? — спросил Иван.

Шуйский из клетки подал голос:

— Везут меня с братом Димитрием к оскверненному языкам!

— В Варшаву, в зверинец, — ответил немец. — А вы, князь, в Москву?

Иван кивнул.

— Не советую, — сказал Шварцкопф. Metropolis Russiae обратилась в грязь, прах и пепел. Поляки бьют москвитов. Весь город горит. Последние дни мне казалось, что там поселился Князь Ада со всей своей родней, с муттер унд гроссмуттер. Кстати, ваш друг, капитан Якоб Маржерет — в Кремле. Надеюсь, вы застанете его живым.

— Умру я в поганой Литве, ох, умру! — плакал в своей клетке Шуйский. — Хоть бы мертвым меня домой привезли! Положили бы у Архангела, на той стороне, где оальные князья кладутся. Или в Суздале, к пращурам под бочок, у Рождества. Там гробы холодные, каменные, а всё ж свои.

— Ты в воскресенье мертвых веруешь, царь Василий? — спросил Иван.

— Верую, — твердо ответил Шуйский и перестал плакать. — На Страшном Суде сначала все друг друга узнают, а потом только праведные, а грешные — нет.

— Ну так, значит, мы с тобою больше нигде не встретимся, — сказал князь Иван. — А что, узнает душа свое тело, оставив его некогда тленным?

Шуйский выпрямился в клетке во весь свой маленький рост:

— Тебе, князь Иван, ни тела своего, ни души не узнать — ни в сем веке, ни в будущем! Будешь всем странен, будешь в поношение и во стыд!

Князь Иван вздрогнул. Он уже слышал эти слова. Немец Шварцкопф рассмеялся:

— Пророки, инок Варлаам, кончились во времена Артаксеркса!

Юрий Кашкаров

Алексису Ранниту

Никем неузнанный прошел вчерашний день,
исчез в толпе собратий безымянных.
Забуть его потерю слишком рано,
но обернуться тягостно и странно,
как будто вспомнить в ноябре сирень,
как будто выглянуть спросонья из окна
замедлившего действие вагона,
заметить полустанок полусонный
и, обнаружив надпись, удивленно
понять, что за окном не та страна,
понять, что прошлого пространством не унять,
не выменять прощанья на прощенье.
Но если написать стихотворенье,
где моментальность легкого прозренья
доступна, словно ветер для коня,
то словно к тайному владению ступень
приводит избавительное слово,
и память дышит веткою лиловой,
и оглянуться радостно и ново,
хоть всё проходит, как вчерашний день.

Марина Косталевская



М. Башкирцева

МАРИЯ БАШКИРЦЕВА И ЕЕ ДНЕВНИК

ТЕКСТ И ПУБЛИКАЦИЯ ВАЛЕНТИНЫ ГИНЗБУРГ

Мария Башкирцева была известна нашим старшим современникам главным образом как художница. Ее картины выставлены в Третьяковской галлерее в Москве, в Русском музее в Ленинграде и в некоторых крупных украинских музеях. Заграницей — в музеях Парижа, Ниццы, Амстердама.

Как писательница, она прославилась своим дневником, написанным по-французски, изданным посмертно и переведенным на несколько европейских языков. Дневник неоднократно переиздавался, о нем писали Репин, М. Нестеров, В. Брюсов и А. Франс. Премьер-министр Великобритании Гладстон назвал дневник Башкирцевой "одной из самых замечательных книг нашего столетия". Широкою известность получила опубликованная посмертно короткая переписка Башкирцевой с Мопассаном.

Марина Цветаева посвятила свой первый сборник "Светлой памяти Марии Башкирцевой". Однако, в Советском Союзе о ней опубликована лишь небольшая статья О. Лясковской.

Что же было замечательного в этой девушке, о которой так много говорили и писали и которая умерла, не дожив до 24 лет? Французский писатель Ф. Коппе, познакомившийся с М. Башкирцевой незадолго до ее смерти (в мае 1884), писал: "Я видел ее всего один раз и беседовал с нею не более часу, но не могу ее забыть".

Все в ней было необыкновенно: красота, ум, талант. А также — честолюбие и стремление к славе. Невероятная целеустремленность, настойчивость и трудоспособность. Как отмечал Н. Михайловский, "в ее дневнике обнаруживается недюжинный талант", а "кроме того, Мария

Башкирцева обладала и музыкальными талантами. Если прибавить к этому красивую наружность, выдающийся ум и материальную обеспеченность, можно подумать, что вся ее жизнь представляла сплошной праздник. Но она пролетела, как метеор по небу. Оборвалась струна, не успевшая прозвучать. Исчезла сила, не успевшая проявиться. Трагедия Марии Башкирцевой в том, что ей было дано слишком много для заурядного счастья". Вернее, слишком мало времени для полного развития талантов и личности.

В предисловии к дневнику Башкирцева писала: "Мне хочется *остаться в памяти людей*, и этот дневник должен быть моим литературным и человеческим памятником. Ведь если я умру рано, его прочтут только родные и, рано или поздно, уничтожат. И от меня не останется ничего... *Ничего* — вот что самое страшное.

Жить, мучиться таким честолюбием, добиваться славы, столько трудиться ради нее, бороться и страдать и, в конце концов, кануть в забвение, словно меня никогда не было... Ужасно!"

Мария Константиновна Башкирцева, Муся, как все ее называли, родилась 11 ноября 1860 года в богатой семье. Детство провела на Украине, в поместье родителей. В 1870 году они разошлись и девочка (с матерью, тетей и дедом, а также с домашним врачом и слугами) уехала за границу, где она и прожила свою короткую жизнь.

С трех лет, как она пишет сама, она думала о "величии". Даже куклы у нее назывались королевами и принцессами. У Муси было две гувернантки. Одна из них находилась в последней стадии чахотки и умерла в 1868 году. Муся, видимо, еще в детстве заразилась туберкулезом. Ведь до 1882 г. не знали, что туберкулез заразен. Приходится упрекнуть в невежестве домашнего врача Башкирцевых, который на сообщение 15-летней девочки о том, что у нее при кашле кровохаркание, ответил: "Если будете ложиться спать так поздно, у вас появится еще больше болезней".

Мария Башкирцева вела дневник в течение 11 лет. Первые записи настолько поразительны для девочки ее возраста, что не требуют каких-либо комментариев.

1873 год. Ницца. Мне 12 лет. Мне кажется, что я создана для счастья... Вчера меня попросили петь. Девочки даже стали на колени. Все, и дети и взрослые, были в восторге.

Какое это великое чувство — сознание, что тобой восхи-

щаются! Я была совершенно счастлива. Наверное, я создана для триумфов. И лучше всего стать певицей. Если, с Божьей помощью, я сохраню и разовью свой голос, то, возможно, достигну славы, которой так жажду. Хорошо быть знаменитой и обожаемой, но слава!.. Вот все, чего я хочу. Я знатна и богата, но меня опьяняет мысль о том, что звуки моего голоса смогут повергнуть к моим ногам весь мир.

А кроме того, мне постоянно говорят, что я — красива и стройна. Умею держать себя в обществе... Позировать и кокетничать. Конечно, еще мне рано осуществлять все это. Но со временем!

Не понимаю, почему мужчины и женщины стараются нравиться друг другу, пока не поженятся, а после свадьбы совершенно не думают об этом? Неужели только потому, что можно любить друг друга открыто? Не значит ли это, что люди находят удовольствие лишь в том, что считается запретным?

30 декабря 1873 года (13 лет). Наверное, моя любовь к герцогу Г.* так сильна потому, что я никому о ней не говорю. Это — как флакон с духами: пока он закупорен — аромат силен. А стоит открыть пробку, он улетучивается.

Уже полтора часа жду учительницу; она, как всегда, опаздывает. Я вне себя от досады и возмущения. Из-за нее я трачу время попусту. Ведь мне 13 лет, и если терять время — что из меня выйдет? Сейчас самая пора учиться, а позднее, в 16-17 лет, у меня будут другие мысли и интересы.

Да, я люблю выезжать и принимать гостей, но вряд ли буду только наряжаться и танцевать. Нет, закончив свое детское образование, я начну серьезно заниматься музыкой, пением, живописью. Мои учителя музыки и рисования** довольны мною — я играю концерт Мендельсона без единой ошибки.

*Детское увлечение герцогом Гамильтоном, которого Муся видела только на улице.

** Учителем рисования был известный русский художник Н. Котарбинский.

Мне часто говорят, что я — хорошенькая, но я считаю себя всего лишь миловидной... мне хотелось бы стать *личностью*. Такой, чтобы после моей смерти мой дневник был бы интересен всем.

Целый день составляла расписание занятий. Закончу только завтра. Высчитала: по 9 часов ежедневно. Боже, дай мне сил и настойчивости в уроках!

Сделала список нужных учителей из лица. Мне сказали, что директор был удивлен: "Сколько лет этой девочке, которая не только хочет учиться всем этим предметам, но и сама составила такую программу?"

Не надо обращать внимания на мелочи жизни, потому что впереди будет настоящая жизнь, со всеми ее горестями, болезнями, разлуками и, наконец, с неотвратимой смертью.

Думаю, что слова о том, что "Бог создал мир за шесть дней", нельзя понимать буквально. Химические элементы образовывались веками, а Бог — это та сила, которая направляет мироздание и развитие.

По-моему, все распри между взрослыми и все семейные неурядицы — от безделья...

Нельзя никому открывать свою душу — *тогда будешь казаться лучше, чем в действительности*.

1874 (14 лет). Не могу понять, как происходит переход от девочки к девушке?

24 июня. Так долго не могла петь! И вот, мой голос, мое сокровище, возвращается. Такое счастье! Становишься как бы бессмертной. Настоящее царство — это царство красоты.

14 июля. Я занималась латинским языком с февраля. Учитель сказал, что за пять месяцев я прошла столько же, сколько в

лицее проходят за три года, и что в будущем году смогу держать экзамен на аттестат зрелости.

Как разнообразна и интересна человеческая жизнь!

17 июля. Говорят, что в России шайка негодяев добывается коммуны. Эта подлая секта погубит все — и цивилизацию, и созданные ею великие и прекрасные вещи, сведет всё к материальным средствам существования!

2 августа. После целого дня беготни по магазинам, портным, модисткам, прогулок и кокетства, я, наконец, могу приняться за своего любимого Плутарха.

18 августа. Все говорят, что я красива и, в конце концов, я сама начинаю верить в это. Фотография никогда не передаст мою красоту, потому что в ней главное — краски и свежесть. А стоит привести меня в дурное настроение или когда я утомлена — вся моя прелесть исчезает, и я становлюсь просто уродиной.

Я жду своего часа, как Агарь в пустыне. О, Господи, пусть он настанет скорее! Скорее!.. Боюсь, что такое неумное желание жить на всех парах — признак недолговечности.

6 сентября. Париж. Люблю жизнь и нахожу ее прекрасной во всех ее проявлениях, даже в горестях и страдании, в печали и отчаянии. Я нахожу счастье даже в отрицательных сторонах жизни.

13 сентября. Флоренция. Я могла бы проводить целые дни в галереях. Я люблю то, что близко к жизни, к природе. Не в этом ли смысл живописи?

1875 год. Ницца (15 лет). Вернувшись домой, я нашла все свои колбы, реторты и пипетки сваленными в кучу и перебитыми. В ярости я села на пол и стала добывать то, что испорчено. (То, что уцелело, я не трогаю — я никогда не забываюсь!).

Как я устала от безвестности! Я чахну от бездействия, покрываюсь плесенью...

15 октября. Я спела в церкви "Rossignolo". Толпа была в восторге — "Bella Regina!"... А потом, из-за гнусной сплетни, пущенной в городе о нашей семье*, пришла в отчаянье, проклинала Ниццу, все человечество, редела, как дура. Неужели так будет всю жизнь? И почему, чего бы я ни пожелала — это не исполняется? А ведь все неприятности не скользят по моему сердцу, а оставляют в нем мерзкий след. Таков мой характер. Как же я буду жить?

1876 год (16 лет). Посещение Ватикана. Увидев его красоту и великолепие, я подумала, что институт пап хорош уже тем, что они создали нечто столь прекрасное и употребили свое богатство и могущество на то, чтобы оставить потомству *Ватикан*.

14 января. Учитель живописи привел натурщика и велел мне сразу, безо всякой подготовки нарисовать его. Я набросала контуры углем. "Прекрасно, — сказал учитель, — теперь сделайте то же самое красками". Я сделала набросок кистью. Он повторил: "Отлично! Теперь пишите".

Через полтора часа все было готово — фон, контур, цвет. Я довольна — а ведь я очень требовательна к себе.

... Ничто не пропадает в этом мире. В каждом человеке, в каждой твари заложен определенный запас любви, которая обращается на Бога, на человека, на природу. У некоторых эта "энергия" заглушена животными инстинктами или расходуется *вообще*, ненаправленно. Такие люди считаются "добродушными"... На что уйдет моя любовь?

20 января. Профессор Фачио проверил мой голос — у меня 3 октавы без двух нот. Я вне себя от радости. Голос — мое сокровище. Сцена для меня то же, что престол. Я захлебываюсь от нетерпения начать жить полной жизнью.

*Видимо, о том, на какие средства живет мадам Башкирцева, мужа которой никто никогда не видел. Это и заставило впоследствии Мусю поехать в Россию, чтобы попытаться примирить родителей и заставить отца приехать в Ниццу.

18 февраля. Мне представили племянника кардинала, графа Пьетро Антонелли. Ему 23 года, он очень красив, неглуп, фатоват. Сегодня мы с ним катались верхом. Он спрягал глагол "любить" на все лады. Я просто оглушена всем, что он наговорил мне.

10 марта. Сегодня Пьетро сделал мне предложение. Я ему отказала. Не то, что он мне не нравится, но... Богатство всех этих Антонелли, Дориа, Боргезе и др. постоянно давило бы на меня. Главное, и прежде всего — я честолюбива и тщеславна. И очень рассудочна.

Я ответила ему: "Если бы я согласилась выйти за вас замуж, этот брак был бы честью для вас, а не для меня".

5 апреля. Я описываю всех, кто за мною ухаживает, рисую, читаю, но мне этого мало. Такому честолюбивому созданию, видимо, требуется постоянная, живая и неиссякаемая деятельность.

Нет, я не буду ни писательницей, ни философом, ни химиком. Я смогу прославиться только как певица или художница. И это уже очень много.

Я очень кашляю, и в груди у меня какой-то свист.

13 апреля. Через два-три поколения исчезнет все величие и роскошь Рима, ибо он будет подчиняться не папским, а королевским законам. Огромные богатства будут раздроблены, музеи и галереи перейдут к правительству, а римская аристократия сможет прикрывать свое ничтожество лишь славными именами.

Боже великий, помоги мне! Пошли мне человека с душой, к которому я могла бы привязаться... Я так устала от разочарований!

19 мая. У меня появилась навязчивая идея — я скоро умру. Такой сильный кашель, и боль в груди после пения.

Что бы ни говорили, а у человека есть некая потребность в идолопоклонстве и в чисто материальных, физических ощущениях. Человеку недостаточно Бога в простоте Его величия.

23 мая. Я слышала, как про меня сказали: "Взгляните на ее золотистые волосы, ее яркие губы, темносерые глаза и белорозовую кожу"... Три года, отделяющие 13-летнюю девочку, какой я была, когда начала писать дневник, от теперешней 16-летней девушки — это три века.

28 мая. Читаю Горация и Тибулла. И кроме них — Ларошфуко. У этого последнего нахожу многое, что написано мною. Я думала, что сделала открытие, а оказывается, все это было сказано уже давным-давно.

Что-то творится у меня с глазами. Когда я рисую, мне приходится несколько раз прерываться, потому что все сливается. Видимо, я слишком утомляю зрение: все время читаю, пишу, рисую.

Сегодня просмотрела все свои конспекты классиков и обнаружила интересное сочинение о Конфуции в латинском и французском переводе. Хорошо иметь занятой ум! Я не понимаю женщин, которые проводят все время за вязанием и вышиванием. У них занятые руки и пустая голова. Поэтому возникают ненужные или опасные мысли.

Что касается меня, то я охотно участвую и в ученых спорах, и в пустой светской болтовне.

... До 12 лет меня баловали и никогда никто не заботился о моем образовании. Я всем обязана только самой себе.

8 июня. Философские сочинения потрясают меня. Наверное, со временем я привыкну, но теперь у меня просто дух захватывает от них. Мною овладевает лихорадка чтения, и я боюсь, что никогда не прочту всего, что хотелось. А мне хотелось бы знать *все*.

... Люди живут только один раз. И жизнь так коротка. А я теряю так много драгоценного времени, скована семьей, и дни бегут, и жить остается все меньше...

10 июня. Я сказала д-ру Валицкому, что у меня кровохарканье и что меня, наверное, надо лечить. Он ответил:

— Если вы будете каждый день ложиться в 3 часа ночи, то, конечно, наживете себе всякие болезни.

13 июня. Я хочу знать все то, что Бог дал мне видеть и понимать — только тогда я буду достойна иметь это, иначе я умру.

Я хочу блистать, хочу стать центром какого-нибудь знаменитого кружка — политического, литературного и т. п. Можно ли порицать меня за такие желания и стремление к величию и славе?!

Наверное, те, кто находит свое счастье в скромной жизни — не менее честолюбивы. Просто, они мало что знают.

12 июля. Я имею представление о многом, но глубоко изучила только историю, литературу и физику. Все интересное вызывает у меня настоящую лихорадку. Но возле меня нет ни единой души, чтобы обменяться мыслями. Дедушка — человек образованный, но он очень стар, слеп и болен. Мама умна, но малообразованна и совершенно лишена такта. Ее ум огрубел, и все ее разговоры сводятся к домашним делам. Тетя немного более развита.

13 июля. В этом дневнике описаны все мои порывы к славе — к ним отнесутся с уважением только если я чего-то достигну, и назовут тщеславным бредом, если из меня ничего не получится.

Сам по себе дневник, как бы литературно он не был написан, не даст мне славы, потому что будет напечатан только после моей смерти. Следовательно, он должен быть дополнением к незаурядной жизни. Хочу славы! ... Родным языком я владею достаточно для домашнего обихода. Хорошо говорю по-итальянски и по-английски. Думаю и пишу — по-французски.

Сейчас я — ничто. А хочу быть личностью.

5 августа. Вчера я выехала в Россию. Мама очень плакала, и я была нежна с нею. Муж, возлюбленный, ребенок могут быть дважды. А мать — единственное, неповторимое существо, и нет любви более верной и преданной, чем материнская.

В Берлинском музее увидела "новых" художников: есть род живописи, заключающийся в том, что пишут "пятнами". Это ужасно, хотя и достигается некоторый эффект. Но нет точности

в передаче сюжета. Какая-то *сбивчивость* линий. Все предметы кажутся какими-то неуютчивыми.

Купила 32 книги. Чем больше читаю, тем больше открываю такого, что хотелось бы изучить.

... В дополнение ко всем недугам, у меня начали выпадать волосы.

18 августа. Я — в Гайворонцах, имении моего отца, предводителя дворянства. Отец — человек сухой, очень гордый и тщеславный. В чем-то он похож на меня.

Я играю, сочиняю музыку и в звуках изливаю свои чувства — досаду, раздражение, горечь.

В России Муся, как и повсюду, была окружена молодыми поклонниками. В деревне она одевается в платье со шлейфом. Неумное желание блистать заставляет ее с опасностью для жизни садиться на необъезженную лошадь. Покорив несколько сердец и получив предложения руки и сердца, она вместе с отцом возвращается во Францию. На родине она познакомилась с произведениями выдающихся русских писателей и отмечает в дневнике: "Гоголь, как никто другой, совершенно гениально описал Рим". Когда выяснилось, что при отъезде Башкирцевы забыли пакет, поезд задержали на станции, пока за пакетом ездили в имение: "Что хорошо в этой непривлекательной стране — тут легко приказывать и царствовать".

Вернувшись в Париж, Муся была у врача, который диагностировал "хроническое воспаление гортани". Это был туберкулез.

Дальше все пошло, как прежде — жалобы на отсутствие контактов с образованными людьми.

9 декабря. У меня лихорадочная потребность учиться, а руководить мною некому. С каждым днем я все больше увлекаюсь живописью, а вчера целый день занималась музыкой и разговаривала с дедушкой о русской истории. Вообще же вся моя жизнь заключается в укладывании, распаковывании, примерках и путешествиях. И так все время...

1877 год. 1 февраля. Читала Тита Ливия. О, Рим!.. Чтобы

понять его как следует, нужно прочесть Гоголя. В Риме чувствуешь себя, как на вершине мира. Страна, обладающая тем, что имеет Италия, может считаться самой богатой в мире. Италия вызывает у меня такой восторг, такие душевные порывы, которые я могу выразить только в пении.

Что можно любить после Италии? Конечно, Париж — средоточие цивилизации, интеллигенции, мод. В этом городе можно жить приятно. Но при этом нельзя не мечтать о божественной, полной несказанной красоты и таинственной прелести стране, очарование которой не передать никакими словами. В Париже нет той тишины и поэзии, тех божественных радостей, которые доставляют человеку природа и красота Италии.

31 марта. Я так мало жила, а в жизни все было против меня. И во мне все также бессвязно и противоречиво, как мое писание. Ненавижу себя, как всякое ничтожество!

Вспоминая свое мимолетное увлечение графом Пьетро Антонелли, Муся пишет:

17 апреля. Каждый гражданин должен отбыть воинскую повинность, и точно также каждый человек должен испытать любовь. Я отбыла свой срок и теперь свободна... до новой "мобилизации". Наверное, я смогу полюбить лишь того, кто заденет мое самолюбие, польстит моему тщеславию.

19 мая. У меня взгляды аристократки — я считаю, что существуют породы людей, также как породы животных. Результаты физического и нравственного воспитания передаются из поколения в поколение.

18 июля. Я стараюсь выразить как можно проще свои путаные мысли. Если я плачу, то так и пишу: "я плачу". Но ведь простая констатация факта никогда не может растрогать. Тут нужны какие-то иные выражения для передачи своих переживаний.

24 июля. Весь день играла на мандолине и на фортепиано, чтобы дать отдых глазам. Неужели, потеряв голос, я буду

вынуждена бросить чтение и рисование?! За последнее время мое зрение резко ухудшилось.

18 августа. Ни одна пьеса, ни один роман не произвели на меня такого сильного впечатления и не оставили такого воспоминания, как описание Гомером взятия Трои.

30 августа. Мне скоро 18 лет. Мои незрелые таланты, надежды и притязания скоро станут просто смешны. Начинать учиться живописи в этом возрасте, да к тому же еще стремиться сделать что-то замечательное, — нелепость. Это самообман. И все же я решила остаться в Париже и начать учиться. С моими способностями и усидчивостью я, конечно, сумею наверстать упущенное время.

10 сентября. Мои родные меня не понимают, и я в 17 лет уже разочарована жизнью. Никто не знает о моем существовании, и я не оправдала ни одной своей надежды, обманулась сама в себе. Считала себя талантливой — а куда же я дела свои таланты?!

В начале октября Мария Башкирцева поступила в единственную серьезную школу живописи для женщин — студию Жюлиана. В ее жизни настал переломный момент. "Наконец-то я нашла свое место в жизни, — пишет она. — Когда я в мастерской, все исчезает, остается только искусство. И я чувствую себя удовлетворенной, свободной, гордой! (А все же больше всего мне хотелось бы, чтобы вернулся мой голос). Я так долго и так мучительно искала такого существования, что теперь едва верю, что, наконец, добилась его. Мало-помалу я становлюсь такой, какой желала бы быть — спокойной и уверенной в себе. Отныне весь вопрос во времени. О время! Всегда-то его нехватает!"

Это был не просто перелом, для Муси началась новая, увы, такая короткая жизнь. А что было у нее в ее прежнем существовании? Муся задыхалась не только физически (к этому времени туберкулез легких зашел уже достаточно далеко), но и духовно. "Я ржавею в своем одиночестве, — жаловалась она в дневнике, — становлюсь кислой, мрачной, постоянно сержусь на родных. И так боюсь потерять свои притягательные женские качества. У меня нет ни славы, ни счастья, ни даже

мира...". "Мою среду можно определить, как "отупляющую". Все члены моей семьи — заурядные и необразованные люди. Наши светские знакомые — пустые, неинтересные личности. Молодые люди — бесцветны".

"За обедом было, как всегда, много народу. Я прислушивалась к разговору и думала: "все эти люди всю жизнь говорят только о ерунде. Счастливее ли они меня? Нет, просто их горести другого рода, а страдают они, наверное, не меньше моего. И не умеют извлекать из жизни такого наслаждения, как я. От них ускользает масса интересного, разные мелочи, представляющие для меня бесконечное поле для наблюдения и являющиеся источником радостей, недоступных заурядным существам".

Мусе не с кем поделиться своими мыслями и ощущениями. У нее есть только ее дневник: "Иногда мне кажется, что мой дневник содержит сокровища мысли, чувства, самобытности. Я изливаю в него все, что у меня на душе. Для меня это такая же потребность, как дышать.

... Я исповедывалась, но считаю, что некоторое количество грехов необходимо человеку, как воздух для жизни. Они удерживают его на земле, иначе бы он превратился в ангела и улетел на небо".

В тайниках души у Муси живет жажда любви, потребность быть любимой. Она открывает это только своему дневнику: "Когда-то я мечтала о политических салонах, о блистании в высшем свете, о браке и т. п. Теперь я отстранилась от всего этого, а потребность в любви загнала в самую глубину души.

... Надо попытаться быть счастливой, полюбить кого-нибудь. Но, выйди я замуж сейчас, пока еще ничего не достигла, я наверняка стала бы жалеть об этом впоследствии. Однако в конце концов нужно будет выйти замуж. Только за человека, который *по-настоящему* любил бы меня и хотя бы сколько-нибудь соответствовал мне.

Все будет зависеть от того, стану ли я знаменитой. Но знаменитые женщины отпугивают заурядных мужчин, а гениальные мужчины встречаются так редко.

... Люди не понимают, почему это я, с таким хорошим приданым, до сих пор не графиня или маркиза. Но, как это не прозаично, я отказываю всяким маркизикам, руководствуясь только рассудком.

Неужели N. N. думает, что я могу полюбить кого-нибудь, не имеющего отношения к искусству? Брак по любви... Где же мне встре-

тить моего *ego*? О, почему обыденная жизнь кажется мне невыносимой?!

... М. сделала мне предложение, я отказала ему, но так приятно чувствовать себя любимой! Я никогда не испытывала ни к кому настоящей любви, но все еще надеюсь быть счастливой и достойной того, кто когда-нибудь явится. А порой мне кажется, что я никогда не смогу влюбиться, потому что всегда открываю в человеке что-нибудь смешное, скучное или глупое. Я смогу выйти замуж только за великого мира сего, который подавит меня своим превосходством, будет знаменит и богат”.

Странное предзнаменование! — однажды Муся увидела во сне своего будущего избранника, которого описала так: “Мне снился *он* — некрасивый и больной. И я поняла, что смогу любить не за красоту. Мне всегда хотелось, чтобы наши отношения оставались в пределах дружбы и длились долго-долго. Это было моей мечтой и в жизни”. Это было написано 28 сентября 1882 года. А в январе 1884 года Мария Башкирцева познакомилась с художником Жюлем Бастьен-Лепажем. Он был действительно некрасив — “мал ростом, белобрысый, курносый” — таким он показался ей при первой встрече. А потом, когда она полюбила, Муся писала о его “тонких чертах лица и васильковых глазах”.

За несколько дней до смерти он ее навестил; Бастьен-Лепаж уже сам был смертельно болен и его приносили к ней. Муся пишет: “Я — вся в белом разных оттенков. Кружева и бархат”. Бастьен-Лепаж вздыхал: “О, если бы я мог ее писать!”.

Со дня поступления Марии Башкирцевой в студию Жюлиана началось ее служение искусству — страстное, неистовое, губительное. Теперь ее записи говорят только о живописи, и лишь изредка появляются короткие сообщения об ухудшении здоровья. По мере того, как развивается талант художницы, сокращается, подобно шагреневой коже, срок жизни, отпущенной ей.

4 октября 1877 г. Работаю в мастерской с 8 до 12 и с 1 до 5 часов. Я могла бы начать в 13 лет, а потеряла зря 4 года! А то, что я умела — только вредит мне. Все надо переделывать. Все, что я делала до сих пор, было никуда негодное *вранье*.

9 октября. Я все еще подавлена превосходством других, но уже не так боюсь...

Мои родные ездят на приемы и в театры, а я только рисую. Мне недостает опыта, но у меня верный глаз и рука. Все другие рисуют лучше меня, но никто не рисует так верно и так похоже. И потому я должна добиваться превосходства над ними. Если же я ничего не достигну, виной будет только моя нетерпеливость.

13 октября. В студию приезжал художник Робер-Флери. Он сказал: "У вас необыкновенные способности, и вы должны упорно работать". Я думаю об этой предстоящей работе, о времени, трудностях и терпении. Стать художником — непросто. Помимо таланта нужна еще неумолимая механическая работа. Но какой-то внутренний голос говорит мне, что я все преодолею и многого достигну.

18 октября. Жюлиан сказал, что моя "академия" — замечательна. Я была так довольна! Зато следующая была так плоха, что он велел все переделать.

28 октября. Мои соученицы завидуют мне. Одна из них сказала: "Вас любили бы, будь вы менее талантливы". Это и лестно, и грустно... А Робер-Флери заявил: "У вас есть все то, чему нельзя научиться. Со временем вы будете делать замечательные вещи".

10 ноября. Насколько неприятные впечатления сильнее приятных! Целый месяц я слышала одни похвалы, и только один раз меня поругали. То же бывает и в театре — тысячи аплодируют, а один шикает и свистит. И его-то актер слышит больше других.

Но я вижу перед собой цель и иду к ней. А пока что — я не умею компоновать и передавать движение.

7 января 1878 г. Если верить в будущее художника, то через 2 года я смогу вернуться к театрам, выездам, путешествиям. А пока что... Я хочу быть знаменитой. И буду!

12 февраля. Я часто думала, что умру именно тогда, когда моя жизнь наладится. Я не смогу долго жить, потому что создана иначе, чем другие люди.

15 февраля. Много рисую, но недовольна собой. У меня тысяча притязаний, из которых нет ни единого обоснованного. Бьюсь головой о стенку и в результате — одни синяки. Роберт-Флери сказал: "Вы не можете преодолеть какую-то границу. А ведь с такими огромными способностями вы обладаете всем, что другим дается с трудом".

Я и сама это понимаю. Надо бы поработать над портретом дома, но там вечная суета. Однако, я преодолею эту границу во что бы то ни стало!

23 марта. Я дала себе слово "взять барьер" — и сделала это. Мои учителя очень довольны мною. Мне позволили пропустить гипсы и натюрморты.

16 апреля. Как это ни глупо, но мне грустно от зависти моих соучениц. Я с нетерпением жду того времени, когда обгоню их всех. Начинаю писать красками.

8 мая. Получила медаль на конкурсе. Все завидуют и бешутся. Но это не вскружило мне голову,нисколько.

Я стала плохо слышать. Когда говорят тихо — я не слышу. Задумала сделать картину — "Две Марии у гроба Христа".

12 мая. Ум мой подавлен каким-то необъяснимым страхом. Может быть, предчувствием смерти? А мое будущее? Моя слава? Неужели же всему конец?

...Художник работает не только глазами и пальцами. О вы, обыватели, вы даже не представляете себе, сколько нужно напряженного внимания и наблюдательности, постоянных сравнений, размышлений и эмоций, чтобы сделать что-либо настоящее!

21 января 1879 г. Так хочется иметь возможность гулять

одной, останавливаться у художественных витрин, заходить в церкви, в музеи, бродить по старинным улицам! Без *свободы* нельзя стать художником. А если в поездке в Лувр вас сопровождают родные или знакомые — невозможно рассматривать то, что интересует. Невозможно любоваться руинами из экипажа.

— Ты куда, Муся?

— В Колизей.

— Но ведь ты уже его видела. Поедем лучше на праздник, там будет много народу.

14 января. Конкурс — золотая медаль. Это — после 14 месяцев учения!

А. Дюма написал: "Одна дурная вещь не доказывает, что таланта нет, тогда как одна хорошая показывает, что он есть". Гений может сделать неудачную вещь, но бездарность никогда не сделает хорошей.

7 мая. Я работаю с 7 до 5-ти, возвращаюсь в половине шестого, работаю дома до 7 часов. Затем делаю какие-нибудь эскизы, читаю или играю на фортепьяно, гитаре, арфе или мандолине. Ложусь спать в 10 часов.

Бывают дни, когда я верю в себя. Тогда я красива, счастлива и весела... По-моему, в наше время нет великих художников, кроме Бастьен-Лепаже. Все другие, это — опыт, навыки, условность, школа. Ничего правдивого, такого, что брало бы за душу, бросало в дрожь, вызывало слезы.

8 ноября. Кончила портрет. Очень похоже, однако, Робер-Флери сказал, что могло бы быть лучше. Очевидно, у меня нет таких способностей к живописи, как к рисунку. Линия, конструкция, форма — это у меня получается само собой.

27 июля 1880 г. Все утро занималась лепкой. Настроение удрученное. Такая тоска! Вне искусства, за которое я взялась из прихоти и честолюбия и которым продолжала заниматься из тщеславия и упорства, а теперь боготворю, вне этой страсти (ибо это — подлинная страсть!) у меня ничего в жизни нет.

23 июля. Моя молодость растрчена — мне еще нет 20 лет, а я уже седею. У меня был изумительный голос, настоящий Божий дар, и я его потеряла. А ведь пение для женщины то же, что красноречие для мужчин.

31 июля. Вчера начала картину, очень простую — двое ребятишек. В натуральную величину, на улице.

17 августа. Из-за плохой погоды пришлось отставить эту картину. Начала другую — сцену в столярной мастерской. Очень сложны детали, но труден только первый шаг. А настойчивости у меня достаточно! Но всегда такое волнение, когда приступаешь.

Выбиться я смогу не талантом — теперь развелось много талантов, а созданием чего-нибудь гениального. Однако, гениальные произведения не создаются за три года учения.

10 сентября. Д-р Фовель сказал, что задеты бронхи. Предписал, как чахоточной, молоко, рыбий жир, теплое белье. Настаивал на консилиуме. А я давно подозревала, что очень больна — кашель усилился, и я начала задыхаться.

Смерть меня не страшит, и я не стремлюсь выздороветь. Мне нужно только время, чтобы сделать все, что задумала.

17 сентября. Вчера показывалась ушному врачу. Он заявил, что я никогда больше не буду хорошо слышать. Я слышу, как видят через вуаль. Не слышу тиканья часов, в разговорах многое от меня ускользает. Впрочем, возблагодарим небо за то, что я еще не онемела и не ослепла!

Я долго плакала.

10 октября. Была в Лувре. Если видишь и чувствуешь искусство так, как я, значит, обладаешь незаурядной душой. Ощущать красоту и понимать, *почему* это прекрасно — огромное счастье.

24 октября. Мало-помалу я становлюсь колористкой. Начала картину "Модель в ожидании художника": женщина с папиромой, скелет в шляпе, с трубкой в зубах. Жюлиан сказал, что

это — грубо и отталкивающе, но — сама правда жизни и выполнено превосходно.

20 ноября. Ужасно, проработав 3 года, прийти к заключению, что ничего не знаешь! Чего я достигла за это время? Кто я теперь? Никто. Хорошая ученица — и только. А где же феномен, "блеск и треск"?!

Пока суть была в рисунке — учителя восхищались мною. Но вот 2 года, как я пишу красками. Да, я выше среднего уровня, даже выказываю "удивительные способности". Но мне этого мало, мне нужно другое, а этого нет. Я плачу, совершенно разбита, взбешена, сама раздираю себе сердце.

19 марта 1881 г. Работала с раннего утра и ужасно устала. Дышу с каким-то зловещим шумом. Картина получилась интересная, полная движения, но в ней чувствуется недостаток умения. Мне не хотелось бы выставлять ее, но я делаю это из глупого тщеславия, хотя порой мне кажется, что это — самая плохая из всех моих картин.

1 апреля. Картина получила на конкурсе второе место. Я счастлива.

6 мая. Вечерами у меня в голове возникают чудесные мелодии и растут, развиваются во мне, независимо от моего сознания.

15 мая. Была у знаменитого врача одна, инкогнито. Он сказал, что разрушено правое легкое, поражена плевра и горло. И глухну я из-за болезни гортани.

26 июля. Смерть молодого существа всегда вызывает сострадание. Но мне смерть кажется невозможной. Ницца, Рим, Неаполь, живопись, честолюбие, надежды... И все — чтобы кончиться гробом, не получив ничего, даже не узнав любви?! Я всегда чувствовала, что долго не проживу.

9 августа. Такая пытка — понимать, что люди при мне

стараятся говорить громче. На какие только ухищрения я не пускаюсь, чтобы скрыть свою глухоту! О, как это жестоко, несправедливо! С легкого болезнь перешла на гортань, с гортани — на уши. Неужели я буду изолирована от всего мира?!

13 августа. Врач сказал, что поражено и второе легкое. Мне трудно дышать. Когда вздохну, черт знает какая боль. А когда кашляю — два черта.

10 октября. Мадрид. Насколько Мадридский музей богаче Лувра! Я копировала картину, когда ко мне подошел московский меценат, миллионер Солдатенков и предложил купить мое полотно.

В музее глаза у меня открываются, я начинаю видеть то, чего не замечала прежде. В живописи суть в цвете и поэтичности исполнения, очаровании мазка. В "Девах" на картинах Рафаэля есть благородство, перед которым преклоняешься, но любить их нельзя, они не волнуют. А вот "Афинская школа" потрясает. Чувство, мысль, дыхание гения. Я не люблю телеса Рубенса и глупых баб Тициана. Необходимо сочетать дух и плоть, творить, как Веласкес, то есть как поэт, и мыслить — как мудрец.

14 октября. В Толедо жизнь как бы остановилась. Это — город-мумия, сохранившиеся до наших дней Помпеи, которые вот-вот распадутся от дряхлости. Не верится, что страна, столь близкая к центру европейской цивилизации, могла остаться такой дикой, хотя и неопикуемой красоты.

21 ноября. Париж. Вернувшись из Испании, я еле двигалась. Болела грудь, горло, спина. Ужасный кашель, жар, озноб. Вызвали знаменитого Потена. Видимо, конец. Я не могу работать. Кто поймет мое отчаянье: оставаться праздною, когда другие работают, делают успехи, готовятся к выставке!

Живопись была для меня священным прибежищем. Теперь и это отнято. Сначала я потеряла голос, затем слух. Выпадают волосы. Ухудшается зрение. И я мирилась со всем. "Ах, коли так — у тебя отнимут возможность писать!" А ведь вся моя жизнь

в труде. И вот — ничего.

А ехать на юг, как велел врач, я категорически отказалась.

2 января 1882 г. Мне кажется, что в Испании я приобрела не только плеврит, но и священную искру и из ремесленника превратилась в художника. Голова полна замыслов.

21 января. Была у Бастьен-Лепаж — он мал ростом, белобрысый, курносый. По внешности это не учитель, а скорее, товарищ. Но картины его вызывают у меня изумление и зависть.

30 января. Бастьен-Лепаж был у нас и давал мне советы, сказав, что я обладаю "замечательным талантом". У меня глаза постепенно открываются. Прежде я видела лишь рисунок и сюжет, а теперь вижу пейзаж и краски.

29 мая. Ум и сердце захвачены тем, что я намерена сделать. Сюжет — после похорон Христа, две Марии сидят у могилы. Тут должны быть величие, трогательная человеческая простота и какое-то жуткое спокойствие. Не знаю, хватит ли у меня сил выполнить картину этой зимой. Ну, пусть она выйдет посредственной, но в ней буде? правдивость, движение, чувство.

19 июня. Наверное, я бесталанна. Я все соскоблила и даже выбросила холст. Живопись явно не дается мне. Но как только я уничтожила уже законченную картину, сразу почувствовала себя легко и готова начать все заново.

12 июля. Достаточно ли для создания такого произведения только моей страстной, непоколебимой решимости и жгучего, неистового желания передать свои ощущения? Получится ли из этого что-нибудь? Неужели я не преодолею технические трудности, когда сердце, ум и зрение полны этим сюжетом? В спокойствии обеих Марий должно ощущаться глубочайшее отчаянье, душевное оцепенение, когда больше ничего не осталось. Это должно быть человечно и возвышенно.

7 августа. Такие изумительные сюжеты видишь на улице. Художник должен уметь "схватить", отобрать свой сюжет. Главное для художника — выбор.

Дивная сила искусства! Божественное, ни с чем несравни-

мое чувство, заменяющее человеку всё. Высочайшее наслаждение, подымающее его над землей.

Я верю, что смогу сделать что-нибудь замечательное. Дюма говорит: "Не вы владеете сюжетом, а сюжет владеет вами". А я чувствую такую потребность передать свои впечатления, столько мыслей толпится в моем мозгу, что все это не может когда-нибудь не проявиться.

29 августа. Сен-Марсо сказал, что мои рисунки — рисунки скульптора. Действительно, я всегда любила больше всего форму.

16 октября. Доктор объявил, что я *никогда* не вылечусь. Но мое состояние, в частности, глухота, смогут немного улучшиться. Трудно поверить, что все это — не дурной сон. И навсегда.

Итак, у меня чахотка. А выгляжу я, несмотря на то, что поражены оба легкие — цветущей. Если бы Бог дал мне прожить хотя бы 10 лет, но за это время добиться славы и любви, я бы умерла в 30 лет вполне удовлетворенной. Но нельзя жить с такими грандиозными притязаниями и жадной славой, как у меня. Однако, и в теперешнем моем положении — обреченной — есть нечто волнующее. Меня коснулась смерть, я заключаю в себе некую тайну. В этом есть какой-то интерес. Только жаль, что нелегко говорить об этом.

1 января 1883 г. Я плохо представляю себе загробную жизнь и, не понимая ее, ощущаю страх.

22 февраля. Играю то Шопена на рояле, то Россини на арфе. Одна, в мастерской, все время думаю о своих "Святых Женах", и душа полна от ясности, с которой вижу свою будущую картину.

27 февраля. Наконец-то мне весело, я болтаю, смеюсь и имя Бастьен-Лепаж не сходит с моих губ. Закончила картину — два мальчика идут по улице. Я довольна. А еще сделала эскиз статуи. По-моему, я должна была бы сделаться скульптором. Я обожаю позу, форму, движение. Сюжет может меняться в зависимости от ракурса, но идея — неизменна.

Зрение все ухудшается. Когда это будет мешать живописи — перейду на лепку.

22 марта. Принесли каркас для статуи, и сегодня я уже нарисовала ее. Продолжаю с увлечением писать своих "Жен", но задуманная статуя "Ариадны" не дает мне покоя. Кроме того, мне хотелось бы вылепить Навзикаю — такой глубоко трагический образ. Для работы над нею перечла "Одиссею" — встречу этой девушки со старым интриганом Улиссом.

25 марта. "Мальчики" ("Жан и Жак") приняты в Салон.

30 марта. Очень долго работала, лепила. Потом помылась, переделалась в белое платье, поиграла на арфе и вот — взялась за перо. Хорошо жить в ожидании будущей славы. Я чувствую в себе такую силу, так верю, что смогу стать настоящей художницей! И полна новых замыслов.

4 апреля. Нарисовала группу ребятишек. Потом начала играть Бетховена и Шопена, а потом... сама не знаю, что. Но получилось так чудесно, что до сих пор эти мои мелодии звучат у меня в душе.

30 апреля. Я просто без ума от Бастьен-Лепажа. Маленький, некрасивый человечек кажется мне прекрасным. Чувствую, что преувеличиваю, и все же...

24 мая. Получила премию Салона.

16 июня. Заметка в "Etincelle": "Замечательный художник и прелестная молодая девушка". Корреспондент "Нового Времени" из Петербурга попросил аудиенции — "так как вы занимаете видное место среди парижских художников". Он смотрел мои работы, делал заметки, расспрашивал меня о моей жизни и работе. К сожалению, я не расслышала всего, что он мне говорил.

13 июля. Я подражаю Бастьен-Лепажу — и в этом моя гибель. Нельзя сравниваться с тем, кому подражаешь. Великим художником может быть лишь тот, кому дано открыть свой путь, передать свои собственные впечатления, свою индивидуальность. Видимо, мое искусство еще не родилось.

3 августа. Реалисты-натуралисты просто грубы, а воображают, что в этом правда. Реализм не в изображении грубых

(простых) вещей, а в выполнении, которое должно быть совершенным, Я хочу, чтобы моя живопись жила перед глазами.

11 августа. Стендаль неприятно поразил меня заявлением о том, что, "изображая скорбь, художник должен справляться с руководством по физиологии". Ну уж нет! Если я не чувствую трагизма выражения — никакая физиология мне не поможет. Что за художник, который изображает душевное состояние физиологически, а не через ощущение?! Он всегда будет казаться сухим, холодным. Это то же, что огорчаться по определенным правилам. Анализ годится лишь для проверки чувства.

12 августа. Сейчас должен прийти Бастьен-Лепаж, и я так волнуюсь, что не в состоянии что-нибудь делать...

24 августа. Наверное, я умру около сорока лет, как моя гувернантка; к 35-ти годам разболеюсь окончательно и слягу. Но я хочу жить! Несмотря на жаркую погоду, я не перестану кашлять.

13 октября. Как признаться, что я плохо слышу? Вдобавок, у меня плохо с глазами, какое-то мелькание. Я знаю, что скоро умру, как бы не лечилась. Но так хотелось бы, чтобы чашотка оказалась плодом моего воображения.

8 ноября. Страшная слабость. Но картина идет, как по маслу. Меня спрашивают, почему я выбрала таких некрасивых ребятишек. Я отвечаю, что выбрала выразительных.

22 ноября. Русская "Всемирная Иллюстрация" напечатала на первой странице репродукцию с моей картины "Жан и Жак". Мне приятно, но не более. Этого недостаточно для моего честолюбия.

Приступая к особенно трудной вещи, я становлюсь решительной, хладнокровной, сосредоточенной. Но меня преследует страх, что я не успею выполнить всего задуманного. Ведь я знаю, что недолговечна — я расщепила свою свечу на несколько частей, и жгу их с обоих концов.

3 декабря. Я прихожу в отчаянье от всего, что делаю: едва закончив картину, я вижу, что она никуда не годится, и готова все переделать. В глубине души я считаю себя неважной худож-

ницей, хотя и надеюсь, что ошибаюсь.

23 декабря. Настоящие художника знают, что толпа их не поймет, и работают для какой-нибудь сотни людей (или критиков, у которых далеко не всегда хороший вкус).

31 декабря. Новый год. Ровно в полночь я произношу единственное пожелание, выраженное в одном-единственном слове — "*Славы!*"

4 января 1884 г. Да, у меня чахотка, и болезнь быстро прогрессирует. Каждый вечер лихорадка... и вообще, мне очень плохо. Но говорить об этом, — скучно.

19 марта. Нам сказали, что Бастьен-Лепаж тяжело болен...

К чему вся моя жизнь?! Я провела 6 лет, работая ежедневно по 10 часов. И чего я достигла? Начало развития таланта совпало с развитием смертельной болезни.

5 апреля. Персональная выставка Бастьен-Лепаж. Ему 35 лет.

Мои планы: кончить картину в Севре. Затем серьезно примусь за лепку и этюды нагой натуры. Так — до июля. Тогда начну писать "Вечер" — заходящее солнце, дорога, повозка. Закончив все это и 2-3 из начатых небольших картин, поеду в Иерусалим и там проведу зиму ради "Святых Жен" и здоровья. И тогда Бастьен-Лепаж признает меня великой художницей!

5 мая. Разрушены оба легкие. При другом телосложении я была бы почти тощей. Лечусь — налепила себе на грудь горчичник. Пью тресковый жир, козье молоко, мышьяк. Но о выздоровлении не может быть и речи.

Наверное, смогу протянуть еще немного, хотя — обречена. А в жизни так много интересного! Мне принесли полное собрание сочинений Золя — это гигант, которого французы не хотят признать...

7 мая. Из Дюссельдорфа попросили разрешения отгравировать и напечатать мою картину и еще несколько вещей. Забавно! Со времени открытия Салона не вышло ни одного журнала, где бы не писали о моей картине. Целые статьи посвящаются ей. А я

не в восторге от всяких комплиментов.

12 мая. Брат Бастьен-Лепаж, архитектор, сказал, что у Жюля — рак желудка. Он привел ко мне коллекционера, который хотел что-нибудь купить у меня.

25 июня. Перечла записи 1875-76-77 годов. Сплошь жалобы и стремление всюду поспеть — заниматься живописью, лепкой, музыкой, выйти замуж.

А смерть уже рядом.

3 июля. Знаменитый доктор Потэн, осмотрев меня, дал мне направление на курорт и письмо к своему тамошнему коллеге, которое я без зазрения совести вскрыла. Он пишет, что у меня в легких каверны, и что я — "беспечная и безалаберная больная".

5 июля 1884 года Мария Башкирцева, понимая, что конец близок, написала завещание — где и как ее похоронить. Просила архитектора Бастьен-Лепаж сделать склеп. Просила учредить стипендию своего имени для молодых художников.

14 июля 1884 г. Скамья на бульваре. Сколько драм или романов на одной скамье! Вот неудачник, опершийся одной рукой о спинку скамьи, а другую безвольно опустивший на колени; взгляд его бесцельно устремлен куда-то в пространство. Женщина-простолюдинка с младенцем; приказчик, присевший с грошовой газеткой; задремавший рабочий; философ, или разочаровавшийся в жизни, задумчиво курит трубку... Может быть, я вижу слишком много? Может быть, я уже не успею написать такую картину?

Прочла "Войну и мир" Толстого. Думаю, что живя во Франции, и я работаю во славу своей родины.

9 августа. Уже сделала набросок картины "На скамье" красками, но силы часто оставляют меня, и я вынуждена прилечь, отдохнуть. Головокружение.

А Жюль Бастьен-Лепаж уже почти не встает с постели. Его выносят на прогулку в кресле. Мы были у него — странное ощущение видеть человека, обреченного на смерть.

30 августа. После "Женщины под деревом" (в Севре) я



Мария Башкирцева в год смерти

больше ничего не написала. Ужасная лихорадка, еще никогда мне не было так плохо. Но я никому ничего не говорю, все равно придется скоро умереть.

13 сентября. Жюль Бастьен-Лепаж любит меня. Но ему хуже. Такие жуткие боли, что он кричит. От него осталась только тень. Да и от меня тоже.

Мне не придется закончить свою картину.

12 октября. Я так ослабела, что даже не могу выйти на улицу. О, моя картина! Ужасные, истощающие лихорадки ежедневно. У меня хватает сил только перейти с кровати на диван или в кресло.

Бастьен-Лепаж приносит ко мне и усаживают в кресло рядом со мною. Я — вся в разных оттенках белого, в кружевах и бархате. Он вздыхает:

— О, если бы я мог писать!

А я?

20 октября. Мою кровать поставили в гостиной — я уже не могу подниматься. Жюль приносит ко мне каждый день.

Это — последняя запись в дневнике Марии Башкирцевой. Она скончалась 31 октября 1884 года.

* * *

21 октября. Мари пытались лепить, но не смогла — задыхалась. Лежать ей тоже было трудно из-за одышки, и она сидела в кресле. Почти не разговаривала, только слезы безостановочно катились по ее щекам.

25 октября. Сокрушалась из-за неоконченных произведений. Ночью бредила о них.

26 октября. Просила купить книги Мопассана и д'Орвиля.

За два-три дня до смерти к ней вдруг вернулся слабый голос, и она тихонько пропела свою лебединую песнь. Потом начала терять сознание и впала в агонию.

Ж. Бастьен-Лепаж, узнав о смерти Мари, долго плакал. Он не мог проводить ее в последний путь и почтил ее память картиной "Похороны молодой художницы" — из своего окна он видел похоронную процессию. Он умер через 5 недель после Марии Башкирцевой, 10 декабря 1884 года.

*

На закате сижу,
Замечтавшись устало.
В зеркала погляжу —
И грущу, как бывало.

Здравствуй, детская лень,
Златовласка, грустинка!
Ляжет меркнувший день
Чуть заметной морщинкой.

Поздним жаром горя,
Все никак не потухнет,
Молодеет заря
В окнах спальни и кухни.

Разалевшись зазря,
С каждым годом печальней,
Ах, как рдеет заря
В окнах кухни и спальни!

Поздним солнцем дая,
С каждым днем все больше,
Все сильнее заря
За окном пламенеет.

Впрочем, сетовать лень,
Я и пальцем не двину:
Пусть непрожитый день
Ляжет жесткой морщиной.

Лия Владимирова

ПОХВАЛА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Кн. Д. Святополк-Мирский в своей английской *"Истории русской литературы"* справедливо замечает: приблизительно с 1830 по 1850 гг. выдающиеся поэты в России не рождались. Это двадцатилетие было в поэзии неурожайным. Сатирики Курочкин (р. в 1831 г.), Минаев (р. в 1835 г.), нигилист Добролюбов (р. в 1836 г.), лирик Апухтин (р. в 1840 г.), философский Голенищев-Кутузов (р. в 1848 г.), Садовников, автор песни о Стеньке Разине (р. в 1843 г.) были поэты незначительные.

Константин Случевский (1837—1904) — самый одаренный поэт этого поколения. Он учился в Гейдельберге, был широко образован, но и чем-то нелеп. Впрочем, едва ли можно доверять карикатуре на него Тургенева, который вывел его в романе *"Дым"* как претенциозного болтуна. У Случевского встречается немало несообразностей. Он, видимо, не знал, что женщины на Афон не допускаются. Другая оплошность: костелы в Александрии V века!

Аполлон Григорьев восхитился лихостью одного из юношеских стихотворений Случевского:

Ходит ветер избочась
По Неве широкой,
Снегом стелет калачи
Бабы кривобокой...

Этот ветер — как сказочный добр-молодец: руки в боки, ферт! Образ смелый, задорный, веселый, и есть поэтическая энергия в этих ладных хорях. Но в таком мажорном ключе Случевский больше не писал.

В Петербурге он долго служил, в 90-х гг. редактировал *"Правительственный Вестник"*. Жил тихо, бесцветно. Но в мечтах и стихах убегал от скучной действительности. Мечтательство было болезненное, иногда декадентское. Воображал себя мемфисским жрецом, который пытается и сжигает послушавшуюся его жрицу. Есть здесь садизм. А стихи стальные.

"После казни в Женеве" — поистине, декадентский "шедевр". Есть в этих, тоже стальных, стихах — мазохизм. Он с упоением отождествляет себя с казнимым.

И я вытягивался в пытке небывалой
И, став звенящею, чувствительной струной, —
К какой-то схимнице, больной и исхудалой,
На балалайку вдруг попал едва живой!
Старуха страшная меня облюбовала
И нервным пальцем дергала меня,
"Коль славен наш Господь" тоскливо напевала,
И я вторил ей, жалобно звеня.

Эта декадентщина была, по-видимому, вызвана тоской одиночества. Всё было противно Случевскому в его размеренной чиновничьей жизни. Не могли его удовлетворить современные ему позитивизм, дарвинизм, радикализм и тот атеизм, которым он сам был, несомненно, заражен. В повести *"Профессор бессмертия"* он пытался как-то обосновать научно необходимость бессмертия. Но проза его — многословная, вялая, как и философская поэма *"Эола"*, где сатана издевается над Творцом: укоряет его за мучения младенцев. И здесь он в чем-то совпадает с Иваном Карамазовым. Но у Случевского нет ни четкости, ни метафизической страстности Достоевского. Интереснее поэма *"Бывший князь"*. Герой — революционер, убежавший за границу и странствующий по Германии. Случай сводит его в харчевне с мудрым старцем — это бывший португальский король Мигель, который советует бывшему князю вернуться на родину — сесть

на земле, самому пахать.

Случевского тянуло к кладбищам, покойникам. В длинном стихотворении "*Ларчик*" обыкновеннейший чиновник Зубков откапывает гроб своей жены. Он хочет найти ларчик, где, может быть, хранится квитанция из воспитательного дома, куда жена сдала младенца, прижитого не с ним. Опять странная ситуация...

Случевского завораживала смерть, как и его младшего современника Андреевского, написавшего замечательную "*Книгу о смерти*" — жуткий некролог всех виденных им покойников. Смертостремителен был и Анненский. Жили они в самую мирную эпоху, но без Бога, без настоящего смысла жизни и так мучительно отчаивались. В те же годы Толстой написал "*Смерть Ивана Ильича*".

В одном из мрачнейших кладбищенских стихотворений Случевскому мерещится свет. Описываются сельские похороны и —

Всякий идущий за гробом
Молча лелеет мечту —
Сказано: встанет старушка
Вся и в огнях, и в свету!

Все же тоска и отчаяние его больше вдохновляли, чем надежды. Был этот пессимист полон поэтической энергии — не в обществе живых, но покойников, на похоронах и кладбищах.

Поэма "*В снегах*" едва ли удалась Случевскому в целом. Он ведь вообще не выдерживал стиля. Писал каракулями (отзыв Брюсова), был гений-заика (Влад. Соловьев). Героиня поэмы — странница Прасковья. Была она белошвейкой, баловалась с барчуками, согрешила с братом. Всякие отклонения от нормы вообще привлекали Случевского. Прасковья будто бы побывала на Афоне. Наконец, едва живая, она добирается до сибирской хижины отшельника-мордвина. В полубреду вспоминается ей пестрая жизнь:

Постники-схимники в черных скуфьях,
Ножки танцовщицы в алых туфлях,
Говор в кулисах, пиры до утра,
Память деревни, разливов Хопра,

Грубые шутки галунных лакеев,
Благословения архиереев,
Ладан, пачули, Афон и кулисы,
Вкус просфоры и румяна актрисы —
Всё это как-то, во что-то слагалось,
Стало старухой, и то, что осталось,
Силой незримой в тайгу притащилось
И, обгорев на морозе, свалилось
В ноги к мордвину, вперед головой,
Старую льдиной на снег молодой!

Это — молниеносная биография Прасковьи. Здесь немало резких контрастов: в черных скуфьях, в красных туфлях. Случевский с явным упоением воссоздает предсмертное бытие видавшей виды старухи.

В лучших, пусть иногда и очень мрачных стальных стихах Случевского слышится упорное и властное требование какой-то высшей правды. В этом он сродни Анненскому и Георгию Иванову — хочется им достучаться до чуда, дорваться до вечности. Все они — атеисты, взывающие из глубины, но отзыва-отклика не услышавшие.

Алексей Апухтин (1840—1893) подрастал в дворянском гнезде неподалеку от тургеневского Спасского-Лутовинова. Родовое имение Павлодар чем-то напоминало Обломовку, и сам он сродни гончаровскому герою. Барчука Лелю, как его звали дома, баловала мать, но все же отдала сына в Училище Правоведения — питомник будущих бюрократов и дипломатов. Стихи 18-летнего Апухтина заметил Тургенев. Он советовал молодому поэту отрешиться от преждевременного уныния и наставлял: "трудитесь, учитесь, сейте семена, — они взойдут...". Апухтин, сверстник Писарева (он родился с ним в одном году), тоже дворянского баловня, нигилистов не одобрял, он их высмеивал. Иронически восклицал:

Я нахожу, и в том виновен,
Что Пушкин был не идиот...

Апухтин прожил сибаритом: "сезонами" в Петербурге, летом — в своем родовом Павлодаре. Но в поэзии предавался меланхолии. Из нашего XX-го века нам хочется спросить: откуда у него была такая тоска? Он же с жиру бесился... и это буквально верно. Он был непомерно толст и, как сам говорил, что, вопреки поговорке, ему легче жизнь прожить, чем поле перейти.

Стихи Апухтина имели широкий отклик в 70-90-х гг. Он не был поэтом-гражданином, но его собственное уныние совпадало с тогдашним унынием радикальной интеллигенции. Она назвала эти годы годами реакции, годами безвременья. А как порою хочется перенестись в эти мирные апухтинские годы!

Куда больше прославился *Семен Надсон*, который иногда подражал Апухтину. У Апухтина в 60-х гг.: "Все струны порвались, но звук еще дрожит". А Надсон незадолго до смерти (в 1886 г.) писал: "Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает".

От Апухтина протягиваются нити к раннему Блоку и Анненскому, который любил вот эти строки Апухтина: "Мухи, как черные мысли". Отчаяние Анненского, конечно, было куда глубже апухтинской меланхолии.

Апухтина, как и Аполлона Григорьева, влекла цыганщина: "На раут светский не променяем мы цыган". Одна апухтинская строфа останется в русской поэзии. Музыку написал его близкий друг еще по Училищу Правоведения Чайковский:

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые,
Ночи, последним огнем озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые.

Здесь Апухтин уже не нудно тянет, а с упоением, по-цыгански подвывает.

Владимир Соловьев (1853—1900). Сын историка, эрудит, ученый, но и мистик, визионер. Бессеребренник, нищелюб. Но как он всех пугал своим лающим бесовским смехом! Хилое тело, большая голова, глубоко запавшие огромные очи. Пророк? Или же лжепророк? Насмешник-пересмешник с чертами Мефистофеля. Еще и поэт.

Есть особенное медленное томление в этих двух стихах с опорным звуком *м*.

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.

Эти стихи поистине очаровывают, и здесь, в виде исключения, у В. Соловьева слышится свой голос. Здесь он приближает нас к своей святыне, где его дожидается "заветный храм". Вообще же Соловьев чаще пел с чужого голоса: фетовщина заметна во многих его стихах. Его поэзию портят шаблонность и отвлеченность. В его стихах вещественно и оригинально немногое, разве что белые колокольчики. У Фета "вещей", всякой флоры куда больше: верба, гвоздика, липа.

Святыня В. Соловьева: *Она*, София Премудрость Божия, или — Вечная Женственность, заимствованная у Гёте, из Второй части его "*Фауста*". Отмечу книжность этого существительного, очень уж оно непозитично звучит по-русски, да и по-немецки (das Ewig-Weibliche). К тому же, женственность — качество, а не "персона". А с качеством нельзя беседовать, вопреки Гёте и В. Соловьеву. У Гёте во Второй части "*Фауста*" уже ничего не осталось от бедной Гретхен.

Софианская мистика В. Соловьева вдохновляла Андрея Белого и Александра Блока. У Блока *Она* воплотилась в Прекрасной Даме, в России, ее темный лик виделся ему в Незнакомке.

О своих встречах с Лучезарной Соловьев повествует в поэме "*Три свидания*". Это мистика, но и беспощадная автоирония. Поэт молится, но и пародирует самого себя. Почему? Может быть, из особой стыдливости, из целомудрия. Он сам признается: нет настоящих слов, чтобы поведать о святыне. Лучшие два стиха в поэме:

Подруга вечная, тебя не назову я,
Но ты почувешь трепетный напев...

При всей ограниченности своего дарования, В. Соловьев несомненно обогатил русскую поэзию вот этой заслуженно прославленной строфой:

Смерть и Время царят на земле, —
 Ты владыками их не зови:
 Все, кружась, исчезает во мгле,
 Неподвижно лишь солнце любви.

Стихолобов может охладить опошленный газетами глагол "царить". Не слышится в этих стихах и магической звукописи. Но есть мощь в отрицательном императиве "не зови". Это высший духовный призыв-приказ поэта и философа. И здесь, в этих упругих анапестах, В. Соловьев — поэт.

Иннокентий Анненский (1856—1909). Стихи он начал писать рано, но лучшие, по-видимому, написал в последнее десятилетие своей жизни. 70—80 годы не благоприятствовали поэзии. Интеллигенция твердила гражданские стихи Некрасова, хотя по настоящему не оценила в Некрасове поэта, а не только гражданина. Увлекал "безголосый соловей" Надсон.

В те же годы *начался* Чехов. Чехов постоянно раздражал и раздражает поэтов. Несколько заостряя, можно сказать — надо выбрать: или поэзия, или Чехов. Но приведу контраргумент: есть поэзия в чеховской "*Стени*". Катрин Мансфильд ("Чехов в юбке") уверяла, что после "*Илиады*" Гомера была создана только одна эпопея — "*Стень*" Чехова. Но при чтении многих чеховских рассказов и повестей цветы вянут, стихи бормочутся и хочется повеситься. Анненский восхищался пьесами Чехова, в особенности "*Тремя сестрами*" и написал к ним лирические комментарии (у трех сестер — одна душа). А в письме к близкой ему по духу Е. М. Мухиной писал: "Я чувствую, что больше никогда не примусь за Чехова. Это сухой ум, и он хотел убить в нас Достоевского — я не люблю Чехова, и статью о "*Трех сестрах*" вернее всего сожгу" (5 июня 1905 г.). Но не сжег, включил в свою "*Книгу отражений*".

Существеннее: Анненскому удалось *выжать* из Чехова поэзию. В немецком журнале для славистов (*Zeitschrift für Slavische Philologie*, XXVII, 1959), следуя за Д. П. Мирским, я провел аналогию между чеховским рассказом "*Дама с собачкой*" и стихотворением Анненского "*Прерывистые строки*". В рассказе и в стихотворении та же безнадежная ситуация: он

женат, она замужем, и они тайно встречаются. Страсть угасла, но любовники друг друга жалеют, привыкли мучиться.

У Анненского немало реалистических деталей, даже больше, чем у Чехова: в прошивках красная думочка; пальцы ее в черной метенке. Но там, где Чехов вяло-спокойно констатирует безвыходность нудного романа, Анненский срывает голос в повторяющемся лирическом крике-вопле:

Этого быть не может,
Это — подлог...

В чеховских тонах написано и стихотворение "*Нервы*". Пожилые дачники нервничают: ждут обыска у сына-революционера. Их раздражают назойливые крики разносчиков: "Морошка, ягода морошка... Гребэнки... Ландышев, свежих ландышев". Но здесь не только нудная чеховщина. В зачине и в концовке — лирические вопли, как и в "*Прерывистых строках*".

Как эта улица пыльна, раскалена!
Что за печальная, о, Господи, сосна.

Так Анненский (казалось бы, это невозможно) *спел* Чехова.

Главные реалии мира Анненского — ужас, боль, тоска, обида, жалость. Ужас вызывает смерть, и здесь Анненский перекликается со своим сверстником Розановым. Этот ужас знал и Толстой ("*Смерть Ивана Ильича*"). Страх усугубляется пошлостью.

Анненский жил в сравнительно спокойную эпоху, во времена мирные. Но обладал сверхчувствительностью — как будто с него содрали кожу. Кто, кроме Анненского, мог так сказать о боли:

И стойко должен зуб больной
Перегрызть холодный камень.

Все люди Анненского обижены. И жизнью и смертью. Даже бросаемая в водопад жалкая кукла:

Бывает такое небо
Такая игра лучей,

Что сердцу обида куклы
Обиды своей жалчей...

В этом "дольнике" ощущается задыхание "сердечника": поэт болен сердцем и в поэзии, и в жизни.

Наконец, жалость. И здесь Анненский близок к Розанову. Вот последняя запись в "*Уединенном*": "Никакой человек не достоин похвалы. Всякий человек достоин только жалости" (29 дек. 1911 г.).

Даже самые ничтожные люди вызывают у Анненского обиду за них, жалость. Вот "*Кулачишка*": По-видимому, был он миллиардный маркер в трактире. Третью, значительную строфу этого кратчайшего рассказа мог бы написать Чехов, но — вяло, нудно, без лирического трепета, ощущаемого у Анненского:

Скормить Помыканьям и Злобам
И сердце и силы дотла,
Чтоб дочь за газетовым гробом,
Горбатая, с зонтиком шла.

Г. В. Адамович говорил мне: Анненский *добивает* читателя зонтиком горбатой дочери. Горбунья несчастна; с зонтиком она, увы, еще и комична, и поэтому жалость слышится еще острее. Такие стихи Адамович называл *иголками* лирики Анненского.

У Анненского много таких иголок обиды и жалости. Вот еще пример:

А сердце... бубенчиком бьется
Так тихо у потной шлеи...

Чье сердце? Коня? Усталого извозчика? Больного поэта?.

14 стихотворений Анненского начинаются со слова "*тоска*" и трудно сказать, какая из этих "*тоск*" самая игольчатая и, зачастую, беспричинная, как "*Angst*" у Киркегора и экзистенциалистов. Вот — пошлая и, тем не менее, никакой бедой неоправданная "*Тоска вокзала*":

О, канун вечных будней,
Скуки липкое жало...
В пыльном зное полудней
Гул и краска вокзала.

И здесь — задыхающиеся "дольники", как в стихах о Кукле; агония в душном летнем Петербурге. Где-то маячит тень Раскольникова, идущего убивать старуху-процентщицу. Эти донельзя сжатые стихи похожи на какое-то жуткое заклинание.

Литературные корни Анненского прежде всего русские. Хотя он иногда параллелен Чехову, но укоренен в Достоевском. Быт у него чеховский, но страстность роднит его с Достоевским.

Анненский лучше символистов знал французскую поэзию. Брюсов культивировал поверхностного, шумного Верхарна или "научную" поэзию Гиля, а Анненский тонко понимал трудного Малларме. Чем-то был обязан полузабытому, но замечательному Шарлю Кро (1842—1888). Выписываю первую и последнюю строку Кро из его стихотворения "*Интерьер*":

Charles Cros

Joujou, pipi, casa, dodo.

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Иннокентий Анненский

Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.

Ням-ням, пипи, аа, бобо.

Do, si, la, sol, fa, mi, re, do.

Кро описывает пошлые будни французских мелких буржуа. Инерция быта передается простой гаммой и детскими словечками.

Будничное и детское Анненский обыграл в своем сонете "*Человек*". Это — мрачное стихотворение, но без чеховского уныния. В этих сплошь мужских рифмах есть энергия. К тому же, Чехову не пришло бы в голову упомянуть о Боге.

Я завожусь на тридцать лет,
 Чтоб жить, мучительно дробя
 Лучи от призрачных планет
 На "да" и "нет", на "ах!" и "бя",

Чтоб жить, волнуясь и скорбя
 Над тем, чего, гляди, и нет...
 И был бы, верно, я поэт,
 Когда бы выдумал себя.

В работе ль там не без прорух,
Иль в механизме есть подвох,
Но был бы мой свободный дух —

Теперь не дух, я был бы Бог...
Когда б не пиль да не тубо,
Да не тю-тю после бо-бо!...

Детский язык обычно радует, даже умиляет, но как жутко звучит здесь "тю-тю после бо-бо"!

Многие стихи Анненского тяжелы по ритму. Так, четырех-
стопные ямбы в сонете "*Человек*" не облегчены т. н. пиррихиями
(т. е. пропуском ударений). Но у поэта можно найти, пусть и не
столь для него характерные, мелодические стихи:

О, как давно! Сквозь эту тьму
Скажи одно: ты та ли, та ли?
И струны ластились к нему,
Звеня, но, ластясь, трепетали...

В блаженном благозвучии "*ты та ли, та ли*" слышатся итальян-
ские звуки, которые Пушкин находил у Батюшкова.

Замечательно угаданное Адамовичем прозрение Анненского:
порыв из тьмы к свету:

А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе

Это не чеховская декламация о "небе в алмазах" через 200—
300 лет (как в эпилоге "*Дяди Вани*"). Не многое ли, не всё ли
простится грешникам, конечно, не самодовольным, а муча-
ющимся, за их тайное упование, хотя бы только за мечту о "где-
то там сияющей красе"? Анненский — атеист, как и Чехов, как
Фет, но он сам признавался, что в нем тоскует мытарь, который
молится о ниспослании ему веры.

Анненский издевался над книжниками-богоискателями, над
Мережковским и другими символистами. Недолюбливал "холод-
ного", по его мнению, Блока, хотя и ценил его, как поэта. Со
своей стороны, Блок скептически отнесся к сборнику стихов
"*Тихие песни*". Правда, позднее его восхищали "дальние руки" у

Анненского. Анненский расхотелся с Вяч. Ивановым, для которого он был метафизическим недорослем. В стихотворении, посвященном Анненскому, Вяч. Иванов назвал его "обличитель беспощадный" (надо полагать, обличитель всех религиозных верований).

Но атеизм Анненского был с трещинкой... Вот выдержка из письма Анненского Анне Владимировне Бородиной (1858—1928); у него с нею было гётевское избранное сродство душ. Он пишет ей: "Я потерял Бога" — и как он живет в тревоге и страдает от одиночества. Была у Анненского и своя метафизика. В том же письме он пишет: "...вечность не представляется мне более звездным небом гармонии: мне кажется, что там есть и черные провалы, и синие выси, и спокойные облака, и страдания, хотя бы только не бессмысленные" (15 июня 1904 г.).

Потерявший Бога Анненский не искал его в книгах и салонах, как символисты, но, может быть, Бог был близок ему — понимал его обиды, тоску, жалость.

Для меня лично Анненский, человек и поэт, как-то связан вот с этим его зимним ландшафтом:

Эта ломанность линий,
Этот грузный полет,
Этот нищенский синий
И заплаканный лед.

Здесь характерная для него быстрая скороговорочная строфа с интонационными указательными местоимениями (*эта, этот*), и читатель сам должен догадаться, что именно поэт не договорил. Здесь нет гармонии, хотя Анненский — классик, знаток античного мира. Но мы видели, что и в вечности он не находил гармонии. Отсюда — ломанность линий (кривых).

Полет его, конечно, был тяжелый: на свой горб он взвалил груз человеческого страдания. Зимний лед обезображен каплей, может быть, собачьими следами — и кажется нищенским. Такие стихи бормочутся в какой-то особенный, уж не в последний ли, мучительный, но и блаженнейший день. Это игольчатое, рвящее *прости-прощай* Анненского.

Жизнь Иннокентия Федоровича Анненского протекла без из

ряда вон выходящих внешних событий, это была жизнь педагога. Был он недолго директором Царскосельской гимназии. Позднее — инспектором училищ. В литературу вошел в последний год жизни. Стал душой журнала "Аполлон". У него появились молодые поклонники, и среди них Николай Гумилев. А самую суть Анненского-поэта (его прозаизмы, интонации) не лучше ли всего поняла Анна Ахматова, которая, по собственному признанию, училась писать стихи, просматривая корректуры последней книги стихов Анненского "*Кипарисовый ларец*".

В эмиграции, в 30-х гг., критик и поэт Георгий Адамович провозгласил Анненского предтечей т. н. "парижской ноты" в поэзии молодых тогда эмигрантских поэтов. Он рекомендовал им писать просто, и о самом *главном*. Это *главное* была для него и его последователей — смерть, потому что все русские идеи (например, мессианизм) лопнули в революцию. Но у новых подражателей Анненского не было его "темперамента", писали они уныло, вяло, эклектически. Мучительного лирического упования Анненского не знали. Лучше всего "парижскую ноту" Адамовича (в большей степени, чем Анненского) выразили рано умерший Анатолий Штейгер, Лидия Червинская и Игорь Чиннов, который позднее отказался от минора на Монпарнасе.

Константин Фофанов (1862—1911). Его забыли... Но несколько счастливых стихов и самая его судьба, судьба горемычного люмпен-пролетария, обеспечивают ему уголок на Российском Парнасе. Из-за бедности он недоучился. Обременен был семьей: у него было 11 детей. Жена психически болела. Он и сам сходил с ума, к счастью, ненадолго. Постоянная нищета. Пьянство. Жалкая фигура, но с какими-то вдохновенными голубыми глазами (их запечатлел Репин). В 80-е, да и в 900-е гг. у него было немало читателей. Назову двух поклонников Фофанова, очень несхожих: Толстой и Брюсов. В лирике он — нытик с зыбкими романтическими мечтами. У него не найти ни одного цельного, законченного стихотворения. Но, по-моему, Фофанов был куда талантливее своего современника, более популярного, чем он ноющего поэта — Надсона.

Он исходил из Апухтина. Сравним: у *Фофанова*: "Сумерки

бледные, сумерки мутные..."; У *Апухтина*: "Ночи безумные, ночи бессонные...".

Встречаем у *Фофанова* и стихи-иголки, как у *Анненского*:

И серых деревень заплаканный простор...

У *Анненского*:

Этот нищенский. синий
И заплаканный лед...

Здесь не подражание, а совпадение. И приоритет у *Фофанова*.

У *Фофанова* встречается немало банальностей, красотостей, но вот его своеобразнейшее олицетворение *Хандры*:

Перед окном косящатым
Сидит *Хандра Ивановна*,
Сидит она невесело,
Головушку повесила...

Личное воспоминание: мне было лет 12, когда я, на даче под Москвой, прочел в старом "*Огоньке*" вот эту *фофановскую* строфу, которая мне навсегда запомнилась:

Отошли мои видения,
Улетели грезы прочь,
Словно тихий призрак гения
Испарилась в небе ночь.

Какая устарелая поэтичность в этих "грезах"! "Этого я, конечно, тогда не замечал. Но меня поразила мелодичность стихов, я ведь еще не знал *Блока*, упивался громами и трубами *Державина*, который еще более устарел, а в наши дни неожиданно возродился. Но и банальнейший *Фофанов* иногда неизвестно куда уносит — в голубое. И не меня одного.

Федор Сологуб (1863—1927). У него, старейшего из символистов-метафизиков, намечалась своя религия. Он — новый манихей, утверждавший, что наш мир создан дьяволом, а у светлого Бога — другой мир, постигаемый в мечтаниях и реализованный в фантастической стране *Ойле*, куда уносятся герои его

Эта строфа *держится* на вводном "что ли": сильное ударение нарушает монотонию ритма (анapestа), выражая безысходную скуку, нестерпимую тоску.

Есть у Сологуба и страстные заклинания-призывы:

Елисавета, Елисавета,
Приди ко мне,
Я умираю, Елисавета,
Я весь в огне.

Сологуб мог обходиться и без декадентства, видел просветы в передоновском аду жизни:

Сильна могила, ее могила, —
Любовь сильней.

Да и само декадентство Сологуба — особенное, безо всякой позы, скорбно-печальное. Иногда кажется, что он обольщался в стихах злом из какого-то чувства долга.

Сологуб писал просто, но зачастую о непростом. Он избегал поэтических экспериментов. Его словарь беден. Лишь изредка он баловался звуковой инструментровкой или отступал от обычных метров. Кн. Д. П. Святополк-Мирский назвал его классиком среди декадентов.

Сологуб — лирик, а лирика — язык души. Душу свою он прятал, но у него были свои душевные интонации, свой вздох:

Я спал от печали
Тягостным сном,
Чайки кричали
Над моим окном.
И ветер, пылая
Вечной тоской,
Звал меня, пролетая
Над моей рекой

Стареющий Сологуб удивил многих читателей прелестными бержеретами. Свои пастушеские стилизации он писал в годы военного коммунизма, когда лилась кровь. А он убегал от страшной действительности в мир идиллий, в рококо, грелся у

костра с декоративными пастушками и пастушками. Воскрешал рококошного Богдановича в стихах акмеистического стиля. Есть у Сологуба и переключка с последним незаслуженно забытым идилликом — Владимиром Панаевым (1792—1859).

Сологуб не увлекал, как Блок или Ахматова. На него не было моды, как на Бальмонта или Северянина. Но его *"Мелкого беса"* и некоторые короткие рассказы читатели запомнили. Все же лучшее, что он написал — не проза, а поэзия. Как поэта его скорее ценили, чем любили. В кругах поэтов имя его давно уже не упоминается.

Сологуб — одинокая фигура, одиночествующий поэт, аскет-столпник в дебрях добра и зла. Его мало что радовало. Но —

Но есть одно, чему всегда я
рад
И с чем всегда бываю светло-
молод;
Мой труд... Иных земных
наград
Не жду за здешний дикий
холод.

По происхождению Сологуб — из низов, "простолюдин". Настоящая его фамилия *Тетерников*. Он окончил учительский институт и лет тридцать преподавал в школах — в провинции и в Петербурге. Сам пополнял свое образование, знал французский язык. Женился на писательнице Анастасии Чеботаревской. Весной 1921 г. она покончила с собой — утопилась в Неве. От этого удара Федор Кузьмич Сологуб так и не оправился.

Вячеслав Иванов (1866—1949). Филолог-классик, гуманист, каких немного было в России, да и в Европе. Кое-кому казалось, что в Вяч. Иванове мало русского, а ведь он — коренной москвич. Русские его корни в поэме *"Младенчество"* (1918 г.). Строрфика — онегинская (14 стихов), и тот же четырехстопный ямб. А ключ к поэме — *невещественный*, как и в *"Возмездии"* Блока и в *"Первом свидании"*. В *"Младенчестве"* есть и быт — московский, интеллигентский, начала 70-х гг. Но всюду — соприкосновение с

мирами иными: ранние видения, тайные знаки. Язык отчасти разговорный: "Мать у Большого Вознесенья / Сам-друг живет своим домком".

Но немало и архаизмов: "Сотворили Псалтирион"; "Мои персты". Прадед был протоиерей, а правнук стал жрецом неведомой религии. Унаследованный от предков церковно-славянский язык прозвучит у него иначе, чем в церковной гимнологии. А на закате дней Вяч. Иванов будет писать мистический эпос, охватывающий тысячелетие Руси.

У Вяч. Иванова своя особенная религия, как и у других символистов. Бердяев писал, что Вяч. Иванов смешивал и даже отождествлял Христа и Диониса, "открытого" и оживленного Фридрихом Ницше. Это неверно — убедительно доказывает Ф. А. Степун. Все же, как и у других символистов-богоискателей, была в писаниях Вяч. Иванова некоторая двусмысленность, и главное, не было огненной веры. Но он считал себя христианином.

Вяч. Иванов *был дома* и в классической, и в современной культуре и несколько лет царил над всеми "модернистами" в своей знаменитой квартире-башне в Петербурге. А после революции он отстаивал культурную традицию от своего собеседника М. О. Гершензона, который в годы разрушительной революции в спасительности культуры усомнился ("*Переписка из двух углов*").

В. И. писал о греческих трагедиях, о романах-трагедиях Достоевского, но русская великая трагедия (революция) его глубоко не задела (в отличие от Гиппиус, Блока, Белого). В минувшем он объял многое, но наша эпоха крестом на него не легла. Пророчествовал о новой хоровой культуре: его пророчество сбылось, но в искаженном виде, в гротеске большевиков, составляющих "хор" из послушных рабов-подголосков.

Поэзия Вяч. Иванова — торжественная, жреческая, со многими церковнославянизмами, и перекликается с нашим XVIII веком. У Василия Петрова султан *ярится*, а у Вяч. Иванова *ярился* бык. Замечательны его сжатые стихи-изречения: "Жрец" нарекишь, и знаменуйся: "жертва" ("*Прозрачность*").

Некоторые стихи Вяч. Иванова очень уж ученые, монотонные. Но иногда книжника одолевали страсти, и тогда он становился поэтом.

И не затем ли так узывно дики
Тимпан и систр...

— восклицает он — торжественно, но с хрипотцой страсти. Есть манерность в этом наречии-неологизме, похожем на архаизм: *узывно!* Но есть в этих стихах и иступленный вызов. У вакханта язык книжно-изысканный, но иногда ему не до книг:

Люблю тебя, любовью требуя;
И верой требуя, любя

Эта поэтическая формула риторична, но здесь слышится голос страсти, как у Корнелия и Расина в их стихах-формулах.

Мистика Вяч. Иванова убеждает, одушевляет не в его стихотворных трактатах, а в задыхающихся "дольниках":

С отцом родная сидела,
Молчали она и он.
И в окна ночь глядела...
"Чу", — молвили оба — "звон..."

Здесь ничего не провозглашается, но — сильно переживается.

"Твои нагие мощи, Рим", — сказал на склоне лет Вяч. Иванов, сам уже римлянин и римский католик. Здесь напрашивается ассоциация между словами *мощи* и *мощь*. И ощущается: есть в этих мощах (мраморных обломках) мощь былого имперского величия, и другая, духовная мощь, — живой Римской церкви.

Вяч. Иванов дал Риму бессмертие в русской поэзии. В его Вечном Городе говорят камни. И нет ничего отвлеченного, есть живость, особенно в барочных "сценах".

Танцуют отроки на головах
Курносых чудищ. Дивны их проказы:
Под их пятой уроды пучеглазы
Из круглой пасти прыщут водный прах.

Все звучно-архаично, но и вещественно-точно, иногда за-

бавно-гротескно. Будто Державин и Гоголь "смешались" и получился Вяч. Иванов, непохожий, однако, ни на Державина, ни на Гоголя.

Ямбическое московское "*Младенчество*", зазывные или *узывные* вакхические клики, задыхающиеся дольки, осенний барочный Рим, чеканные "*Римские сонеты*" и многое другое — вот чем одарил русскую поэзию Вяч. Иванов. Его *почитали*, но даже поэты мало *читали*. К миру Эллады и Рима нас куда больше приближает блаженно-благодатный Осип Манделштам.

У Вяч. Иванова международная слава. В его честь устраиваются на Западе симпозиумы. Ценится его истолкование истории, культуры. Но значительна и его поэзия. Особо отмечу стихи о Рае. Близкий друг Вяч. Иванова Ольга Александровна Шор (1894—1978) вспоминает о его неожиданном гениальном прозрении. Вяч. Иванов и Шор отдыхали в приморском Сотерно, недалеко от Генуи. Свирельствовала буря, и они шли по берегу. "Вдруг В. И. начал бормотать стихи..." Вечером того же дня, 1 января 1929 г. он прочитал мне песню "*Отрады о Рае затворенном*". (Отрада — героиня повести Вяч. Иванова о Светомире, и ее, по желанию В. И., заканчивала О. А. Шор уже после его кончины):

— Вы не плачьтесь, Адамовы чада:
Я не взят от земли на небо,
Не восхищен к престолу Господню
И родимой земли не покинул.
А цвету я от вас недалече,
За лазоревой тонкой завесой:
Ту завесу лазореву знает,
Кто насытил сердце слезами...

Здесь — тихое благозвучие, напоминающее *Песни духовные*, которые, несомненно, как-то повлияли на стиль Повести о Светомире. Здесь притих громкий, барочный Вячеслав Великолепный.

Зинаида Гиппиус (1869—1945). Ее сложность, и человека и поэта, могла бы привлечь фрейдистов: они обнаружили бы у нее редкостные комплексы, но не сумели бы разобраться в ее

творчестве.

В рассказах (пусть и слабых, очень уж тезисных) она больше приоткрывалась, чем в стихах. Ее постоянная неудовлетворенность мучила, но и вдохновляла — повышала духовную требовательность.

Мне нужно то, чего нет в свете,

писала она еще в 90-х гг., и это не были пустые слова.

Гиппиус укоряли за холодность, за чрезмерную интеллектуальность, уверяли — ее стихи нельзя любить! Это не так. В лучших стихах ее неистовая душа разгоралась и могла увлекать даже своими отвлеченностями. Никогда не была она теплой или прохладной.

Гиппиус особенно удавались т. н. дольки. Фет в этих неровных ритмах задышался, агонизировал: "Измучен жизнью, коварством надежды". Тот же мучительный размер слышится у Тютчева в стихах о "любви последней, любви вечерней".

Гиппиус еще в молодости пристрастилась к этим будто бы "неправильным" размерам. Позднее, не без ее влияния, ими стали пользоваться многие поэты (Блок, Ахматова, Цветаева).

Прерывистый ритм оживляет многие ее стихи — даже самые безобразные:

Тебя приветствую, мое поражение,
тебя и победу я люблю равно;
на дне моей гордости лежит смирение,
и радость, и боль — всегда одно.

Здесь — эмоция. А вот пример абстракции:

Летят нездешними птицами,
В кольцо бытия, вперед,
Миги с закрытыми лицами,
Как удержу их лет?

Таких птиц увидеть нельзя, но они *убедительны*, и холодом от них веет.

В дольниках Гиппиус умела передать все оттенки неповторимых интонаций голоса:

Тихие сумерки... И разноцветная
Медленно меркнущая морская даль.
Тоже тихая и безответная,
Розово-серая во мне печаль.

Она внесла новый трепет в поэзию. Гиппиус — мастер "стяженных" размеров. Здесь она достигла высших точек лирического напряжения. Часто не только литературоведы, но даже собраты по перу не знают или не замечают, что в поэзии данного поэта *звучит*, а что надумано, не проверено слухом.

В мире Гиппиус конкретна всякая нечисть: пауки, пиявки. Себя она сравнивала с "ласковою коброй". Ей близко все отталкивающее, страшное: "рыже-липкие струи", "шершаво-пыльный гранит". Незабываем образ кошмарной девочки, словно возникшей из предсмертного бреда Свидригайлова. Эта девочка в сером платье несомненно сродни сологубовской Недотыкомке. У нее косы будто из ваты, особенный говорок — ласково-жуткий, прерывисто-дразнящий. И, конечно же, в дольнике:

То у бусинок нить раскушу,
То первый росток подсушу,
Вырезаю из книг странички,
Ломаю крылья у птички...

Злая метафизика и кошмарная пошлость всегда вещественно-реальны в поэзии Гиппиус. Она досказала о бесах что-то, чего не сказали Гоголь и Достоевский.

В жизни Гиппиус нравилось эпатировать. Подавая реплики на религиозно-философских собраниях, она наводила пугающий лорнет на архиереев и батюшек. Пугала узкими мужскими рейтузами, а в старости — нарочитой безвкусицей попугайного оперения и грубой косметической штукатуркой. Играла роль салонной "дьяволицы", или полоумной старухи. Любила дурить, а была умна.

Но, по-настоящему, Гиппиус всегда тянулась к свету, и что-то ей на высотах приоткрывалось. Если верить Владимиру Злобину, ее последнее слово о "самом главном" в этих вот двух расшифрованных им строках:

Но свободою Бог зовет,
 Что мы называем любовью...

Не значит ли это, что если любовь — истинная, чистая, то она совпадает со свободой, которой уже невозможно злоупотребить.

Низины зла Гиппиус знала лучше высот. Она знала свидригайловскую девочку в сером платье, но уже на закате жизни, встретила ей и эта — Sainte Thérèse de L'Enfant Jésus

Девочка маленькая, чужая,
 Девочка с розами, мной невиденная,

Она не судит, она простая,
 Желанье сердца она услышит,
 Розы ее такую чистою,
 Такой нежной радостью дышат...
 О, будь со мною, чужая, родная,
 Роза розовая, многолистая... (1936)

В предисловии к первому сборнику стихов Гиппиус писала: "Поэзия... словесная музыка — это лишь одна из форм, которую принимает в душе молитва". В той же первой книге она признается:

Мне близок Бог, но не могу молиться,
 Хочу любить и не могу любить.

Так Гиппиус и осталась у порога Дома Божьего — окруженная привычной ей нечистью из гоголевского "Вия", но с порывами к свету, с робкими полумолитвами и преклонением перед святой Терезой из Лизьё.

По силе своего дарования, по своеобразию творчества Гиппиус стоит впереди других символистов, рядом с Иннокентием Анненским и Александром Блоком.

Метафизика занимала Гиппиус куда больше, чем эротика. Иногда увлекала ее политика. До революции Гиппиус и Мережковский были близки народникам, дружили с эсером-террористом Савинковым. Сколько упоения в стихах Гиппиус о революционном Петербурге:

Во влажном визге ветренных раздолий
И в белоперистости вешних пург,
Созданье революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

Это не стихи, написанные салонной дамой. В этих ямбических пентаметрах слышится не только визг ветра, но и лягз цепей, и раскаты ревущих раздолий. И это внезапное *падение* сердца в третьей строке, будто поэт задохнулся — то ли от ужаса, то ли от восторга.

Февральскую революцию Мережковские приветствовали. Октябрь резко отвергли. Покинули Россию в 1920 г. и в эмиграции заняли резко антибольшевистскую позицию. В 92-ую годовщину восстания декабристов, 14 дек. 1917 г., Гиппиус писала:

О, петля Николая чище,
Чем пальцы серых обезьян!

Ефим Эткинд укорил Гиппиус за политические стихи, приравняв их к Демьяну Бедному. Он забыл, что Демьян Бедный был вульгарным стихоплетом-публицистом, а Зинаида Гиппиус — большим поэтом.

Константин Бальмонт (1867—1942). Его давно не читают. Мне кажется, свое лучшее он написал на рубеже двух столетий. Надсоновско-интеллигентскую Россию пробудили его петушинные крики: "Будем, как солнце, оно молодое"; "Она отдалась без упрека"; "Я на башню всходил и дрожали ступени". Символика его шаблонная, а декадентство — подражание моде. Не походил он на Нерона, которого однажды назвал братом.

"Кто равен мне в певучей силе?" — спрашивал Бальмонт. До Блока, действительно, никто из современников. Но есть монотония в излюбленных им трехсложных размерах. Бальмонтская красивость напрашивается на пародию. Его составные эпитеты быстро надоели ("нежно-дымный хризолит"). Тютчев был изобретательнее: "дымно-легко", "мглисто-лилейно". Перестали удивлять бальмонтовские неологизмы (безглазность).

В Серебряный век Бальмонт сыграл роль Языкова — задорного юнца, которому прощаются мелкие погрешности и отсутствие мыслей — очень уж восхищал его звонкий голос.

Явился Бальмонт — и в накуренной комнате, набитой спорящими интеллигентами, открылась форточка в утренний мир, оглашаемый петушиными криками.

Он бездумно радовался. И радовал. Восторженные читатели готовы были носить его на руках. В эмиграции его редко читали, он жил в одиночестве и нищете. Его верный друг, Марина Цветаева, восхищалась им — поэтом, но не его стихами: не цитировала их.

В его *"Безглагольности"* передается то же настроение, что в некоторых ландшафтах Левитана (например, в *"Вечном покое"*):

Есть в русской природе усталая нежность.

Можно и такой увидеть Россию. Но в России Пушкина, Некрасова, Блока чаще слышится не знающая устали страстная тоска.

Валерий Брюсов (1873—1924). В юности он эпатировал публику в сборниках *"Русские символисты"* (1894—95). Подразнивал в знаменитом однострочке: "О, закрой свои бледные ноги". Или же — причудливыми образами:

Фиолетовые руки
На эмалевой стене
Полусонно чертят звуки
В звонко-звучной тишине.

Это не заумь, еще тогда не родившаяся, а скорее, похоже на чепуховые стихи для детей: "Баба ехала верхом / В нанковой карете...". Молодого символиста удачно пародировал Владимир Соловьев:

Мандрагоры имманентные
Зашуршали в камышах,
А шершаво-декадентные
Вирши в вянущих ушах.

Холодный Брюсов притворялся бешеным любовником в поэзии и дописывался до труположества. А был, прежде всего, книжник-эрудит академического склада. Если Бальмонт — пе-

тушок, то Брюсов — вол. Воловье терпение он обнаружил как в литературно-исследовательской работе, так и в писании стихов — в экспериментальном сборнике *"Все напевы"*.

Современным ему поэтам и читателям нравились чеканные программные стихи:

Ты должен быть гордым, как знамя,
Ты должен быть острым, как меч,
Как Данту, подземное пламя
Должно тебе щеки обжечь.

Но Осип Манделштам возмутился: как это Брюсов осмелился эффекта ради упомянуть о Данте, в котором он ничего не смыслил.

Брюсов изучал и разъяснял Пушкина, Тютчева, вызвал из забвения Каролину Павлову. У него молодые поэты научались куда большему, чем у очаровывавшего их Бальмонта. Все же многое в суждениях Брюсова поверхностно, примитивно-научно, как и у очень им ценимого провозгласителя "научной поэзии" во Франции — Рене Гиля.

Радикальной интеллигенции Брюсов угодил этими стихами:

Каменщик, каменщик в фартуке белом,
Что ты там строишь, кому?
Эй, не мешай нам, мы заняты делом,
Строим мы, строим тюрьму.

Брюсова забывают, как и Бальмонта. Но в русской поэзии остаются и останутся те его стихи, которым он сам, может быть, не придавал большого значения, его щемящие, задышающиеся паузники:

Цветок засохший, душа моя!
Мы снова вдвоем — ты и я!
Морская рыба на песке,
Рот открыт в предсмертной тоске.
Возможно биться, нельзя дышать...
Над тихим морем — благодать.

"Цветок засохший" — начало пушкинского стихотворения, но все же эти строки единственные, неповторимые, брюсовские.

Ю. Иваск

РУССКИЕ И МОДИЛЬЯНИ

Среды артистической богемы Парижа начала нашего столетия, оказавшей столь большое влияние на живопись XX века, пожалуй, лишь у одного Модильяни интерес к выходцам из России вылился в ряд законченных портретных работ, анализ которых до сих пор не привлекал внимания исследователей, несмотря на растущую популярность нежной и горячечной живописи Модильяни.

По происхождению Модильяни — сефардский еврей, четвертый ребенок в семье обанкротившегося дельца. Есть что-то от романов Достоевского в обстоятельствах появления на свет будущего художника. В Италии, в Ливорно, был странный закон: все имущество должника могло быть конфисковано... за исключением кровати, если в этой кровати находилась женщина, только что давшая жизнь ребенку. Амедео ("любимый Богом") родился 12 июня 1884 года в кровати, буквально заваленной остатками семейного имущества — единственный способ спасти хоть что-нибудь от судебных исполнителей.

Модильяни одним из первых художников XX века уловил новый подход зрителя к оценке произведения искусства, открытие массовым зрителем *прекрасности антиэстетического*. Художники же говорили о своеобразной красоте безобразного давно.*

Понимание Модильяни относительности эстетического и

* Мысль об относительности прекрасного и антиэстетического была высказана еще Леонардо да Винчи: "Если художник желает видеть приводящую в восторг красоту, у него есть власть сотворить ее. Если он желает видеть уродство, внушающее ужас, или — нелепое и смешное, или — внушающее сожаление, у него есть власть и право создавать его".

Альбрехт Дюрер решительно заявлял: "Нет такого человека на Земле, кто может вынести окончательное решение о том, какая фигура у человека — самая

антиэстетического было, скорее, подсознательным, нежели сознательным. Возможно, оно обуславливалось, с одной стороны, историческими и культурными богатствами Италии, а с другой — личной бедностью и непрекращающимися болезнями. В отрочестве он перенес жестокий плеврит и брюшной тиф, чуть было не унесшие его в могилу, а в 16-летнем возрасте — туберкулез, от которого не вылечился никогда. Он знал, что такое быть иммигрантом, беглецом. Модильяни был космополитом, как и Париж, город, в котором он прожил большую часть своей короткой артистической жизни. Модильяни писал портреты французов, итальянцев, шведов и — выходцев из России.

Россияне у Модильяни неуловимо выделяются своей непохожестью, некоторой угловатостью, возможно, подсознательным чувством своей единственности: с одной стороны, принадлежностью к западноевропейской культуре, но в то же время — своей периферийностью по отношению к ней. Исключение составляет портрет Л. Бакста (масло, ок. 1915 г.) который своей экстравагантностью как бы подчеркивает стираемость культурных границ у тех немногих, кто, долго живя за рубежом и находясь в центре художественного или интеллектуального авангарда, сам стал неразрывной частью иностранной культуры.

Не нужно много фантазии и напряжения, чтобы модильяниевского Бакста представить в компании с Равелем, Павловой, Ж. Кокто, Дягилевым, Пикассо, Стравинским, Дебюсси, А.Н. Бенуа. Однако, даже самая буйная фантазия отказывается поместить модильяниевского Хаима Сутина — робкого, молчаливого, засаленного — среди обыкновенных парижских буржуа. Вся фигура Сутина, его заношенная одежда, нерешительная детская поза рук, внимательный, недоверчивый взгляд, обшарпанные стены комнаты свидетельствуют не столько о бедности, сколько о моральной и интеллектуальной одинокости русского эмигранта.

На коротком жизненном пути Модильяни сблизился с

прекрасная — это известно только Богу.

Огюст Родэн через 4 столетия поставил точку над "i": "Моральное уродство, интерпретированное ясным и пронизательным разумом [художника], становится изумительной темой красоты".

другим россиянином — Оскаром Мещаниновым, как и Шагал, — уроженцем Витебска, художником, и очень преуспевающим человеком. Мещанинов учился живописи в Париже, но его беспокойной натуре был почему-то близок Восток, куда он совершил два путешествия (в 1919 году — в Камбоджу, а в 1927 году — в Индию). Говорят, что именно динамичный Мещанинов познакомил парижан с искусством кхмеров, и это он привлек внимание Модильяни к искусству Востока, в частности, — Индии.

Модильяни написал два портрета Мещанинова маслом и сделал несколько карандашных портретов. Небольшой портрет Мещанинова, написанный в 1917 г. и демонстрировавшийся на выставке в Национальной галерее в Вашингтоне, посвященной столетию со дня рождения художника, является примером того, насколько был характерен для Модильяни необычный, абберационный способ видения мира, благодаря которому объективная реальность как бы спрессована в некое внешнее подобие этой реальности — прием, который позже стал своего рода клише у многих художников-модернистов.

Пиджак, белая сорочка, галстук, аккуратно причесанные волнистые волосы вряд ли могут вызвать ассоциации с профессией художника. Круглое, как луна, лицо, толстые, очень чувственные губы и большие оттопыренные уши. Тонкая шея и хилые плечи. Кажется, что изображен карлик, а ведь Мещанинов был плотным, мускулистым, вовсе не карликом. Но великолепный, ясный, без морщинки лоб и очень внимательный взгляд серых глаз (глаза — с внешними уголками, карикатурно опущенными вниз) придают модели ощущение большого достоинства и ставят некоторую психологическую стену между зрителем и картиной.

Портрет Мещанинова — образец характерных приемов Модильяни: намеренное пренебрежение пропорциями, схватывание лишь самого характерного (доходящее до гротеска, до карикатуры), упрощение формы, пренебрежение деталями. Все эти приемы не новы (ничто не ново под луною!), и Модильяни, возможно, канул бы в небытие, если бы... не совершенно особый, "модильяниевский" колорит: розовый, тёплый, ассоциирующийся с чувствами нежности и одиночества. Даже в черном цвете Модильяни чувствуется этот розовый колорит-феномен непонят-

ный и необъяснимый. Возможно, психолог и врач найдут связь этого розового, горячечного видения вовсе не розового мира и — болезни художника.

Портреты Модильяни носят несколько стилизованный, "упадочнический" характер, за исключением портрета-наброска Марии Васильевой. Определение "упадочнический" подходит к живописи Модильяни вполне, если вернуть этому слову первоначальный, интимно-элегический смысл и забыть классовый ненавистнический, который был ему придан насильниками-преобразователями общества. Портрет М. Васильевой — довольно редкое и, может быть, единственное исключение в наследии Модильяни, поскольку даже его цветовая гамма выражает редкую жизненную силу, целеустремленность, светлую волю.

О Марии Васильевой нет упоминания даже в многотомном библиографическом словаре "Художники народов СССР". А между тем, Мария Васильева — интересная фигура парижского художественного мира первой половины нашего столетия. Она родилась в 1884 г. в Смоленске, девятнадцати лет от роду приехала в Париж к Матиссу, учиться. Но наибольшее влияние на нее оказали Фернан Леже и Робер Делонэ. Мария Васильева создала себе имя, как художница сцены. В 1909 году она открыла художественную школу, которая стала своего рода салоном парижского авангарда. В школе Васильевой собирались Пикассо, Брак, Хуан Грис, Матисс и — Модильяни.

Модильяни, наркоман, больной человек и темпераментный грешник, не был способен к усидчивому труду и тщательной отделке своих полотен. Они возникали почти стихийно — заказы были редкими, — и были готовы через день-два, в лучшем случае — через неделю, полторы. Портрет Марии Васильевой был создан за пару часов. Это даже не портрет в полном смысле слова, это — многоцветный подмалевок, набросок маслом.

Портрет Васильевой — воплощение витальности славянского характера. Молодая, крепко сложенная, волевая блондинка с зелеными глазами изображена на фоне сказочно-красочной декорации — очень неожиданный прием для Модильяни, который всегда пренебрегал фоном, даже в портретах, сделанных на заказ.

Начало "серии" российских лиц у Модильяни относится к 1910

году. Он жил тогда на Монпарнасе. Весной познакомился с молодой русской женщиной Анной Горенко, женой русского поэта Николая Гумилева. Анна Горенко тоже писала стихи. Но не стихи — художник ни слова не понимал по-русски, — а ее необычная красота привлекла темпераментного Модильяни. Тогда, как впоследствии вспоминала Анна Андреевна Ахматова, художник страстно увлекался искусством Египта (не говорит ли в нас кровь предков? Ведь Модильяни был потомком беглецов из Египта!). Он взял молодую русскую красавицу в египетский отель Лувра, убеждая, что "всё остальное недостойно внимания." По словам поэтессы (чья первая книга появилась лишь через два года после ее первого посещения Парижа), Модильяни рисовал ее дважды: в уборе египетской царицы, и как египетскую танцовщицу. Судьба этих "египетских" рисунков Модильяни неизвестна, однако, широко известен другой рисунок Модильяни, изображающий Анну Ахматову. Он был сделан во время второго ее приезда в Париж, в 1911 г. Рисунок у Модильяни был, на мой взгляд, всегда его слабым местом, но в этом очень лаконичном наброске — всего несколько плавных и уверенных линий — он сумел передать женственность и необычную, редкую красоту молодой Ахматовой. Вообще лаконичный, Модильяни здесь аскетически скуп, создавая образ женственной, сдержанной и несколько томной поэтессы. Портрет Ахматовой — воплощение прекрасной вспышки таланта.

Модильяни считал себя прежде всего скульптором. Он и начинал, как скульптор. Но к 1914 году он бросил скульптуру навсегда, целиком уйдя в живопись: каменная пыль из-под резца разрушала легкие туберкулезника. Сохранилось всего лишь двадцать пять скульптурных работ, достоверно сделанных Модильяни.

Одна из них, относящаяся к 1911-12 годам, находится в Национальной галерее в Вашингтоне, в знаменитой коллекции Честера Дэйла. Это — "Голова", сделанная в традиционной "африканской" манере Модильяни: удлиненное лицо, миндалевидные, чуть прикрытые глаза, тонкий — вертикаль — нос, нежно закругленный, чуть тяжеловатый подбородок и маленькие, чувственные — сплюснутый пухлый шарик — губы; длинная изящная шея.

Автор этих строк берет на себя смелость утверждать, что "Голова" Модильяни в коллекции Честера Дэйла — стилизованный портрет Анны Ахматовой. Достаточно сравнить "Голову" с тремя широко известными портретами поэтессы, сделанными примерно в то же время: рисунком Савелия П. Сорина 1913 года, маслом Ольги Л. Делла-Вос-Кардовской 1914 года, и, главное, знаменитым портретом Натана И. Альтмана 1914 года (в некоторых зарубежных изданиях две последние работы почему-то датируются 1915 годом), чтобы прийти к выводу: "Голова" из коллекции Честера Дэйла — это портрет Анны Андреевны Ахматовой.

Еще две детали, подтверждающие такой вывод: у "Головы" — знаменитая *ахматовская челка* и — чувственные губы, тогда как у других скульптур Модильяни вместо губ — узкая щель. Сама Ахматова, впрочем, о скульптурном портрете никогда не упоминала. Скорее всего, "Голова" была закончена позже, когда Анны Андреевны уже не было в Париже, и о последнем привете своего друга она просто могла не знать.

"Голова" из коллекции Честера Дэйла, возможно, — единственная скульптурная работа Модильяни, которая имеет конкретного живого прототипа. Это — символ, воспоминание о русской красавице-поэтесе, которое под резцом большого художника-космополита приняло примитивный африканский характер, загадочный и прекрасный в своей простоте.

Юрий Зорин

СТРЕЛКА

Еще бы разок задохнуться на Стрелке,
Где ростры-улитки глядятся в Неву,
Где музы и чайки играют в горелки,
Где вижу себя не во сне — наяву,
Где строили наши Цари и Царицы,
И я не один верноподанный их.

12/13 августа 1983

ЖЕЛАНЬИЦЕ

Если бы жить, только бы жить...

Георгий Иванов

Не Дух Святой, а из могилы дух.
И над Базаровым у-у: лопух.

Душонка — дурка, да еще жеманница.
Ее какое жалкое желаньице?

В аду, раю ли только бы курнуть.
У камелька свернуться: прикорнуть.

Душа боится вечного сияния
Не менее, чем вечного зияния.

Юрий Иваск

ФИЛОСОФИЯ В ПОЭЗИИ ГЕОРГИЯ ИВАНОВА

В одной из лекций (кажется, о Гелдерлине) Мартин Хейдеггер сказал, что философия "рождается из поэзии". Французский философ Е. Мейерсон в своем основном труде "О ходе мышления" посвятил целую главу тютчевскому стихотворению, кончающемуся знаменитой строкой — "Мысль изреченная есть ложь". Тютчев дружил с Шеллингом и отлично знал немецкую философию. Георгий Иванов философией, "наукой наук" мало интересовался и вряд ли прочел хоть одну философскую книгу. Но его смело можно причислить к поэтам хейдеггеровского толка. Вот хотя бы это стихотворение:

Друг друга отражают зеркала,
Взаимно искажая отраженья.
Я верю не в непобедимость зла,
Но только в неизбежность поражения.
Не в музыку, что жизнь мою сожгла,
Но в пепел, что остался от соженья.

О двух средних строках можно было бы написать целый философско-богословский трактат, так как они затрагивают онтологическую, бытийственную сущность человеческого существования, борьбу между Добром и Злом. Победа над Злом в нашем падшем мире невозможна, ибо она превратила бы жизнь на земле в рай и тогда смысл земного бытия был бы устранен. Не проще ли было не допускать дьявола в рай и не изгонять из него первых людей?

Борясь со злом, проходя через опыт зла, человек совершенствуется. И каждый из нас, кто хоть немного задумывался над

этим вопросом, может проверить эту истину на собственном опыте. Лишь трудные периоды нашей жизни — результат присутствующего в мире Зла — что-то нам принесли, чем-то обогатили нашу духовную жизнь. Периоды же благополучные, счастливые хотя и оставили приятное воспоминание, но ничем, кроме сожаления, что их больше нет, не примечательны.

Георгий Иванов идет еще дальше:

Я хотел бы улыбнуться,
Отдохнуть, домой вернуться...
Я хотел бы так немного,
То, что есть почти у всех,
Но о чем просить у Бога
Мне бессмыслица и грех.

Казалось бы — что здесь особенного? Простое, маленькое стихотворение. Маленькое — да. Но уж такое ли простое? Эмигранту молиться о возвращении "домой" и бессмысленно и глупо. Но для Георгия Иванова это было бы и *грехом*. Тем самым вопрос переносится в область амартологии (науке о грехе). Молиться о возвращении в Россию поэту, ставшему, пользуясь формулой Анны Ахматовой, "трагическим тенором изгнания", полностью раскрывшим свой талант как раз из-за лишений и трудностей эмигрантской жизни — не посягательство ли это (здесь припомним Бердяева) на замысел Божий о Георгии Иванове, единственном поэте, сумевшем в своей поэзии действительно гениально, не нажимая "на педали", передать всю трагедию людей, лишенных родины. И не только русских.

За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье,
И мы в отчаянье пришли

Так может сказать о себе и француз, и немец, и американец, и папуас.

В плане же феноменологическом, противопоставляя "явление" своей "распроклятой судьбы эмигранта" явлению своей поэзии, Г. Иванов без обиняков утверждает:

Мне счастье поднеси на блюдо
Я выброшу его в окно.
Стихи и звезды остаются
А остальное — все равно!...

Посмотрим на мир, в котором нам приходится жить; на все, раздирающие его противоречия, на бесчисленное число соперничающих между собой партий, объединений и движений, на непримиримые разногласия, расшатывающие великие религии — христианство, ислам, индуизм, не говоря уже о противостоянии двух социальных и идеологических блоков, на до предела обострившуюся проблему "отцов и детей" и т.д. и т.п. Со свойственной ему точностью, лишь усиленной парадоксальностью вывода, Георгий Иванов констатирует:

Что связывает нас, всех нас? —
Взаимное непониманье

Но он имеет в виду и другую причину такого непониманья — языковую неточность, расплывчатость семантического содержания слов. У апостола Павла есть загадочное изречение: "Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?" (I Кор. VI 3). В "Зога-ре", эзотерическом толковании Библии, появившемся около 1560 года, рассказывается, что после того, как Бог завершил свое творение, Он предложил ангелам "наименовать вещи", но ангелы отказались. Тогда Бог призвал Адама и повелел сделать это ему. Адам исполнил повеление, но дал вещам неточные имена, следствием чего и явился наш сумбурный мир ссор и конфликтов. В наказание за их отказ люди и будут судить ангелов. Никто, конечно, не обязан принимать это толкование, как бесспорное.

У Георгия Иванова мы находим такое утверждение:

Но настоящих слов мы не находим,
А приблизительных мы больше не хотим

"Приблизительные" слова! Сколько различных смыслов вкладывается, например, в слово "свобода". Вспоминаются строки Во-лошина:

"Устами каждого воскликну я "свобода!",
И *разный смысл* для каждого придам"
(Ангел Миценья)

И это было написано в 1906 году!

Уж если пришлось коснуться темы свободы, невольно вспоминается стихотворение Георгия Иванова, в котором, противопоставляя два идеологических блока современного мира, он пишет:

Туманные проходят годы
И попережку дышим мы
То затхлым воздухом свободы,
То вольным холодом тюрьмы.

Точность найденной характеристики может показаться опровержением "приблизительных слов". Но здесь это точность не слов, но словесочетаний. Точность, вообще, — одна из отличительных черт поэзии Георгия Иванова, в представлении которого

Поэзия — точнейшая наука

Как у всякого настоящего поэта, у Георгия Иванова эта точность зачастую обнаруживается даже вопреки тому, что хочет сказать сам автор. Так у него вышло со стихотворением:

Тебя уже не уничтожат,
Как тот безумный вождь мечтал.
Судьба поможет, Бог поможет,
Но русский человек устал.
Устал страдать, устал гордиться,
Валя куда-то напролом.
Пора забвеньем насладиться,
А, может быть, — пора на слом.
....И ничему не возродиться
Ни под серпом, ни под орлом!

Как будто то же самое, что сорок лет до него писал Волошин:

С Россией конечно... На площадях
Ее мы прогалдели, проболтали,

Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.

Но не совсем. В первом случае поэзия выручила поэта: действительно, трудно предположить, чтобы что-нибудь возродилось "под серпом или под орлом". Но это не значит, что Россия не возродится при том или другом свободном демократическом строе. И здесь снова можно сослаться на Хейдеггера, в статье о ницшевском Заратустре заметившего: тот факт, что "мысль остается позади того, о чем она думает, свидетельствует о том, что она содержит творческое начало. И как раз там, где мысль приводит метафизику к ее завершению, она в исключительных случаях указывает на нечто, о чем она не думает, что одновременно и ясно и туманно. Надо только иметь глаза, чтобы это увидеть". Тема России так или иначе присутствует почти во всех стихотворениях Георгия Иванова, написанных за границей. И опять же, самое значительное из них является и самым коротким:

Россия тридцать лет живет в тюрьме,
На Соловках или на Колыме.

И лишь на Колыме и в Соловках
Россия та, что будет жить в веках.

Все остальное — планетарный ад,
Проклятый Кремль, злощастный Сталинград
Заслуживает только одного:
Огня испепеляющего его

Коммунизм, помимо прочего, характерен и тем, что ему не нужны творческие личности. Это отметил Достоевский в "Бесах". По замечанию В.Н. Ильина, "главное содержание "Бесов" есть *борьба с творчеством*". Со дня своего прихода к власти коммунизм начал борьбу с русской культурой и ее творцами: часть их была выслана или вынуждена эмигрировать (перечи-

слять не буду, имена всем известны), другая, бóльшая, была или уничтожена, или заключена в лагеря, тюрьмы и психиатрические лечебницы. И это не должно удивлять: коммунистической власти нужны лишь те, чьи мозги остались на социальном уровне столетней давности — чтобы поддерживать и питать социальную систему такой же столетней давности. Отсюда — убожество советской философии, являющейся лишь бездарным комментарием марксизма или его оппортунистической вариации — ленинизма. Подлинная русская философия, а с нею и настоящая русская культура могут быть лишь продолжением того, что с таким блеском проявилось в годы Серебряного века и могут быть возобновлены лишь теми, кого марксизм отверг, заключил в лагерь или изгнал — людьми творчества, свободными от всех запретов и штампов.

В цитированном выше стихотворении Георгия Иванова есть еще одна строка, которая, если ее раскрыть, может послужить содержанием целой книги: "Проклятый Кремль, злощастный Сталинград". Обратите внимание на точность эпитета "*проклятый* Кремль". Почему? Потому что Кремль — не только место-пребывание коммунистической власти, но и ее символ. Сталинград же, действительно, — "*злощастен*". Там было остановлено немецкое наступление и тем самым Европа была спасена от нацизма, что справедливо можно назвать счастьем. Но Сталинградская битва в то же время укрепила советскую власть, а с нею и коммунизм, что явилось злом и для России, и для Европы.

Есть в одном стихотворении Георгия Иванова восемь, на первый взгляд как будто незначительных, строк:

Так, занимаясь пустяками —
 Покупками или бритьем —
 Своими слабыми руками
 Мы чудный мир воссоздаем.

И поднимаясь облаками
 Ввысь — к небожителям на пир —
 Своими слабыми руками
 Мы разрушаем этот мир

Но такими эти строки кажутся только на первый взгляд. Создавая произведения искусства, жилища или просто вещи, необходимые для поддержания жизни, человек создает или воссоздает то, чего от него требует жизнь. Когда же он не "призывается" (как у Тютчева), а самовольно поднимается, да еще "облаками", то есть мудрствуя лукаво, "к небожителям на пир", он этот мир лишь разрушает.

И в заключение несколько слов о форме. В большом произведении искусства форма адекватна содержанию, а зачастую даже — его определяющий элемент. Кусок мрамора может быть красив сам по себе, но только став Венерой Милосской или Аполлоном Бельведерским он делается произведением искусства. То же самое относится к литературе, и в особенности, к поэзии, где форма (размер, рифма) и "музыка" — шлифовка, превращающая алмаз в бриллиант. Думаю, что в этом отношении поэзия Георгия Иванова — одна из совершеннейших в русской литературе.

К. Померанцев

ЖЕНСКИЙ КОНЦЛАГЕРЬ

9 декабря 1957 г.

Однажды у нас в камере появились две новые женщины. Пришли они довольно шумно, в каком-то нервном возбуждении. Через день-два успокоились, вошли в норму. Старшая из женщин, Зоя Жигалева, сразу привлекла мое внимание. Я часто ее потом вспоминала, уже живя в лагерях, и старалась определить, какое именно свойство характера этой 38-летней малообразованной, но очень умной женщины с темными глазами и довольно правильным приятным лицом так выделяло ее из толпы, что даже наша анархическая, преступная вольница сразу почувствовала эту силу.

Вскоре я поняла, что Зоя была прирожденным вожаком и организатором. Это-талант, как и всякий другой.

Зоя была как-будто окружена табу. Она раскладывала на столе на чистой салфетке полученную ею или ее подругой передачу и несколько раз приглашала меня. Было странно сидеть и есть вкусные вещи так демонстративно на виду и в окружении урок, метавших на нас злобные взгляды и щелкавших зубами, как голодные волки.

Зоя была дочерью крепкого сибирского крестьянина, энергичного и умелого хозяина, по душе (а может быть, и по крови) — потомка смелых сибирских землепроходцев. Когда дети стали подростками, отец решил переселиться в совершенно глухое место, прямо в тайгу, в нескольких десятках километров вниз по Лене от Якутска. Там они своими руками построили дом, развели большое хозяйство. Зоя мне подробно рассказывала, сколько у них было скота, какие огороды, надворные постройки и т.д.

Дом постепенно приобретал культурный, городской вид. В столовой даже висела огромная картина, стояла городская мебель. И все это было создано руками и трудами одной семьи.

Дикое таежное место было освоено. Постепенно около заимки Жигалевых стали селиться другие люди. Появились новые заимки.

Пароходства на Лене обратили внимание на новый населенный пункт, устроили здесь остановку. Дети стали учиться в городе. Но Зоя успела кончить только три класса. После падения белого режима в Сибири и конца гражданской войны поднялась первая волна раскулачивания. Отец Зои, создавший своими руками цветущее хозяйство в якутской тайге, был объявлен кулаком. На него наложили налог в 10.000 рублей. Такого налога он, конечно, уплатить не мог и, поняв своим острым, практическим сибирским умом, что этот налог — только начало будущих бед, и что не хозяйничать им больше в тайге, объявил семье, что придется бросить заимку, отказаться от нее и переехать в город.

Голос Зои задрожал, когда она рассказывала о расставании с любимым местом. Заимка перешла в руки государства, а когда Зоя приехала через несколько лет посмотреть на то, что случилось с заимкой, она нашла там страшное запустение; будто бы еще работали какие-то люди, но скота уже почти не было, огородов тоже, дом был разгромлен и пришел в полный упадок, даже любимая картина в столовой висела разорванными клочьями на грязной стене.

У Зои сложилось определенное мировоззрение, обдуманное и выстраданное. Редко даже у образованных женщин встречала я такую ясность ума, такое понимание, как у этой молодой сибирячки с трехклассным образованием.

В первые годы замужества Зоя нигде не служила. Не было надобности, да и желания не было. Началась война. Муж Зои был прикреплен к своему тресту и не подлежал отправке на фронт. Но Зоя своим острым умом сообразила, что она — молодая, здоровая, бездетная женщина — будет рано или поздно мобилизована на какую-нибудь, может быть, неприятную для нее работу. И она решила взять быка за рога. Зоя предложила правлению треста, где служил ее муж, взять на себя организацию снабжения рабочих и служащих предприятий треста продукта-

ми. Предложение было принято, и Зоя начала работать.

И вот молодая женщина, не имевшая ни малейшего торгового или служебного опыта, не работавшая никогда даже простой продавщицей, не имевшая и среднего образования, начала в обстановке военного времени и нехватки продуктов работу по снабжению многих сотен, а то и более человек, работавших на предприятиях треста, разбросанных в разных местах в тайге и по Лене; начала работу в условиях сурового Севера, распутицы и непроезжих таежных дорог.

И работа наладилась! Целыми пароходами отправляла Зоя продукты вверх и вниз по Лене, целыми транспортами — в тайгу. Тут проявился унаследованный от отца и в еще большей степени данный ей природой организационный талант и умение управлять людьми, талант вожака, руководителя.

Правление треста, видя, как хорошо Зоя справляется с добыванием продуктов и доставкой их по назначению, возложило на нее также надзор за огородами треста и создание новых огородов. Она и с этим справилась. Тогда ей поручили еще и организацию и надзор за ремонтом квартир рабочих и служащих. И это ей удалось организовать.

— Но я себя не забывала, — откровенно заявила мне Зоя, — свою квартиру я отремонтировала в первую очередь.

Кончилась война. После огромной работы и ответственности, и радостного сознания своих обнаружившихся способностей и сил, наступили серые будни. Прежняя тихая довоенная жизнь за спиной мужа и чтение Зою уже не удовлетворяли.

Я поняла натуру Зои: до революции видела я в детстве, в сибирских городах, таких купчих и золотопромышленниц. Вот пожилая вдова, у которой после смерти мужа остались на руках и прииски, и мукомольные мельницы, и пароходы. Выезжает такая золотопромышленница по утрам на своей таратаечке-американке, как, например, в Благовещенске на Амуре, в банки и на свои предприятия: на мельницу, в затон — проверить ремонт пароходов, и т.д. Правит лошадью, обычно, сама. Часто — неграмотная, иногда даже фамилию подписывать не умеет. А какой организатор, как разбирается практически в вопросах торгового, и, в частности, труднейшего вексельного права!

— Не женщина, а министр, — бывало говаривал о таких женщинах мой покойный отец, старый и опытный присяжный поверенный, не раз имевший дело с такими талантливими женщинами, на предприятиях которых, уже после смерти мужа расширенных ими, кормились сотни людей. Из второго поколения таких созидательниц вышла и Зоя.

После войны Зоя пошла по пути, который, по советским законам, является преступным, а в странах капитализма это называлось бы удачными торговыми операциями. Зоя занялась миллионной спекуляцией на "золотых" купонах.

Старатели на золотых приисках получают за каждый грамм сданного государству через организацию "Золотоскупка" золота или деньгами 50 рублей, или талон на покупку в специальных магазинах товаров на ту же сумму. Эти магазины снабжались очень хорошо. В них было много иностранных товаров, например, английских шерстяных материалов, которые почти нигде нельзя было достать. Естественно, был огромный спрос на эти талоны, в частности, со стороны людей, не имевших никакого отношения к приискам.

Зоя узнала, что в Иркутске и Новосибирске, где, кроме Якутска, есть отделения "Золотоскупки", имеются спекулянты, которые эти талоны, полученные сдатчиками золота из "Золотоскупки", тут же покупают вместо их номинальной стоимости в 50 р. (за один грамм золота) — за 600 р., то есть в двенадцать раз дороже. И вот Зоя решила заняться спекуляцией на этих талонах. Она стала скупать золото у старателей и увозить его в Иркутск, где сдавала его в "Золотоскупку", а в обмен получала талоны, которые у нее покупал один спекулянт-еврей. Она сняла себе в Иркутске постоянную комнату у одной хозяйки, которой можно было доверять. Это было очень важно, так как она, женщина, возила с собой золото на большую сумму, а случаи бандитизма были часты. Нужно было знать, у кого останавливаешься.

Во время одной из этих поездок с якутских приисков в Иркутск Зоя и познакомилась со своей будущей "одноделкой" Екатериной Степановной, которая занималась тем же. Им было удобно объединиться: и безопаснее и можно меньше бояться обратить на себя внимание. Операции у них постепенно расширя-

лись, и теперь уже надо было быть осторожными, чтобы не бросаться в глаза. Вообще у них было условлено: если одна из них или обе будут арестованы, ни в коем случае не признаваться в совместной работе, а утверждать, что каждая из них работала отдельно, чтобы не быть привлеченными по групповому закону от 7/VIII, по которому было только два наказания: высшая мера или 10-летний срок. Под амнистию закон никогда не подпадал.

Когда операции разрослись, они стали возить золото и в "Золотоскупку" в Новосибирск. В Новосибирске они тоже наняли себе квартиру, чтобы постоянно было, где останавливаться. Концы Якутск-Иркутск (или часть пути) и Иркутск-Новосибирск они для скорости и комфорта часто совершали на самолетах. Одевались они хорошо. Чемоданы с одеждой стояли и у иркутской хозяйки, и у новосибирской, которым они щедро платили и которых щедро одаряли.

В последний роковой приезд в Новосибирск Зоя и Екатерина Степановна привезли с собой золота не более не менее, как на шестьсот тысяч рублей. Они решили так: в день приезда с золотом на полтора-два тысяч рублей в "Золотоскупку" пойдет сперва Зоя, затем с золотом еще на полтора-два тысяч — Екатерина Степановна. На другой день с золотом на остальные триста тысяч они тоже пойдут одна за другой. Зоя уже подозревала, что за ними следят. Своей квартирной хозяйке они внушили: если одна из них или обе в этот день не вернутся домой, ни в коем случае не сообщать в милицию, а дать знать в Якутск мужу Зои. Он придет и заберет вещи. А с ними и оставшееся золото на триста тысяч рублей.

Зоя в день приезда пошла с половиной золота, которое они решили сдать, в "Золотоскупку". Золото она сдала благополучно. Зоя рассказывала, что к ней подошел спекулянт, которому она успела передать талоны. Кажется, это был тот же иркутский спекулянт. Но когда она вышла на улицу, то почувствовала, что за ней следят. Ей навстречу попала знакомая женщина и заговорила с нею. Желая избавиться ее от неприятностей, Зоя попросила ее отойти. И действительно, едва та отошла, Зоя услышала за своей спиной нагоняющие ее мужские шаги и окрик:

— Гражданка, остановитесь на одну минуту!

Все было кончено.

Екатерина Степановна была в тот же день арестована не то на улице, не то в самом зале "Золотоскупки". У них еще было условлено: в случае ареста вне дома ни в коем случае не выдавать адреса квартиры, чтобы не пропало оставшееся золото на триста тысяч. Однако, несмотря на внушение хозяйке, когда они обе не вернулись в тот день ночевать, хозяйка впала в панику и сообщила в милицию. Таким образом пропала и остальная часть золота.

— Пустяки, — смеялись, рассказывая, и Зоя и Екатерина Степановна. — Деньги дело наживное! Были и будут, и еще гораздо больше.

Я пришла в восхищение. Не всякий капиталист так весело отнесется к пропаже шестисот тысяч!

Для Зои было важнее всего добиться, чтобы следствие и суд проходили не в Новосибирске, а в Якутске. В Якутске у нее была сестра, которая была замужем за прокурором, другой прокурор был ее двоюродным братом, а третий — тоже каким-то родственником. При такой обстановке и еще принимая во внимание, что пропавшее на шестьсот тысяч золото вовсе не составляло *всего* их наличного капитала, Зоя имела веские основания считать, что если они добьются того, чтобы их повезли судить в Якутск, удастся замять дело и добиться освобождения.

И они добились этого! Их повезли судить в Якутск. На иркутскую пересылку они и попали по дороге в Якутск. Здесь они ждали якутского конвоя, который должен был из Якутска приехать специально за ними, т.к. постоянных этапов на Якутск не было.

В среде бандиток Зоя была совершенно как укротительница в клетке с тиграми. На них, по-моему, действовала больше всего ее спокойная и презрительная уверенность, что они ее "не могут смочь" тронуть. В ней они видели тоже добытчицу материальных благ, как и они, но в неизмеримо более крупных масштабах (ей нравилось иногда их дразнить, когда "тигры" уж очень щелкали зубами), но добытчицу далеко не такими преступными способами.

В то время старост нам уже назначали, а не предоставляли выбирать, как раньше, и Зоя в один прекрасный день была назначена старостой. Какой сразу воцарился порядок в нашей

анархической камере! Никакого "куроченья", никаких получений порций не в очередь и с особыми привилегиями, никаких драк. Даже ругани стало меньше.

Как достигала этого Зоя? Она не кричала, как некоторые старосты. Она не грозила жалобами начальству. Этот относительный порядок как-будто сделался сам собой.

Почти каждый мой очерк о случайно встреченных мною в тюрьмах и пересылках русских женщинах я до сих пор заканчивала вопросом об их дальнейшей судьбе. Мне хотелось знать, сумели ли они починить порванную нить своей жизни. И особенно хотелось бы мне знать о дальнейшей судьбе Зои Жигалевой.

Она, несомненно, была незаурядной личностью. Как часто в последующие годы я ее вспоминала в лагерях, видя беспомощность старост, а иногда и бригадиров перед анархической вольницей урок, хулиганок и тех женщин, которые, зачастую сидя по 58-й статье и не принадлежа к преступному миру, бывают хуже и подлее многих блатных. Как часто в акмолинском лагере я думала под дикой вой, матерщину, анархию, кончавшуюся зачастую ранениями и даже убийствами — "Вот сюда бы Зою!". Одним своим присутствием, спокойным и насмешливым ответом на хулиганские выходки, она вносила порядок, организованность туда, где был дикий разгул.

Я говорила ей: "Зоя, в прежнее время в России или на Западе вы стали бы одним из крупных деятелей отечественной промышленности или торговли. А здесь вас считают нарушительницей закона, спекулянткой, т.е. врагом общества".

Никакого раскаяния или желания прекратить свою прерванную деятельность я у Зои не замечала. Наоборот, временная неудача и столкновение с советскими законами укрепили в ней дерзкий вызов и желание добиться успеха во что бы то ни стало, несмотря ни на какие препятствия.

Современный Торквемада

24 декабря 1957 г.

На иркутской пересылке среди многих необычных встреч, произошла самая потрясающая встреча в моей жизни. Раньше я

только читала о таких людях. При самом буйном полете фантазии я не могла и предполагать, что когда-нибудь встречу с таким человеком лицом к лицу.

Дело было так.

Одно время каждые десять дней прибывал с вечерним поездом на иркутскую пересылку небольшой этап каторжанок, человек в десять, направлявшихся на Колыму. Они проводили на пересылке одну ночь, и уже наутро, часов в одиннадцать, их уводили на вокзал и отправляли дальше, в первую очередь — в Хабаровск. Мне всегда было очень жаль, так как им не давали даже отдохнуть, заставляя проходить 18 километров с вокзала на пересылку и обратно в сутки.

Все они были русские женщины с Северного Кавказа. Обычно, попав в нашу огромную камеру, они сразу старались узнать, кто здесь политические, и им указывали на меня, как на единственную политическую "старожилку" пересылки. Они по очереди подходили ко мне знакомиться, и я от души жалела этих несчастных, по большей части интеллигентных русских женщин, участь которых была еще более тяжелой, чем моя.

В тот раз, о котором я хочу рассказать, опять прибыло десять каторжанок с Северного Кавказа. Все они были пожилые женщины, кроме одной двадцативосьмилетней. Как всегда, почти все они, опять-таки кроме одной, по две-три взбирались ко мне на нары, и, несмотря на усталость, разговорились со мной. Мы проговорили с этими бедными каторжанками недолгую летнюю ночь, сидя на моих верхних нарах у окна. Я обратила внимание на ту единственную из них, которая не подошла ко мне.

Интеллигентная на вид женщина типа дореволюционной сельской учительницы. Из прежних курсисток, она носила кофточку с мужским воротничком и мужской галстук, завязанный узлом. Темные с проседью волосы были довольно коротко подстрижены. Лицо скорее приятное, во всяком случае, не отталкивающее, обыкновенное лицо русской пожилой интеллигентной женщины.

Я обратила также внимание на то, что эта каторжанка, видимо, нервничала; дежурный несколько раз за ночь выпускал ее из камеры. Я спросила моих новых знакомых каторжанок, что это означает?

— О, она в каждой тюрьме и на каждой пересылке бегает к оперу с какими-нибудь требованиями и претензиями, — ответили они кратко и с явной антипатией к своей спутнице. Я больше не расспрашивала о ней.

Наутро бедные каторжанки уехали, тепло простившись со мной. Их угнетала мысль о далекой и страшной, занесенной снегами Колыме. Только они уехали, бытовичка Ольга Степановна сказала мне:

— Вы обратили внимание на ту нелюдимую каторжанку, которая одна расхаживала весь вечер по камере и что-то бормотала про себя? Она какой-то крупный человек по служебной линии. Не могу вспомнить, кто она такая, но помню, что несколько лет тому назад я видела ее портрет в газетах в связи с каким-то юбилеем. Она похожа на Крупскую, вы не находите? Я потому ее и запомнила.

Ровно через пятнадцать дней этот маленький этап каторжанок опять был доставлен на иркутскую пересылку, на этот раз на обратном пути с Востока на Запад.

Мы встретились, как старые знакомые. "Что это значит, как это случилось, что вас вернули?" — обрадованно спросила я.

— В Хабаровске нам устроили медицинскую комиссовку, потому что недавно был получен приказ не направлять на Колыму заключенных, у которых больное сердце или больные глаза, а у нас у всех десятерых оказалось и то и другое, — радостно ответила мне одна из каторжанок.

— Куда же вас теперь направляют?

— На станцию Черемисино, где-то недалеко от Омска. Подумайте, ведь это половина пути из России до Колымы. Оттуда легче списаться с родными, получать письма и посылки.

Разговаривая с каторжанками и близко познакомившись с ними, я потрясла острый интерес к той из них, которая ни в первый, ни во второй раз не познакомилась со мной. Не могу даже объяснить, почему я никого из них не спросила о ней, особенно после слов Ольги Степановны.

Наступил день отъезда каторжанок. За эти два-три дня отдыха они помылись, кое-что постирали и починили. Вдруг открывается дверь камеры и появляется один из ответдежурных, якут:

— Каторжанки, собирайтесь на этап. Через полчаса я приду за вами.

И тут, к моему удивлению, хмурая нелюдимка обратилась ко мне, начав рассказ о своей судьбе. Вокруг шли разговоры, раздавались восклицания и добрые пожелания на дорогу, так что наш разговор вначале не обратил на себя внимания. Но закончился он при потрясенном молчании всей огромной камеры, так что каждое наше слово было отчетливо слышно.

Нелюдимая каторжанка обратилась ко мне за сочувствием. В голосе ее была обида, видимо, накопившаяся в ее душе:

— Подумайте, мне дали пятнадцать лет каторги, а за что? Я — член ЦК партии. Если бы вы знали, какие у меня заслуги перед партией и советской властью, и меня, меня — послать на каторгу! Но я все время пишу в ЦК, пишу военным органам. Я добьюсь, чтобы меня реабилитировали!

Я искренне посочувствовала. Я могу посочувствовать и человеку из абсолютно чуждого мне мира, если он несправедливо обижен.

— Как же это произошло?

— Да видите ли, при отступлении наших из Кисловодска партийные органы оставили меня в городе для подпольной работы. У меня был племянник. Он и его жена выдали меня немецким властям, я была арестована и увезена для следствия в Познань.

“Какие мерзавцы этот племянник и его жена”, — подумала я.

— Там следствие продолжалось долго. Я много месяцев сидела у немцев в тюрьме. Они меня пытали — опускали ноги в ледяную воду, стараясь добиться показаний. На мое счастье, в это время шло уже наступление наших войск. Познань была взята и меня освободили.

Я вернулась в Кисловодск. На другое утро после приезда я пошла на базар за провизией. Меня увидел мой племянник и, представьте, на этот раз он сделал донос советским властям, что как это так я, член ЦК партии, уцелела у немцев и они не расправились со мной. Меня арестовали уже свои и обвинили в том, что я, наверно, выдала многое и многих немцам, ибо как могло случиться, чтоб они не расправились с таким человеком, как я. А немцы просто не успели.

Я выразила свое искреннее сочувствие незадачливому члену ЦК.

— А знаете, какие у меня заслуги перед партией, перед советской властью, кто я?

В это время как раз стали затихать разговоры вокруг нас и наступила мертвая тишина.

— Какие же у вас заслуги?

— Я двадцать один год, начиная с 1920 г., прослужила в органах ЧеКа, ГПУ и НКВД. Я была начальником ЧеКа, а затем ГПУ Кисловодска (может быть, она сказала даже Северного Кавказа, память мне изменяет) и затем работала в НКВД. В 1920 г. я по два раза в месяц являлась в ЧеКа и сразу выводила на расстрел по две-три тысяч человек.

Я отшатнулась. Я смотрела на эту пожилую женщину с лицом сельской учительницы или фельдшерицы из "левых". Никаких черт преступности на этом интеллигентном, скорее симпатичном женском лице.

Два раза в месяц... по две-три тысячи человек... "Вы знаете, какие у меня заслуги?" Так вот кто передо мной — современный Торквемада, овеванный кровавой славой Великий Инквизитор старой Испании!

Но женщина, женщина-чекистка! Я читала о таких садистках. Но все же масштабы были не те. Две-три тысячи человек по два раза в месяц... Какой кровавый ореол вокруг тебя, женщина "с большими заслугами"!

Я буквально онемела. Я была потрясена. Были потрясены и окружающие. В наступившей тишине я старалась взять себя в руки. "Я не могу ответить тебе тем же, исчадие ада, — мелькнуло у меня в голове, — но все-таки и я постараюсь поразить тебя, насколько могу".

— В таком случае, — сказала я в наступившей мертвой тишине, стараясь говорить как можно спокойнее, хотя сердце мое то колотилось, то замирало, — мое счастье, что я попала в руки НКВД в 1945 году, а не в руки ЧеКа, в ваши руки, в 1920-м, а то вы бы меня расстреляли в числе ваших тысяч. Я — белогвардейская журналистка из Харбина.

Она попятилась от меня. Так стояли мы в тишине друг против друга, две женщины, два мира. Она, наконец, собралась с

мыслями.

— Мы не могли тогда поступать иначе, — сказала она даже как бы извиняющимся тоном, — Советский Союз был окружен врагами.

В этот момент, может быть и на счастье, загрохотал замок, открылась дверь и появился ответдежурный:

— Каторжанки, выходите!

Кошмар сразу оборвался, наступила нормальная, обыденная жизнь. Каторжанки, все восемь человек, одна за другой подошли ко мне и мы поцеловались.

— До свиданья, — буркнула, проходя мимо меня, страшная начальница ЧеКа.

Я ей не ответила. Дверь захлопнулась.

Леди Макбет, вы, оттирающая преследующую вас кровь с ваших рук, снился ли вам когда-нибудь такой сон: эти тысячи и тысячи убитых женской рукой?

26 декабря 1957 г.

Во вторичный приезд в Иркутск на вокзале к нам присоединили нескольких женщин, в том числе маленькую, привлекательную на вид русскую женщину-блондинку лет сорока в японской оборонной одежде и хорошенькую девушку-полукровку, полуяпонку-полуевропейку, больше похожую на турчанку, с миндалевидными глазами и выющимися темными волосами.

Эти две женщины держались поодаль друг от друга и даже на пересылке заняли места на верхних нарах далеко одна от другой.

Молодая полукровка, Тамара Мори, мне рассказала, что она родом с южного Сахалина, служила там машинисткой в японской военной миссии. За это и арестована. В общем — обыкновенная история.

Маленькая русская женщина — блондинка тоже стала заговаривать со мной, и настолько приветливо что, несмотря на мое предубеждение против русских женщин, живущих с японцами или китайцами, не было оснований не отвечать ей. При первой же переключке я обратила внимание на совпадение фамилий: Марья Ивановна Мори и Тамара Мори. Я подумала, что между

ними есть родство, но так как они никогда не разговаривали между собой, то это могло быть просто случайное совпадение фамилий. Мори — очень распространенная фамилия в Японии.

И только недели через две-три после нашего знакомства Марья Ивановна Мори неожиданно и пугливо призналась, что Тамара — ее родная дочь.

— Так почему же вы держитесь так далеко друг от друга и никогда не разговариваете? — с удивлением спросила я.

— Да видите ли, мы узнали, что на пересылках, в частности, и на иркутской, стараются родственников, особенно близких родственников, отделять друг от друга и посылать в разные лагеря. Мы с Тамарой решили скрыть наше родство в надежде, что тогда мы скорее попадем в один лагерь, — ответила Марья Ивановна.

— Но ведь у вас одна и та же фамилия. И, вероятно, в ваших личных делах сказано, что вы — мать и дочь. Чем же вам поможет, что вы перед заключенными скрываете ваше родство, когда начальство об этом знает. Уж лучше положитесь на счастливый случай и на то, что вас обоих, как арестованных и осужденных в одной и той же местности, могут автоматически и дальше послать вместе.

Марью Ивановну убедила эта простая логика, и мать и дочь стали подходить друг к другу и разговаривать, а через несколько дней Тамара перебралась к матери.

Оказалось, что дед Марьи Ивановны был турок. Он попал в плен во время русско-турецкой войны за освобождение славян 1877-1878 годов, по окончании войны остался в России, где и женился. Не помню: то ли этот турок женился на еврейке, а их сын — на русской, то ли он женился на русской, а их сын — на еврейке. У светлой блондинки Марьи Ивановны с совершенно русским типом лица была турецкая, русская и еврейская кровь. У Тамары к этой смеси прибавилась половина японской крови. Как это часто бывает, Марья Ивановна считала себя русской.

Ее отец, сын пленного турка, отбывал воинскую повинность на северном Сахалине. Сахалин ему так понравился, что по окончании военной службы он остался на Сахалине, где женился и занялся торговлей. От этого брака и родилась Марья Ивановна. Вся ее жизнь прошла на Сахалине, с которого она в первый

раз выехала — в заключение.

Не помню, при жизни родителей, которых она потеряла в ранней молодости, или после их смерти, она вышла замуж за японца, школьного учителя с Южного Сахалина*, приехавшего по каким-то делам на русскую территорию в Северный Сахалин и познакомившегося с нею.

Этот брак, который по всем вероятностям, подобно почти всем таким смешанным бракам, должен был бы закончиться катастрофой, оказался одним из редких исключений. Муж Марьи Ивановны, школьный учитель, был, по ее словам, добрым, мягким человеком, прекрасным сельским хозяином, человеком с разнообразными интересами.

Он развел недалеко от русской границы Сахалина в тайге большое хозяйство, построил хороший дом, где они и поселились и где родились дети. Японские власти отвели этому пионеру-поселенцу большой участок, на котором у него позже на заимке работали десятки рабочих: лесорубов, огородников, скотников.

После смерти мужа Марьи Ивановны японская военная миссия незаконно отняла у вдовы половину ее участка. Было очень обидно, но пришлось с этим примириться. Миссия насильно заняла комнату в ее доме и не было возможности избавиться от непрошенных квартирантов.

Когда дочь Марьи Ивановны Тамара выросла и окончила после гимназии курсы машинописи, ее определили машинисткой в японскую военную миссию. Очень может быть, что это ей было просто приказано. Вообще судьба такой полурусской семьи, живущей около русской границы, была заранее predetermined.

— Однажды рано утром, — рассказывала Марья Ивановна, — я обходила свой участок, как я это часто делала. Я люблю встречать восход солнца в поле. И вдруг заметила не так далеко от дома неизвестного русского, очень измученного на вид, лежавшего в густой траве. Я догадалась, что это — советский разведчик, перебравшийся через границу.

* Как известно, Россия принуждена была уступить Японии Южный Сахалин в результате неудачной русско-японской войны 1904-05 годов.

Увидев русскую женщину, он стал просить не выдавать его японцам. Он просил меня накормить его, так как давно уже ничего не ел.

Я успокоила его, послала ему с Тamarой еды. А сама оделась и поехала в город, в японскую жандармерию, где заявила, что на моем участке скрывается подозрительный русский.

— Марья Ивановна как вы могли!.

— Нет, он остался жив. Я не могла не заявить: в случае его поимки на моем участке, мы погибли бы. Я только думала: кому заявить, полиции или жандармерии? Полиция его бы избила. Поэтому я заявила жандармерии.

Уверяю вас, что он остался жив и здоров. Я потом видела его в городе. Он работал шофером.

— Ничего не понимаю. Может быть, он сделал вид, что перешел на японскую службу, чтобы сохранить себе жизнь и попытаться бежать позже?

Вопрос этот так и остался открытым.

Вскоре после Марьи Ивановны на пересылку попала еще одна женщина с Сахалина, Марья Сергеевна Андрощенко. Она жила в том городе на Южном Сахалине, возле которого была заимка Марьи Ивановны, и ее судьба тоже оказалась связана с этим русским разведчиком.

Она подтвердила, что он после ареста остался жив и действительно работал в городе, перейдя на японскую службу. Более того, однажды к ней на квартиру явился представитель японской военной миссии и в принудительном порядке занял одну из ее комнат для каких-то русских. Русские оказались тем самым русским разведчиком и молодой женщиной с сыном. Кем они приходились бывшему разведчику, Марья Ивановна не знала.

Вскоре разведчик исчез и Марья Сергеевна, по ее словам, ничего о нем не знала, пока не началась японо-советская война, Япония не капитулировала и Южный Сахалин не был занят советскими войсками.

Тогда Марья Сергеевна, которая, по ее словам, была когда-то замужем за японским консулом на русском Дальнем Востоке и имела от него двух сыновей-полукровок, была арестована советскими властями по обвинению в выдаче японцам этого самого разведчика, а двое ее мальчиков, оставшиеся на произвол

судьбы, были отправлены куда-то в СССР в детдом. Теперь она их разыскивала.

Марья Сергеевна рассказала мне удивительную вещь. По ее словам, когда она попала в тюрьму в том же городе на Сахалине, то в уборной на стене увидела надпись, сделанную этим самым разведчиком. Он писал, что приговорен Военным Трибуналом к высшей мере по обвинению в переходе на службу к японцам, а перешел он только для разведывательных целей, и вот, на-днях будет безвинно казнен. Следовала его подпись и дата.

Марью Сергеевну Андрощенко увезли с иркутской пересылки раньше меня, но мне суждено было с нею встретиться в акмолинском лагере. Однажды она подошла ко мне по ту сторону вахты, которая всегда является единственным входом в зону. Я возвращалась из столовой и она подошла ко мне на несколько минут. Когда она отошла, ко мне быстро подошел один молодой земляк, Б.

— Мария Лазаревна, скажите, какие у вас отношения с Андрощенко? — торопясь, спросил он.

— Какие отношения? Да никакие. Я просто иногда разговариваю с нею как с "землячкой-дальневосточницей". А что?

— Я хотел вас предупредить. Будьте осторожны с нею, держитесь от нее подальше, она — стукачка.

Б., молодой человек лет 35, по своей предыдущей работе мог быть вполне компетентным в обнаружении стукачки, и я ему вполне поверила и приняла его предупреждения к сведению.

Через несколько лет я видала Андрощенко в Спасске, где она одно время работала в бане. В то время многие уже считали ее стукачкой. Вскоре наши пути совсем разошлись. У нее был, кажется, всего 8-летний срок и она как-то незаметно исчезла из лагеря. Что с нею было дальше, нашла ли она своих детей — не знаю.

9 января 1958 г.

Старосты сменялись у нас на иркутской пересылке очень часто, иногда через несколько дней. То они уходили на этап, то их снимали за какую-нибудь провинность. Кончилось дело тем, что опер, приходя, обычно с дежурными, к нам в камеру после отъ-

езда старосты, окидывал камеру начальственным взором и назначал старосту из числа женщин, которые, по его мнению, могли бы справиться с тюремной вольницей.

Но состав камеры день ото дня менялся. Иногда бывало сравнительно немного блатных, и тогда с камерой справиться было не так еще трудно. Но иногда их бывало много, и тогда, кроме уехавшей в Якутск Зои Жигалевой, никто с этой анархической вольницей не справился бы.

В один из таких светлых промежутков, когда камера была относительно сносной, но последнюю старосту в этот день взяли на этап, опер со своей свитой явился к нам в камеру. Женщины были в этот момент в большинстве новые, он их не знал и несколько беспомощно осматривался вокруг. Я сидела на краю верхних нар и с интересом наблюдала за процедурой назначения старосты, опасаясь, что опер назначит кого-нибудь неподходящего. Случайно наши взгляды встретились, и я указала ему глазами на стоявшую неподалеку молодую женщину. Меня поразило, что этой моей молчаливой рекомендации для опера оказалось совершенно достаточно, хотя до этого я с ним ни разу в жизни не разговаривала.

Опер сейчас же подошел к молодой женщине и, спросив ее только, не транзитная ли она, сказал:

— Вы будете старостой. — И дал ей несколько кратких указаний.

С этой молодой женщиной, кажется, растратчицей, я познакомилась незадолго до этого. Она казалась совсем молодой, лет 27-28, стройная, с хорошей фигурой, аккуратная, с миловидным и симпатичным лицом, со спокойными и сдержанными манерами.

Как же поразила она меня, когда рассказала, что она — мать двенадцати детей! Она вышла замуж очень рано, и было ей сейчас тридцать шесть лет, хотя по виду ей можно было дать на восемь-десять лет меньше.

Ее старший сын, грустный и хмурый мальчик шестнадцати лет, был тоже арестован и находился в мужской камере. Мать старалась встречаться с ним на прогулке и по-матерински подкармливать его из собственной пайки.

Не помню, где во время войны был муж этой молодой жен-

щины, остался ли он в живых, но во всяком случае, и двух их заработков и даже трех, с заработком сына, не могло хватить по военным ценам на прокормление четырнадцати ртов. Служебная растрата матери была неизбежна.

Она призналась мне, что мальчик — ее сын, но просила скрывать этот факт, боясь, что если начальство обратит внимание на их родство, их обязательно пошлют в разные лагеря.

Помню по иркутской пересылке также семью убийц: мать и двух дочерей, которые очень боялись быть разлученными. Но их разлучили при мне, послав на этап одну из дочерей. Я их не особенно жалела. Они были жуткие, мрачные женщины из тех немногих, которые, не будучи профессиональными преступницами, могли оказаться хуже многих блатных, как например, встреченная мною в читинской тюрьме Мария Располец.

На Сахалине в дореволюционное время начальство старалось, чтобы ссыльные обзаводились семьями, справедливо считая, что семейный человек не так легко опускается, как одинокий и тоскующий.

Был в 90-х годах случай, когда одновременно пришли два парохода: один с мужчинами, а другой с женщинами-ссыльными, и принимавшее их начальство предложило желающим тут же выбирать себе жен и мужей, выкликая по одному мужчину и женщину. Можно было пропустить нескольких и выбрать пригланувшегося. Как ни странно, из большинства этих скороспелых союзов вышли крепкие семьи.

Но уголовная политика современного тюремного начальства не такая. Теперь главное — *причинить заключенному как можно больше моральных страданий*.

— Нам нужна не ваша работа, нам нужны ваши мучения, — откровенно сказал в 1952 г. на полевых работах в спецлагере Спасск в Казахстане начальник КВЧ (Культурно-Воспитательная Часть) всего лагеря молодым каторжанкам и 25-летницам, пожаловавшимся ему на слишком трудные работы.

Правда, последствием этого неумного заявления была массовая истерика, как и тогда, когда, незадолго до этого случая, другой начальник, там же в поле, заявил тем же заключенным:

— Была бы моя воля, я бы вас всех расстрелял.

12 января 1958 г.

Я уже упоминала, что при мне на иркутской пересылке была очаровательно-красивая блатная — Вера Саюн. Впрочем, мне сразу сообщили, что это одно из ее имен и что по-настоящему ее зовут Машей и фамилия ее — другая. Я не сомневалась, что в своей жизни она побывала и Машей и Катей и Аней. Но я ее знала, как Веру Саюн.

Когда-то была очаровательная венгерская киноактриса Лиа де Путти, выступавшая позднее в голливудских немых картинах. Она была одной из самых красивых киноактрис в мире. Вера Саюн походила на Лию де Путти. Небольшого роста брюнетка, с точеными чертами матово-бледного лица, чуть-чуть с намеком на что-то монгольское, Вера Саюн издали показалась мне необыкновенно красивой.

Конечно, она была "красючка" и одевалась соответственно "шику" этой среды: ситцевое или другое бумажное платьишко, вызывающе, но ловко сидящее, изредка — кофточка из дешевого японского или китайского подкладочного шелка, привезенного какой-нибудь спекулянткой или солдатом с Дальнего Востока. И обязательные шевровые полусапожки — предмет зависти тех, у кого их не было.

У Веры Саюн была та же обезьянья или беличья неусидчивость, что у Таньки Барыни, и она целый день карабкалась вверх и вниз по нарам, но не шумела так, как Танька.

В ту пору была у нас в камере и совершенно сумасшедшая девушка, которая сначала просила называть ее Ирой, а потом — Аней. Она была бытовичкой, но не блатной, а за что она попала в тюрьму, выяснить было невозможно. Ира-Аня вела себя довольно спокойно, музыкально пела три старинных романса, из которых мне запомнился один: "Вернись, я все прошу!"

Гуляя взад-вперед по нашей огромной камере, Аня-Ира внезапно останавливалась, вперив глаза в пол, и могла так простоять молча часа два, с огромным вниманием разглядывая что-то впереди себя. Во время такого транса ее можно было сдвинуть с места только силой. Никакие уговоры не помогали. Поэтому другим приходилось ее обходить.

— Что вы видите, Аня, когда так останавливаетесь посреди

камеры? — спросила я ее однажды, когда транс кончился.

— Море, — ответила Аня-Ира.

В другое время она была довольно словоохотлива, но выяснить, кто она, чем занималась — не удавалось. Очевидно, она была из простой семьи, совершенно одинока и ее мечтой было — работать в бане.

Я от души возмущалась тем, что явно невменяемого человека осудили и держат в тюрьме. Аня-Ира была первой душевнобольной, которую я увидела в заключении. Впоследствии мне не раз приходилось сидеть вместе с душевнобольными людьми, пока венцом всего в этом отношении не явился лагерь Спасск под Карагандою с 60 душевнобольными заключенными, помещавшимися в трех психиатрических отделениях. Впрочем, нет, и это не венец: в Карлаге (Карагандинских лагерях) есть специальный лагерный участок Макатай, состоящий из одних психиатрических больниц, их пациентов и медицинской obsługi.

Вот этой-то Аней-Ирой и заинтересовалась Вера Саюн. Она себе сделала из сумасшедшей девушки полуподругу — полуигрушку. Вера вовлекала ее в разговоры, вызывала на реплики, которые вызывали хохот всех присутствующих. Иногда она плясала с нею. Тут и проявилось сценическое дарование Веры Саюн.

Не раз, переодевшись в свои и чужие тряпки, она разыгрывала с Аней-Ирой мимические сцены, и развеселившаяся душевнобольная хорошо подыгрывала ей.

Однажды наши девушки, ездившие на работу в лес, привезли с собой массу зеленых веток. Вера сделала какие-то фантастические костюмы себе и Ане, украсила их зелеными ветками, сплела венки и разыграла нечто вроде индейского танца. Ее мимика была так выразительна, движения так грациозны, порой превращаясь в гротеск, вызывавший общий смех, порой — очаровывая изяществом, что по окончании танца-пантомимы Веры с хорошо ей подыгрывавшей Аней, все зрители разразились бурными аплодисментами.

Я подошла к Вере Саюн и горячо похвалила ее танцы и особенно мимику. Я ей сказала, что, по-моему, у нее есть настоящий сценический талант.

Девушка расцвела. Я уже отмечала, что одной из наиболее

характерных черт профессиональных преступниц является *тщеславие*. Когда же они видят, что их хвалят искренно, от души, что в их жизни бывает так редко, между ними и их собеседником, пусть ненадолго, но все же устанавливается какой-то контакт, воспользовавшись которым можно попробовать поговорить с ними по душам.

Этот минутный контакт, впрочем, не помешает урке в тот же день ограбить вас, а если она убийца — то и убить. Вы же "фрайерша" — существо в заключении презираемое, бесправное, *существующее только для того, чтобы быть обираемой*, иначе говоря, вы в глазах преступного мира — *пария*.

Этим-то и отличаются современные развеселые урки обоего пола от какого-нибудь мрачного уголовного каторжанина дореволюционной эпохи. У того почти всегда было сознание совершенного греха, совершенного преступления; его зачастую мучила совесть. Народ это прекрасно выразил в предании о разбойничьем атамане Кудеяре и его двенадцати разбойниках. Кудеяр раскаялся, удалился в монастырь вместе со своими товарищами и стал иноком Питиримом.

Но можно ли себе представить Таньку-Барыню, обратившейся в монахиню? Или ту маленькую черненькую девчонку по прозвищу "Муха", с которой я жила в одной "секции" в Акмолинском лагере, и которая *хвалилась* тем, что задушила восемь человек? Нет, у этих современных молодых уголовных преступниц какая-то особая субстанция вместо души!

Последнее мое впечатление от Веры Саюн, через некоторое время увезенной на этап, было очень плохое. Она ночью разобрала стенку около печки, отделявшую нашу камеру от соседней мужской, и имела тут же, на верхних нарах, любовную встречу с одним из своих любовников, совершенно не стесняясь нашим присутствием.

19 января 1958 г.

... Поступило несколько новых женщин. Некоторые из них встретили в камере знакомых и стали, разговаривая, ходить с ними взад и вперед. К моему изумлению, я среди вновь поступивших увидела мужчину. Это был молодой парень, блондин в

мужском костюме с жидким, хриплым голосом урки и шумными, развязными манерами.

— Смотрите, к нам мужчину пустили! — с негодованием воскликнула я.

— Да это же не мужчина! — успокоили меня более опытные в тюремных делах соседки.

— Не хотите ли вы сказать, что это — женщина? — спросила я в изумлении, разглядывая со своих верхних нар шумного и хулиганистого парня.

Да нет, пожалуй что и не женщина.

Кто же это?

Это — кобёл.

Кто?

Кобёл.

А что это такое?

И тут мне объяснили, что это некрасивое слово — тюремное и лагерное обозначение партнера, представляющего мужскую сторону в лесбийской любви. О лесбийской любви я читала в судебной медицине, но только в тюрьме я своими глазами увидела довольно многочисленных носительниц этого порока. Почти все "коблы" и их подружки, которых я встречала в тюрьмах и лагерях, были воровками и бандитками.

Случается, что лесбиянка отказывается от своего порока и начинает жить с мужчиной, если условия общего лагеря таковы, что женщинам удается встречаться с мужчинами на работе: на лагерьной фабрике, на овощехранилище, на стройках или в поле. Тогда у отставленного "кобла" возникает лютая ревность и ненависть к "сопернику" — мужчине. Если оба они — бандиты, что обычно и бывает, дело легко может окончиться убийством.

Когда "коблы" очень хулиганят и настаивают на своей мужской сущности, начальство обычно грозит им отправкой в мужскую зону. Эта страшная для них угроза сразу действует отрезвляюще, потому что им там сразу бы доказали, что они — женщины. "Коблы" люто ненавидят мужчин, а мужчины презирают их и насмеваются над ними.

"Коблы" почти никогда не работают, поэтому всегда одеты щеголевато. На них никогда нет ни одной принадлежности женской одежды. Волосы острижены коротко, по-мужски, сделан тща-

тельный пробор и волосы смазаны бриллиантином или напомажены. Сапожки всегда начищены до блеска. Рубашка — мужская, часто, с галстуком, летом — апашка. Мужской костюм. Голос, как у почти всех урок, низкий и хриплый, искусственно еще снижаемый. Походка, ухватки — лихого парня.

Их подруги за ними ухаживают, как за "мужиками". Трудно представить себе, чтобы "кобёл" стал варить себе на плите, тогда как рядом, в мужской зоне, это естественно и часто умело делают сотни и тысячи настоящих мужчин, так же как они стирают свое белье и чинят его, нисколько не теряя при этом своего мужского достоинства.

"Кобёл" ничего этого никогда не делает. Ему какими-то таинственными нормами и обычаями преступного права этого делать "не положено". "Кобёл" сидит, как турецкий паша, пока его одалиска готовит ему еду (сверх лагерного питания, разумеется), стирает белье, что в лагере является первой обязанностью подруги в отношении "мужика", починяет его вещи и даже иногда, как я это видела в Акмолинске у одной пары, носившей прозвища "Дед" и "Марго" — моет "ему" ноги. А "он" позволяет себя обожать, добывает кражами, а порой и путем ограбления и вымогательства деньги для них обоих, иногда — тренькает на гитаре.

6 февраля 1958 г.

Я, кажется, до сих пор не упоминала, что наша огромная камера кишела клопами. В разгаре лета дошло до того, что никто не мог спать на нарах, даже на верхних, возле открытых окон.

Поэтому вечером, после поверки, внезапно начиналось бурное движение по камере: все захватывали места на полу. Мест для ста двадцати пяти человек еле хватало, и то тут, то там во время укладывания вспыхивали драки. Никогда не забуду, как две седые женщины, неблатные, одна из них — бывшая учительница, вцепившись в волоса друг другу, дрались из-за места на тюремном полу...

Когда все так или иначе укладывались, пройти по камере, не наступив ни на чьи руки, ноги или даже голову, было мудрено — на огромном полу лежало сплошное человеческое месиво.

Я, глядя сверху на эту ежевечернюю "физкультуру", с пер-

вого же вечера предпочла клопов, и оставалась одна на своем месте у окна. Помню ночь, когда я со своей подушки сняла пятьдесят клопов. У меня в тот раз хватило терпения произвести им подсчет.

Я как-то разговорилась с бывшей учительницей, которая дралась из-за места на полу. Она была нервной, издерганной женщиной. Свою учительскую профессию она оставила или вынуждена была оставить давно, и в последнее время перед арестом очень нуждалась и служила сторожихой на водокачке.

Сидела она по мелкому бытовому делу и все беспокоилась о судьбе своей дочки, оставшейся без матери.

А как зовут вашу дочку? — спросила я.

Идея.

Как?

— Идея. Дома мы ее звали Идой. Как я рада, что хоть одно успела сделать, о чем меня так давно и настойчиво просила Идочка — крестить ее.

Очевидно, мать Идеи ко времени рождения дочки была ультраояльна, если она ни в чем неповинному младенцу дала имя из того заветного рекомендованного списка, который должен был, по мнению его составителей, заменить святцы. Должен был. Но одна из величайших сил на свете — быт — повернул жизнь по-своему и теперь, спустя каких-нибудь 25 лет, вы едва ли найдете мать, которая назовет дочь Идеей или комбинацией из Труда и Науки.

Девочке было четырнадцать лет, когда она стала неотступно просить мать крестить ее. Откуда явилась у Идеи эта идея? Мать этого не знала.

— Как же я рада теперь, что я успела это сделать, крестила дочку, — не уставала повторять мать.

— Какое же имя вы с дочерью выбрали?

— Она стала Лидией. Сокращенно-Лида, похожа на Иду, не пришлось называться непривычным именем.

— И вот, когда я согласилась крестить дочку, и мы поговорили со священником, был, наконец, назначен день крещения. Церковь была почти пуста, кроме нас и причта зашли только две какие-то незнакомые девочки Лидиных лет. Когда обряд был за-

кончен и священник и я поздравили Лиду, подошли к ней и обе незнакомые девочки, поцеловали и поздравили, а потом обратились к священнику с горячей просьбой: крестить и их.

— А у вас, девочки есть разрешение от родителей? — спросил священник.

— Нет, что вы, у нас родители такие, что никогда не разрешат...

Наверное, кому-то не раз придется вспомнить слова: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской".

М. Шапиро

Новое Русское Слово

ЕДИНСТВЕННАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ РУССКАЯ ГАЗЕТА ЗА РУБЕЖОМ

75-й год издания. Выходит 6 раз в неделю в Нью-Йорке

Главный редактор: АНДРЕЙ СЕДЫХ

Свыше 200 сотрудников во всех странах мира. В Новом Русском Слове печатают свои произведения виднейшие эмигрантские писатели, поэты и публицисты.

Полная информация о жизни эмиграции.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: Воскресное и ежедневное издание:

один год — 90 амер. долларов

6 месяцев — 50 амер. доллара

Воскресное издание только:

один год — 35 амер. долларов

Подписку и объявления направлять по адресу:

NOVOE RUSSKOYE SLOVO

461 8th Avenue — New York, 10001, N.Y., USA.

ЕКАТЕРИНА ГЕЛЬЦЕР

Имя замечательной балерины Екатерины Васильевны Гельцер всегда было окружено легендами. В середине тридцатых годов она уже не выступала на сцене Большого театра, но не прекратила своей артистической деятельности. Ее появление на концертной эстраде неизменно вызывало огромный интерес. Прекрасно составленная концертная программа Гельцер демонстрировала разнообразие ее дарования, артистизм, неподражаемое мастерство. Она великолепно исполняла сложнейшие виртуозные танцы, была "вполне технична", способна крутить фуэтэ через всю сцену, делать воздушные туры, демонстрировать сиссонн, сотэ, рон де жамб, кабриоли, баллон и другие сложные па. Это вызывало бурное восхищение публики, ее награждали бурей рукоплесканий.

Она была исключительно чувствительна к музыке, к душевным движениям мелодии. Музыка вовсе не была для Гельцер фоном, она сливалась с музыкой, ее танец становился мелодией. Помню, в 1932 г. я видел выступление Гельцер в концертном зале. Хотя тогда мне было трудно разбираться в тонкостях балетного искусства, я не мог скрыть своего явного восхищения.

Балетоманы посвятили меня в закулисные сплетни вокруг Гельцер. Говорили, что в ее квартире есть бассейн для плавания — это казалось в советских условиях почти невероятным. Рассказывали о ее сказочной коллекции картин. Перечисляли "любовников", в основном, скрипачей.

Гельцер стала концерттировать уже в молодые годы. Вот имена некоторых скрипачей, которые ее сопровождали. Прежде всего, Ефрем Цимбалист; его Гельцер звала Фросей. Когда Ефрем Цимбалист прибыл в 1934 г. в Москву на гастроли, Гельцер посещала все его концерты и сидела в первом ряду. Среди вещей на "бис" Цимбалист неизменно играл "Умиряющего Лебедя"

Сен-Санса. Гельцер подносила к глазам платок, вытирала слезы. Цимбалист играл "Лебеда" с большим проникновением, удивительно пластично.

Партнером Гельцер были скрипач Даниил Карпиловский. Говорили, что Карпиловский был мужем Гельцер. Верно ли это, не знаю. Имя Карпиловского стало позже запретным, так как он оказался невозвращенцем после заграничных гастролей. Его имя не поместили в советские энциклопедические справочники, вычеркнули из книг и журналов. А ведь Карпиловский был весьма заметной фигурой музыкальной Москвы. С 1922 до 1924 год он возглавлял струнный квартет имени Страдивариуса, а с 1924 г. — струнный квартет музыкальной студии Московского Художественного театра. Говорили, что восторженным почитателем Карпиловского был Станиславский.

Среди партнеров Екатерины Гельцер был и молодой Давид Ойстрах. Переехав из Одессы в Москву, Ойстрах стал выступать с сольными концертами. Но не отказывался от приглашения Гельцер сопровождать ее в концертах. Однажды, встретив меня на улице, он сказал: "Миша, хочу тебе предложить концертную поездку. Екатерина Васильевна Гельцер отправляется на гастроли. Я часто выступаю с нею, но сейчас не могу, у меня много своих сольных концертов. Я подумал, что ты мог бы меня заменить. В концертах Гельцер надо играть не только балетные соло или "Умиряющего лебеда". Пока она переодевается и готовится для следующего выступления, надо играть солидные скрипичные произведения. Гельцер не любит дешевой музыки".

Встретились мы с Ойстрахом, кстати, в двух шагах от дома, где жила Гельцер, вблизи Консерватории. Я не стал долго раздумывать и сразу согласился. Ойстрах, правда, немного охладил мой пыл, заметив: "Мое личное мнение еще не решает проблемы, тебе надо лично познакомиться с Гельцер". У меня было немного свободного времени и скрипка в руках.

Так Ойстрах привел меня к Екатерине Васильевне Гельцер. Снаружи дом, в котором она жила, выглядел ультрасовременным, конструктивистской архитектуры. Но войдя в квартиру Гельцер, я попал в старинную музейную обстановку. На стенах были развешаны драгоценнейшие подлинники. Мои глаза разбежались. Ойстрах заметил: "Еще успеешь наглядеться, сейчас ты

будешь держать строгий экзамен”.

Он представил меня Гельцер, но не сказал, сколько мне лет. Я выглядел значительно старше, и это вводило в заблуждение. Ойстрах предложил мне сыграть Баха. Пока я играл “Чакону”, Гельцер слушала с напряженным вниманием. После заключительной ноты воцарилось молчание. Спустя несколько минут Гельцер стала вспоминать, чьи исполнения “Чаконы” она слышала. Вспомнила Леопольда Ауэра, Александра Могилевского, многих других. Гельцер не любила, когда эту вещь исполняли на рояле — даже в переложении Брамса или Бузони. Помню ее слова: “Чакону” надо играть, в чем мама родила, наряжать ее в костюмы с чужого плеча не следует”.

Я Гельцер понравился, она назвала меня “серьезным и вдумчивым музыкантом”, так что моя поездка с нею была решена. Мы перешли к обсуждению репертуара. Остановились на “Весенней” сонате Бетховена, которую Гельцер особенно любила. Еще ей хотелось что-либо из произведений Чайковского. Она тут же напомнила, что ее отец был в дружбе с Чайковским и написал, совместно с Бегичевым, либретто для “Лебединого озера”.

Мне предстояло срочно разучить “Лебедя” Сен-Санса и адажио из балета “Сильфида”, принадлежавшего перу малоизвестного композитора Ж. Шнейцхоффера. Постановка “Сильфиды” Тихомировым в 1925 г. была приурочена к столетию празднования юбилея Большого театра. Сильфиду танцевала Гельцер...

Прощаясь, Гельцер сказала мне и Ойстраху: “До скорой встречи, уважаемые господа!”. Почему не “товарищи”? Ведь в советском обиходном разговоре было принято говорить “товарищи”. В первый раз я решил, что это было сказано случайно. Но при наших следующих встречах Гельцер то и дело говорила: “Так, господа, не пойдет!”, “Господин Луначарский мне сказал”, “Господа, все уже в сборе” и т.п. Я как-то решился и спросил у Гельцер, почему она обращается по-дореволюционному. Последовал ответ: “У меня язык не поворачивается произнести слово “товарищ”, не всякий уважаемый гражданин имеет право на эту кличку”. Словом, гусь свинье не товарищ.

На следующий день я уже знал балетные скрипичные соло наизусть. Началась репетиция. Гельцер просила, чтобы я внима-

тельно смотрел за каждым движением ее ноги. Все ее движения были оправданы, или, как она сказала, "должны выражать сюжетную линию". Тут она припомнила Анну Павлову, которую искренне любила и хорошо знала: "У Павловой не было бессмысленных движений. Каждый ее жест, движение рук и ног, поворот головы, выражение лица, все было гармонически связано, это была настоящая музыка танца".

Следовать за движениями Гельцер было не так просто. Ведь существует мелодическая фразировка, наконец, "дыхание смычка". Но, присмотревшись внимательно, я обнаружил, что движения Гельцер напоминают жесты дирижера. Помню, я рассказал своему консерваторскому педагогу, дирижеру Константину Сараджеву о своем впечатлении от репетиции с Гельцер. Он удивленно посмотрел на меня и сказал: "А ты считаешь, что Гельцер только ногами думает? Нет, она большой музыкант в танце, все у нее очень мелодично".

Между прочим, Сараджев заметил, что быть дирижером в балетном спектакле не так то просто. Теперь я вполне понимаю лестные отзывы балерин о таком великолепном дирижере, каким был Юрий Федорович Файер. Файер частенько заглядывал к Гельцер, по поводу и без повода, там я с ним и познакомился.

Мои репетиции с Гельцер проходили довольно успешно. По своему характеру Гельцер была удивительно общительной, но в то же время и замкнутой. Она то веряла разнообразные тайны, часто довольно интимного характера, а то могла ошарашить собеседника полнейшим молчанием и всяческими знаками нежелания продолжать беседу. Гельцер была человеком настроения.

Одним из ее серьезнейших увлечений было собирание картин известных русских художников. Не случайно ее квартиру называли филиалом Третьяковской галлерей. Едва мы закончили репетицию, вошла камеристка по имени Глафира. Как-то раз я назвал ее Глашей, но она меня поправила и просила впредь называть Глафирой. Глафира сообщила, что явилась дама с Левитаном на продажу. Гельцер с видом знатока (не сомневаюсь, что она и была знатоком) стала рассматривать картину. Что-то ее, однако, смущало. Женщина стала уверять, что это — подлинник, даже подпись есть. Было и удостоверение брата художника,

Адольфа Ильича Левитана. Удостоверение вызвало у Гельцер только раздражение: "Адольф Ильич готов любые подражания признать картинами своего знаменитого брата". Вскоре явилась сестра Гельцер, Вера Васильевна, жившая поблизости. Мнение сестры было восторженным, она в подлинности картины не сомневалась. Но еще через полчаса прибыл Игорь Эммануилович Грабарь. Его приговор был категоричен: "Это даже не Кувшинникова написала, типичный фальшак". Полюбовавшись Нестеровым, Грабарь перешел на общие темы. Шутливо сказал хозяйке: "Люблю, когда балерина не стоит на одном месте, когда она в "перепетуум мобиле". Не стану делать вам комплименты, но готов поручиться, что вы — подлинная Гельцер, безо всякой подделки"...

Настал день гастрольной поездки. К Гельцер прикрепили персонального администратора, Семена Владимировича Халамова. Внешне он был невзрачным, одевался неряшливо, но обладал фонтаном красноречия и был мастером по организации концертов. Впрочем, имя Гельцер в рекламе не нуждалось. Лишь только в каком-нибудь городе разносился слух о ее концерте, билеты раскупали, не дожидаясь появления афиш. В тот раз предстояла поездка по городам Волги. Войдя в вагон 2-го класса, я уже собирался разложить свои вещи, но тут явилась Гельцер и пригласила в свой "международный" вагон. В ее купэ сидели пианист и партнер. Начался разговор. Голос Гельцер имел "басовитый" оттенок и сперва казался суровым.

Она заговорила об Анне Павловой. "Нынче все танцуют на один манер, как обезьяны подражают друг другу, да еще боятся копировать неточно. Говорят, что копируют Анну Павлову, хотя ее и в глаза не видали. Кто-то им сказал, что именно такие движения были у Павловой. И верят на слово. А ведь Анна Павлова была разная в одних и тех же танцах, она не любила повторяться". На вопрос Гельцер, почему Павлова не фиксирует своих танцевальных движений, та ответила: "Танец — это творчество, а не одна голая техника. Каждое движение, пусть и ранее предусмотренное, должно соответствовать нахлынувшему чувству, должно быть естественным. Надо, чтобы в танце участвовали не только ноги и руки, но и мимика лица, даже выражение глаз".

Зашел разговор об "Умирающем лебеде" Сен-Санса, кото-

рый Михаил Фокин поставил для Анны Павловой. "Фокин ставил этот танец не для меня — сказала Гельцер. — Идея "умирающего лебедя" мне очень нравилась, но я советовалась с Горским и он нашел другое решение". Она вспомнила свою беседу с Михаилом Фокиным в Париже, куда его пригласили ставить танцы для Гранд Опера: "Еще недавно он сам выступал с Верочкой, своей женой (последнее выступление в 1933 в Канаде — М.Г.), но решил теперь больше не конкурировать со своими учениками. Их у него много, и танцуют они великолепно. Сына своего, Виталия, Фокин тоже сделал отличным танцовщиком. Помню, Фокин, мне сказал, что нельзя выходить на сцену преждевременно умирающим лебедем, надо дать ему возможность немного насладиться жизнью".

Хотя мы и говорили на разные темы, но разговор неизменно возвращался к "Умирающему лебедю" Сен-Санса. Гельцер рассказала нам комическую историю одной балерины: "Для исполнения "Лебедя" всегда нужна соответствующая обстановка — озеро необязательно, игра лучей прожектора тоже может создать нужное настроение. Мне приходилось исполнять "Лебедя" на открытом воздухе безо всякого занавеса. Умереть легко, а как публика встретит неожиданное воскрешение из мертвых? Одна балерина и предложила, чтобы ее вынесли со сцены якобы мертвой. Концерт проходил недалеко от больницы. Администратор решил нанять двух санитаров. По окончании танца они явились на сцену и уложили балерину на носилки. Когда же балерина выбежала на сцену для поклона, санитары ее нагнали и насильно опять уложили на носилки. Зрительный зал был в неопишемом восторге.

Гельцер была высокого мнения о хореографических композициях Фокина: "У нас все по-старинке повторяют, боятся придумать что-то новое, даже этим гордятся. Вот бы нам на несколько месяцев Фокина, сразу бы все преобразилось!". Фокин, однако, не хотел и слышать о приглашении в Москву. С ним не раз говорили советские дипломаты, но он отвергал самые лестные предложения. В лучшем случае, предлагал посылать к нему наиболее талантливых балерин для усовершенствования. Спрашивал о судьбе брата Тамары Платоновны Карсавиной, известного философа, репрессированного в СССР. Фокин был учени-

ком их отца, знаменитого в свое время педагога и танцовщика Платона Карсавина...

Мой первый концерт с Гельцер проходил в здании оперного театра в Саратове. Все билеты были проданы, даже у барышников все откупили. Охранял вход в театр целый наряд милиции. Первым номером Гельцер исполнила адажио из балета "Сильфида". Особенно замечательным был у нее арабеск, когда одна нога поднималась и долго застывала без движения. Гельцер вошла в образ, успех был огромный. Гельцер вывела меня на сцену и поцеловала. Затем она исполнила "Вакханалию" Сен-Санса, дуэт из балета "Дон-Кихот" Минкуса со сложнейшими вариациями, "русскую пляску" из балета Ц. Пуни "Конек-горбунок", танец Никии из "Баядерки", "Вальс-каприз" на музыку А. Рубинштейна. И, конечно, "Умиряющего лебедя". Выходя на бесчисленные поклоны, она поражала своей энергией.

После концерта было приглашение на торжественный ужин в ресторане. Целый день перед концертом Гельцер не съела ничего, кроме двух-трех гренок, поджаренных с яйцом. Но и теперь, после концерта, когда вроде бы можно было себе позволить попить, Гельцер ела исключительно мало. В обществе Гельцер была исключительно общительна, рассказывала много интересного. О политике говорить боялась, но охотно рассказывала о своих встречах со знаменитостями. Когда ей в очередной раз задавали вопрос, почему Федор Иванович Шаляпин не возвращается на родину, она предлагала спросить у него лично: "Он жив и здоров, много поет, имеет огромный успех, никто его не притесняет".

Часто на таких вечеринках после концертов собирались давние поклонники таланта Гельцер. Начинались воспоминания о ее выступлениях до переворота 1917 года. Как-то зашел разговор о ее первом выступлении в Петербурге на Мариинской сцене.

Хотя Гельцер и чистокровная москвичка, ее первое выступление состоялось в Петербурге, в 1896 году. Ее отец, Василий Федорович Гельцер, родился в 1841 г., учился у Монтасю, брал уроки актерского мастерства у самого Щепкина. И с 1856 г. уже был балетным солистом Большого театра. В. Ф.

Гельцер, как уже говорилось, был в тесной дружбе с Чайковским и составил либретто для "Лебединого озера". По просьбе Чайковского он поставил танцы для первого исполнения "Евгения Онегина". Екатерина Васильевна Гельцер хорошо помнила Чайковского, как он брал ее на руки. Отец, смеясь, говорил Чайковскому, что *пока* ее берут на руки, а *потом* она сама возьмет кого-нибудь в руки.

Отец рассказывал ей, что первую постановку "Лебединого озера" в Москве испортил постановщик Рейзингер, балет не имел успеха и мог быть обречен на забвение. Но "Лебединым озером" заинтересовался Мариус Петипа и совместно со своим ближайшим сотрудником, балетмейстером Львом Ивановичем Ивановым перекроил по своему усмотрению. В таком виде балет был показан в Мариинском театре в начале 1895 г. Чайковскому уже не было в живых и дирижер Дриго убрал "лишнюю" музыку, дописав что-то свое.

Дриго, по происхождению итальянец, вполне прижился в Петербурге и стал знаменитым автором музыки балетов, среди которых — "Арлекиада" (со знаменитой серенадой). Чайковский высоко ценил Дриго и доверял его вкусу. Так, он одобрил постановку "Спящей красавицы" в 1890 в Петербурге, согласившись с предложениями Петипа и Дриго. Приступая к перелицовке "Лебединого озера", Дриго пользовался советами брата композитора, Модеста Ильича Чайковского. Октябрьский переворот Дриго встретил болезненно. Особенно ему досаждал глава Петрограда Зиновьев.

В ноябре 1919 г. Ричард Евгеньевич Дриго поставил на сцене бывшего Мариинского театра свой балет "Роман бутона розы". Балетмейстером был Александр Чекрыгин. Пролетариат получил к 2-летию своей победы подарок вполне в духе царского времени — ни тебе революционной мистерии, ни танцев с наганом. В 1920 году Дриго уехал в Италию. Там он написал оперу "Белая гвоздика" по новелле А. Додэ и ее в 1929 г. успешно исполнили в Падуе. Гельцер, будучи за границей, не раз встречалась с Дриго и находила, что он еще полон энергии и выглядит превосходно. Дриго называл октябрьский переворот "трагическим спектаклем". Гельцер запомнила слова Дриго: "Настоящая Россия переехала на Запад, я ее очень люблю, а к варварам

не питаю никакой симпатии". Гельцер рассказывала о Дриго довольно умно, преподносила все так, что можно было подумать, что она осуждает Дриго. Но это был лишь ловкий ход.

Да и о себе Гельцер всегда говорила очень осторожно. Но помню ее слова: "Если бы не моя квартира и картины, я бы жила в другой стране". Гельцер заманивали в Германию лестными предложениями, напоминая и о немецком происхождении. Но она понимала, что в разоренной Германии ей трудно будет найти свое место. В годы войны Гельцер заняла антигерманскую позицию, как и многие русские немцы. Тогда она исполняла на музыку военного марша танец "Гений Бельгии", той самой Бельгии, которая была оккупирована немцами. После 1917 г., по предложению Луначарского, танец переименовали в "Марш свободы", хотя ни одно па в нем не изменилось. Когда Гельцер предложили танцевать в красноармейском шлеме, она предпочла больше не исполнять этот танец.

Гельцер вспоминала о своих частых встречах с Луначарским: "Он умел очаровывать женщин и проявлял себя настоящим рыцарем". Луначарский всячески старался создать для нее наиболее благоприятные условия. Однажды он представил Гельцер самому Ленину. Гельцер вспоминала об этом очень осторожно, чувствовалось, что она кое-что скрывает. У Ленина были претензии к репертуару Большого театра. Он сказал, что в Петрограде смелее откликаются на призыв о создании новых произведений, отражающих революционную тематику. А Большой театр и его главный балетмейстер Горский предлагают пролетарскому зрителю "Шелкунчика" Чайковского!

В 1921 г. в Москве торжественно отпраздновали 25-летие сценической деятельности Е.В. Гельцер. Особенно старался Луначарский. В своей речи он сказал, что Гельцер является носительницей "удивительных традиций русского балетного искусства, его огромного мастерства".

Говорят, что Гельцер однажды спросили, что она понимает под словом *советский* балет? Гельцер ответила: "Это когда танцуют, как при батюшке царе". Московский балет вообще был более консервативным, чем питерский, где в начале нынешнего века зародилось новое течение и развернулся талант Фокина. Впрочем, сама Гельцер не одобряла московской косности. Это

можно было заключить по ее восторженным отзывам о Дягилеве, Фокине, Борисе Кохно, Джордже Баланчине (Георгие Мелитоновиче Баланчивадзе). Высоко ценила Гельцер Федора Васильевича Лопухова. Его идеи носили авангардный характер, но ему дали "обухом по голове" за постановку балета Д. Шостаковича "Светлый ручей". Прогуливаясь с Шостаковичем по Брюсовском переулку, мы случайно встретили Гельцер. Она начала свой разговор такими словами: "Запомните, что я говорю. Со временем вас признают лучшим современным композитором для балета". Гельцер похвалила и оперу "Леди Макбет".

Гельцер высоко ценила Михаила Михайловича Мордкина, который одно время был ее партнером. Мордкин учился у Василия Дмитриевича Тихомирова. В 1909 участвовал в Русском Сезоне Дягилева в Париже. Был партнером Анны Павловой. Позже он создал свою балетную труппу "Звезды императорского балета" и гастролировал с нею в США. Успех имел огромный. Перед войной вернулся на родину. В 1914 создал в Москве собственную балетную студию.

После октябрьского переворота ему поручили организовать балетный театр имени "РСДРП". Вероятно, Мордкин не понимал даже значения букв РСДРП, как утверждала Гельцер. Когда Мордкин почувствовал, в 1918 г., что ему основательно отравляют жизнь, он поспешил на Украину, оставив на произвол судьбы балетную труппу. С Украины он отправился на Кавказ, потом в Литву. В 1924 г. Мордкин обосновался в США, где организовал собственную балетную труппу.

Гельцер сохраняла дружеские отношения с Мордкиным. Он не раз звал ее к себе в США. Гельцер рассказывала о Мордкине немало анекдотов. Однажды Мордкин сказал Гельцер, что всю ночь играл в карты с Лениным. Гельцер усомнилась. Но Мордкин клялся, что не врет и сильно расхваливал Ленина. Вскоре выяснилось, что речь шла об актере Малого театра Михаиле Францевиче Ленине. (Настоящая фамилия актера — Игнатюк). Гельцер хорошо знала М.Ф. Ленина, называла его ласкательно — "Францик". Гельцер была в дружбе и с Иваном Михайловичем Москвиным. Если не ошибаюсь, даже в родственных отношениях.

В характере Гельцер было немало озорства. Так, она могла

иной раз произнести многоэтажное ругательство, если была чем-либо недовольна. Непрочь была побравировать неприличными словами.

После концертов Гельцер, когда собирались в ресторане на ужин, к ней не раз подходили с курьезными предложениями. Помню, подошел к Гельцер какой-то парень и стал настойчиво приглашать сплясать с ним танго. Когда Гельцер заявила, что модные танцы не танцует, он сказал: "Я тебя научу". Гельцер встала и пошла с ним танцевать. Оркестр неожиданно грянул русскую пляску, кажется, "барыню". Парень пустился в лихой пляс, и Гельцер по-своему "откалывала коленца". Все повскакали с мест. По окончании пляски раздались бурные аплодисменты. На следующий день парень узнал, что танцевал с самой Гельцер. Он был явно смущен и явился к Гельцер с огромным букетом цветов, бесконечно извинялся за нахальство. Гельцер ему сказала: "У тебя способности, учишься по-настоящему танцевать. Мне твоя русская пляска понравилась. Кое-что я обязательно использую".

В московском ресторане к Гельцер подошел Маяковский и пригласил на танец. Сидевший с Гельцер приятель, знаменитый актер из Малого, сказал Маяковскому: "Кто ее ужинает, тот и танцует". Избитая фраза из старого анекдота. Но Маяковский не растерялся: "Не вижу, чтобы ты ее хорошо "ужинал", поэтому беру заботы на себя. Учись!"

Гельцер очень любила драматический театр. Помню ее каламбур после закрытия одного из московских театров: "Нынче у нас пошел режим экономии, сливают два театра в один. Обещают слить Малый с Художественным". Мы слушали с полной серьезностью. Она с улыбкой добавила: "Даже название придумали. Это будет Малохудожественный театр".

Меня поражала работоспособность Гельцер. Она умела тренироваться в любых условиях. Трудно было поверить, что Гельцер шестьдесят, она казалась не старше 35 лет. Она с легкостью исполняла сложнейшие виртуозные вариации. А сколько поэзии было в ее танце!

Я не раз спрашивал у Гельцер, почему бы ей не передать свой опыт молодому поколению. "К преподаванию меня не допустят, — отвечала она. — Теперь главное — идеологическое

воспитание. А мне бы хотелось, чтобы балерина целиком и полностью пожертвовала себя искусству танца”.

Гельцер не раз мне говорила, что ведет дневник и пишет воспоминания. А в 1937 году Гельцер сказала, что занята уничтожением некоторой части своего архива. Она была в переписке с “врагами народа”, репрессированными деятелями культуры, государственными деятелями. Да еще у нее была обширная переписка с эмигрантами. Окружавшие ее старухи, которых она содержала, постоянно пугали ее всевозможными страхами. Гельцер была удивлена, что я спокойно отношусь к этим страхам. Но тут же заметила, что помогает семьям репрессированных, да еще, тайно от старух, отправляет передачи арестованным... Думается, Гельцер повезло, она умерла в своей постели, но много интересных тайн скрывается в жизни этой легендарной балерины.

М. Гольдштейн

ПЕРВОГО ИЮНЯ НА ЛАХТЕ

(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ)

Тот край, где я родился, прожил первые девять лет своей жизни, а затем вернулся из места ссылки моих родителей уже почти взрослым, в пятнадцать лет, описан Пушкиным

По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.

И мшистый берег, и топкие болота остались. Северный берег Финского залива от Петрограда на Запад покрыт лесами. В низинах — болота, там на тонких ножках созревает к осени яркокрасная клюква. На пригорках у сосен гнездится низкорослая, с блестящими жесткими листками темнокрасная брусника. И повсюду, до самого края болот, — неприхотливая мелкая, сладкая российская черника. Если знать места, в приморские финские леса можно ходить и по грибы.

На станции Лахта, я помню, к поездам выходили торговки с десятком белых грибов в деревянном лукошке.

Лахта отстоит от Старой Деревни, окраины Петрограда, всего на несколько верст. От Старой Деревни Лахта отделена обширным и топким, покрытым низкорослым кустарником болотом, заливаемым со стороны залива нагонами воды при ноябрьских западных ветрах. Железная дорога от Старой Деревни к Лахте, минуя болото, проходит вдоль мощеного булыжником шоссе. В Лахте вдоль шоссе и нескольких поперечных улиц, идущих ко взморью, расположены дачи, в старое время сдавав-

шиеся в наем петербургским горожанам. Одна из поперечных улиц, Гарднеровская, связана с моей семейной хроникой.

Мастер паклевального дела Джон Гарднер приехал из Англии в Россию в прошлом столетии. Забивать щели между досок на палубах строящихся кораблей паклей было его профессией. Основав свое дело и добросовестно выполняя заказы Адмиралтейства, старик Гарднер богател, как богатела Россия конца прошлого и начала этого века. На Лахте Джон Гарднер построил около десятка дач. Красную дачу он отдал сыну, Генриху Ивановичу, отцу моих двоюродных братьев. Другую, с двумя пристройками большую дачу, он подарил сыну Федору Ивановичу, долгие годы тяжело болевшему, за которым ухаживала русская женщина Настасья Васильевна. Со временем она стала госпожой Гарднер, но по-английски научилась только звать свою собачку — "доги". На стене ее гостиной висел портрет лорда Китченера, о котором она мало что знала, но этим портретом очень гордилась.

Дочери Жанетте Ивановне старик Гарднер ничего не оставил. Жанетта Ивановна, стройная, высокая и статная дама, должно быть, красивая в молодости, хорошо вышла замуж, поселилась в Москве, и дача на Лахте ей была не нужна. Она вышла замуж за Бруно Васильевича Фариха, человека с положением в дореволюционной Москве, работавшего в страховом обществе. Их два сына сделали хорошую карьеру в советское время. Старший каким-то образом получил высшее образование и стал видным инженером, специалистом в станкостроительной промышленности. Младший, Фабио Фарих, стал выдающимся советским полярным летчиком. Позже он был расстрелян, как человек с иностранной фамилией. Та же судьба постигла и его брата Бруно.

К началу тридцатых годов оставалась только одна Гарднеровская дача, все остальные сгорели в 1917 году — дача, принадлежавшая Настасье Васильевне Гарднер. С ее домом и была связана моя судьба.

Ее, бедную, оказавшуюся британской подданной, незадолго до советско-германской войны выселили, как иностранку, за пределы СССР. Англичане устроили для таких русских англичан приют в Эстонии, где Настасья Васильевна, не зная ни слова по-

английски, кроме слова "доги", маялась среди других полуангличан. Наконец отказавшись от британского подданства, она допросилась вернуться назад в СССР. На Лахту ее не пустили, дом ее уже был конфискован и разделен на коммунальные квартиры. Ей дали комнату в общей квартире в Петрограде, а в канун войны отправили в Сибирь.

В начале 30-х годов, мне и моей семье жилось спокойно, но тяжело. Каждое лето одну из двухкомнатных квартир дачи Н.В. Гарднер снимал брат моей матери. Он там жил со своей гражданской женой, Елизаветой Ивановной Шляковой, из петербургских горожан. Его законная жена, отправив дочь к сестре за границу, уехала и сама в 1929 году во Францию по советской визе, наивно надеясь, что мой дядя, мичман Императорского флота производства 1916 года, поступит в торговый флот и в первый же заграничный рейс сбежит с парохода. Но он об этом и не думал. Судьба и характер моего дяди напоминают мне доктора Живаго из романа Пастернака, хотя Елизавета Ивановна была советской труженицей, счетоводом в "Электроток", а не романтической Ларой, а дядя не был поэтом. Но он был нерешителен и покорен судьбе, совсем как Юрий Живаго. Когда его мобилизовали и отправили в Волжскую флотилию сражаться против белых, он и этому покорился, вместо того, чтобы бежать на юг к Деникину.

Недалеко от дачи Настасьи Васильевны у берега Финского залива стояла в лесу полузаброшенная церковь. Мой дядя знал священника. Советская жизнь была такова, что посещать церковь было если не вполне опасно, то все-таки тревожно. Шел 1934 год. Моя двоюродная тетка со стороны отца, Лидия Петровна Энгельке, давшая мне основы религиозного образования, давно умерла. Бабушка Бровцына пережила сына (моего отца) на два года и умерла в 1933 году, когда я уезжал в экспедицию на Сахалин. Моя мать и мой дядя оставались лютеранами. В моем небольшом окружении больше православных не оставалось. И внешняя обстановка, и тяготы жизни, и закрытые церкви не способствовали приобщению к религии. В церковь я не ходил. На Пасху многие годы подряд я и мои близкие старались проникнуть в Троицкий собор, расположенный в ротах Измайловского полка, или в Никольский собор около Мариинского те-

атра, но толпа всегда была настолько большой даже вокруг соборов, что мне ни разу не пришлось быть на пасхальной службе внутри церкви.

Вскоре после начала нового 1934 года я сделал предложение моей будущей жене, Нине Сергеевне Мягковой. Нам было тогда немногим за двадцать, мы увлекались гидрологией, наукой о реках, участвовали в экспедициях. Нина только что кончила Петроградский университет.

Рождение, бракосочетание и смерть — вехи начала, середины и конца жизненного пути человека. У человека православного начало совпадает с таинством крещения, середина — с таинством венчания и конец — с соборованием. Передо мной стояла задача: как выполнить таинство венчания тайно, чтобы на моей службе ничего не заподрили и не устроили мне неприятностей с последствиями, могущими быть роковыми. Положение моей невесты было еще более опасным. Она второй год работала в военном отделе Государственного Гидрологического Института. В обязанности моей невесты, полевого гидролога ГГИ, входило обследование западной советской государственной границы для выяснения, в каком состоянии находятся дороги, степень их проходимости, каковы обширные болота и низменности, прилегающие к границе в Белоруссии. Если бы в ГГИ узнали о ее намерении венчаться в церкви, ее бы лишили "секретного допуска", и она не могла бы ехать на полевые работы. Не факт посещения церкви или венчания был важен для властей, но ход мыслей человека, его настроение. Ведь все, связанное с церковью, считалось нелояльным и вызывало со стороны властей недоверие к человеку.

Мой дядя переговорил со священником Лахтинской церкви. Батюшка согласился нас обвенчать, посоветовал прийти под вечер, когда вокруг народа почти нет. Мы выбрали первое июня 1934 года днем нашего венчания.

Оказалось, что белой материи на платье невесте нет, и шить некому; золотых обручальных колец нет; сладкого вина, чтобы поздравить обрученных, достать негде (тогда ведь не покупали, а "доставали"). А о шампанском я знал только по рассказам моей матери. Моя невеста купила у сослуживицы боны для Торгсина и там купила белый шелк. На Фонтанке у Никольского

переулкa жила в бывшей людской убогая старушка Анна Васильевна, в той же квартире, где жила сестра моей невесты с мужем и дочерью. Анна Васильевна была прихожанкой Никольского собора и позже устроила в соборе крестины нашей дочери. Жила она без пенсии, без подаваний, подшивала за деньги одежду знакомым, должно быть, убирала в церкви, смотрела за детьми.

Электричество ей было дорого, она сидела с керосиновой лампой (и не одна она в Петрограде). Эта Анна Васильевна и согласилась шить подвенечное платье для моей невесты. Стали собирать золото для обручальных колец: старенькое кольцо бабушки Бровцynой, снятое год назад с ее руки перед похоронами; старые зубные коронки, обломки еще одного кольца, другой бабушки. Идти в ювелирную мастерскую боялись, но там фамилии, к счастью, не спросили и золото не украли. Получились красивые кольца; жена носит свое кольцо и сейчас, а я обменял мое на полтора килограмма мяса и костей у женщины в сторожке, в лесах за Лахтой во время осады.

Наконец, сладкое вино для угощения после венчания, белый хлеб (мы ели тогда только серый или черный) и немного ветчины моя мать купила в Торгсине. У нас был там счет в течение нескольких лет, деньги, переведенные нью-йоркским страховым обществом в золотых рублях за полис моего отца, после того как Советское правительство, к нашему счастью, выиграло судебный процесс в интересах русских дореволюционных вкладчиков и, главным образом, в своих собственных интересах. Нам была дана половина (в действительности, думаю, меньше). Из этой половины, еще раз разделив ее пополам, мы получили около трехсот золотых рублей на счет в Торгсине и триста в советских деньгах.

Счет на триста золотых рублей в Торгсине был тогда огромным капиталом. До самого конца его существования в 1936 году Торгсин продавал продукты и материалы по ценам Четырнадцатого года. Наша семья жила четыре года на добавки продуктов из Торгсина. Иначе мы существовали бы впроголодь.

Под вечер 1 июня все собрались в двухкомнатной квартире на Лахте, в доме Настасьи Васильевны Гарднер: моя мать, мой дядя, сестра, тогда еще школьница, Елизавета Ивановна Шляко-

ва и Алексей Андреевич Круглов — жилец нашей петроградской квартиры, личность во многих отношениях замечательная, доцент при кафедре органической химии Петроградского университета, блестящих способностей человек из народа. Мы знали его годами, но он никогда не говорил нам, откуда родом. Вероятно, у него были на то основания, скорее всего, он был из зажиточных крестьян, т.н. "раскулаченных". Помню, с каким воодушевлением он высмеивал Сталина, уверяя, что после титула "солнце всей земли и трудящихся всего мира" кавказский горец объявит себя императором русских пролетариев и прилегающих окрестностей. Круглов приносил последние анекдоты, также как и Елизавета Ивановна.

Из дома Настасьи Васильевны Гарднер предстояло идти в церковь лесом. Разделились на две партии. Одни пошли в сторону берега, затем вдоль залива и там повернули через лес в направлении церкви. Другие пошли в церковь прямо из дома Гарднер через лес. Был тихий светлый северный вечер, над заливом стояли неподвижные редкие облака. Еле слышно плескалась на прибережном песке вода. В девять часов вечера мы подошли к церкви, осторожно отворили двери, вошли; моя мать, я с невестой и сестра. Батюшка нас уже ждал. Круглов, Елизавета Ивановна и мой дядя пришли через несколько минут. Батюшка повернул в замке ключ.

Церковь была снаружи обшита тесом, крашеным в темнозеленый цвет и была едва заметна среди зеленой листвы. Регулярных служб в церкви не было, но совершались требы. Батюшка попросил показать наше свидетельство из загса (отдела записей гражданского состояния). Его у нас не было. Тогда батюшка попросил нас зарегистрироваться сразу же после венчания. Я обещал, но своего обещания не выполнил.

Батюшка венчал нас, как в старину: мой дядя держал венец над моей головой, а Алексей Андреевич Круглов — над головой моей невесты. Горело несколько свечей, в цветные стекла церковных окон еще пробивался вечерний свет северного солнца. Обряд венчания вообще недолг, а тут, в нашем положении, батюшка спешил. Он надел нам кольца, поздравил. И потихоньку мы отправились лесом к лахтинскому дому Настасьи Васильевны Гарднер. Теперь идти можно было всем вместе, никто бы не

спросил, откуда, а если бы и спросил, то ведь всякий имеет право идти в сторону своего дома, даже и при новой власти. На даче был устроен свадебный стол на семь человек. Стояли торгсиновское сладкое вино, ветчина, белый хлеб и пирожные.

Через несколько дней я уезжал в Якутскую экспедицию Ги-проводтранса, а жена — в пограничные районы Украины.

Б. Бровцын

«РУССКАЯ МЫСЛЬ»

Крупнейшая русская еженедельная газета на Западе

Главный редактор Ирина Иловайская-Альберти

Редакция и контора: 217 rue Fb. St. Honoré,
75008 Paris

Стоимость подписки во французских франках:

	3 мес.	6 нем.	12 мес.
Франция	45	85	150
Заграница	54	95	170
Авиапочтой:			
США, Канада, Южн.			
Америка, Южн. и			
Центр. Африка	76	140	250

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПЕТРЕ ПЕРВОМ

(ПУБЛИКАЦИЯ АНДРЕЯ БАБКИНА)

Неопубликованные документы, принадлежащие к спорному периоду истории, всегда возбуждают определенный интерес, в особенности если они относятся к корреспонденции таких, близко стоявших к Петру Первому людей, какими были генерал и адмирал Франсуа (Франц) Лефорт, или генерал и секретарь Большого посольства Пьер Лефорт.

Документы Лефортов были переданы в Швейцарский Государственный архив в Женеве в 1856 г. Из историков их видели Н. Г. Устрялов, М. Поссельт и Г. Валлотон. Устрялов опубликовал шесть документов в приложении ко второму тому своей "Истории царствования Петра Великого". Кроме того, он также опубликовал сорок писем Ф. Лефорта к Петру. Известный историк и специалист-петровед М. Богословский цитирует отрывки из некоторых документов, которые он сам заимствовал из работы Поссельта. Поссельт опубликовал несколько писем полностью в приложении к биографии Ф. Лефорта, а также в статье о нем, которая была напечатана в "Морском сборнике" (1863).

Документы Лефортов состоят главным образом из переписки Франсуа Лефорта и его племянника Пьера с родственниками. В архиве находятся четыре папки. Самыми важными из них являются папки II и III, в них хранятся пятьдесят шесть писем Франсуа Лефорта к отцу, матери, к братьям Ами и Исааку, к сестрам, к женевскому купцу в Амстердаме Жану Туртону и др. Там же находится двадцать шесть писем от генеральши, десять от Анри Лефорта, семь от брата Ами, семнадцать от Жака Лефорта и пятьдесят писем от Пьера, с 1694 по 1701 годы.

Папка IV озаглавлена: "Младшая родословная, ветвь — Пьер". В папке — письма Пьера и его родственников с 1701 по 1784 гг. Папка I, существовавшая в Государственном архиве еще до 1856 г., включает в себе копии мемуаров, которые хранятся в Публичной и Университетской библиотеках города Женевы. Впервые эти мемуары были составлены в 1732 г. на основе писем из папок II и III. Среди этих писем можно найти выдержки из нотариальных актов Коню в Пьемонте — месте происхождения семьи Лефортов.

Как судьба завела Франсуа Лефорта в Россию? Судя по письмам, Франсуа Лефорт считал, что в политической жизни его родины места для него нет, так как его брат Ами уже был членом Большого Совета. Франсуа Лефорту еще не исполнилось и 14 лет, когда он покинул Женеву и определился добровольцем в Марсельскую крепость, а по истечении некоторого времени поступил в кадеты Швейцарского Гвардейского полка, который находился на французской службе. "Дела чести" заставили его покинуть Францию и определиться в пехотный полк Курляндского курфюрста, состоявший на службе Генеральных Штатов. Франсуа Лефорт участвовал во многих битвах; в одной из них был ранен и потерял свои пожитки. Согласно Юго де Басевиллю, царь Алексей Михайлович поручил полковнику Верстину произвести набор желающих поступить на русскую службу среди офицеров чужеземных армий. Так в сентябре 1675 г., в возрасте 19 лет, Франсуа Лефорт очутился в Архангельске.

В первых письмах из России к своим родственникам Франсуа Лефорт описывает трудности жизни, которые приходилось преодолевать ему и его компаньонам, и препятствия, мешающие получению места. Он дает подробные описания экономического состояния страны, цен, жалований, товаров, быта и обычаев населения, предметов торговли, жизни в иностранной слободе, врачей, медикаментов, аптекарей, правил этикета при дворе и времяпровождения царя Петра в Александровской слободе (после бегства из Москвы), его бюрократии и армии.

После назначения в один из полков в чине капитана, Франсуа Лефорт детально описывает армию, ее личный состав и походы в степь; по сути дела, — это подробные описания похо-

дов под командованием кн. В. Голицына. После возведения в чин адмирала, Франсуа Лефорт дает точные сведения о зарождении и начале русского флота, о плаваниях царя, о покупке и строительстве кораблей, о намерениях царя осуществить обследования дальних морских путей. Во время двух азовских походов содержание писем касается осады крепости. Наконец, в период Большого посольства Франсуа Лефорт пишет мало, отговариваясь недостатком времени, но тут пробел восполняет Пьер Лефорт; он пишет, например, о планах русских послов и царя, которым помешали плохие вести из Москвы. В одном из писем Пьер сообщает, что "мир между союзниками, направленный против турок, будет осуществлен, и Его Величество царь уже согласился. Я думаю, что конгресс состоится в Польше, так как польский король этого желает. Я очень боюсь, чтобы Государь не продлил своего путешествия, предвидя, что мир будет заключен; он говорит так, словно у него есть еще желание поехать во Францию" (письмо от 12 июля 1693 г.).

В лефортских документах разбросаны данные, которые позволяют нам оценить личность самого Франсуа Лефорта. Мы знаем, что, несмотря на все богатства, которыми Петр I одаривал своего любимца, последний умер, не оставив после себя почти никакого имущества, так как совсем не думал о наживе или накоплении богатства. Оказалось, что после его смерти осталось только немного земель, приносящих очень малые доходы, и долги, один из которых, в размере 2500 экю серебром, причитался за пансион его сына в Женеве. После Франсуа Лефорта осталось много посуды, оружия и одежды, но не денег.

Пьер Лефорт, как это будет видно дальше, не имея никаких оснований окружать своего дядю ореолом славы, писал: "...Всё, что он имеет, принадлежит его друзьям" (письмо от 9 марта 1694 г.). Франсуа Лефорт — человек, преданный своему монарху. "Генерал, — пишет Пьер Лефорт, — обычно ничего не предпринимает — как в отношении государственных дел, так и своих личных, пока сам царь не распорядится". Но в то же время, согласно Пьеру Лефорту, "он [дядя] был человеком, обладавшим особой способностью распорядиться делами Государя; до сих пор никто не может ими заниматься так, как это делал покойный" (письмо от 3 ноября 1699 г.). При всем том генерал, адмирал и полно-

мочный министр Франсуа Лефорт имел над собой русского начальника в лице князя Б. Голицына (Пьер Лефорт, 19 октября 1699).

Что касается Пьера Лефорта, то он был человеком, лишенным личной инициативы, нерешительным, самолюбивым, лицемерным, мстительным, постоянно ищущим коммерческих сделок и наживы. Тем не менее, он никогда не принял окончательного решения заняться коммерческими делами серьезно. Долгое время у него было намерение поехать в Китай, где он думал разбогатеть, но мысль о поездке, которая должна была продолжаться три года, пугала его. Боялся он обосноваться и в России. 15/25 февраля 1693 г. Пьер Лефорт писал: "Мое желание жить в этой стране не слишком велико и, кроме того, язык настолько труден для изучения, что внушает мне полное отвращение к нему". Пьер Лефорт не очень смел, он пишет: "Я сегодня отправляюсь сражаться с татарами, которых, я надеюсь, мы никогда не увидим" (26 апреля 1699 г.). Он жалуется на своего дядю за то, что тот не возмещает обещанных племяннику на путешествие в Англию денег. По этому поводу Пьер пишет 15/25 июня 1698 г. из деревни под Веной, где послы ожидали окончания приготовлений для их приема: "...я отомщу. Я не знаю чем я мог его обидеть; все то, о чем я вам пишу, дорогой брат, я вас прошу хранить в тайне".

Другая деталь, которая говорит о Пьере Лефорте — это его пристрастие к дебошам: 28 февраля 1696 г. он, например, пишет: "Что до дебошей, то я стараюсь, насколько это в моих силах, не участвовать в них, но иногда они неизбежны". Эти дебоши, должно быть, были довольно курьезными, так как другое лицо, некто Герваген, несколько писем которого сохранилось, писал: "...не каждый может вынести московские дебоши — рано или поздно многие расплачиваются за выучку".

Пьер был также искателен, низкопоклонник. В письме от 8/18 марта 1699 г. он замечает, что для того, чтобы царь помог ему получить наследство дяди, в котором он "очень заинтересован" — "я должен решиться упасть к ногам Его Царского Величества". Тот же Пьер Лефорт, попав в плен к шведам, посредством знакомств и связей старался освободиться прежде своих соратников.

К сожалению, Лефорты и их приятели опасались писать открыто все то, что они знали или видели. В письме от 2 марта 1694 г. капитан Сенебье писал: "Относительно подробного описания ополчения — это немного опасно". Жак Лефорт тоже писал: "Он [Пьер Лефорт] рассказывал мне о разных вещах, которые не следует доверять бумаге и которые он передаст вам устно". 23 июля 1698 г. Франсуа Лефорт отмечал, что хотел бы иметь возможность написать о некоторых новостях в России, но — "слишком велика боязнь". Пьер Лефорт — от 22 января 1697 г.: "Что касается моего устройства, я сейчас ничего не пишу вам о нем. Во время путешествия я буду иметь честь находиться с вами — я вам передам устно".

Относительно языка лефортовских документов, находящихся в Государственном архиве, следует заметить, что он интересен тем, что представляет собой хороший образец областного французского языка XVII и XVIII столетий и в нем можно найти много сходства с языком канадских французов. Письма эти очень трудны для прочтения и расшифрования — в особенности это касается писем Франсуа, которые были написаны им в то время, когда он страдал от ранения.

Из корреспонденции Лефортов необходимо исключить те письма, которые содержат в себе информацию семейного или субъективного характера. Таким образом, письма можно группировать по критериям хронологическим и тематическим: первые впечатления иностранца в России; описание состояния армии и флота; осада Азова; великое посольство и письма Пьера Лефорта о смерти генерала Лефорта; жизнь русских военнопленных в Швеции; смерть Петра Великого; интриги при дворе в России и отъезд Пьера Лефорта в Мекленбург.

Мы публикуем письма Франсуа Лефорта об осадах Азова благодаря любезному разрешению Государственных архивов в Женеве и помощи Совета Искусств Канады.

А.Б.

Господин и глубокоуважаемый брат,

Мы обеспокоены тем, что уже долгое время не получаем писем из Женевы. Возможно, что письма потеряны или вы,

может быть, забыли о нас. Мой племянник очень удивлен и не знает что и сказать после того, как он так часто писал. Я получаю все письма от бургомистра Витзена из Голландии.¹ Может, было бы лучше, если бы вы адресовали ему или г-ну Туртону,² который бы их ему передавал. Сообщу вам новость, дорогой брат — мой сын уехал 8 февраля, гувернера я ему не дал, а только троих слуг.³ Г-н Брандт и еще двое купцов будут смотреть за ним до Амстердама, а оттуда до Женевы ему поможет г-н бургомистр Витзен. Его Царское Величество, по своей милости, написал письмо вышеупомянутому г-ну Витзену и даже лично рекомендовал моего сына, который сам передаст его и подарок в виде портрета царя Петра Алексеевича, украшенного бриллиантами стоимостью в тысячу шестьсот экю. Это первый портрет, который был сделан. Он принадлежал мне. Но из-за того, что другие не были сделаны, ему посылается мой. Мой сын передаст письмо от Их Царских Величеств нашим Великолепнейшим и Многоуважаемым Господам. Мой племянник шлет Вам копию этого письма. Я очень рад иметь его при себе. Он ведет себя как полагается, и все очень любят его. Его величество оказывает ему большие милости. У моего сына есть некоторые подарки, которые я прошу вас принять. Купцы, поехавшие с ним, не хотели ничего больше брать с собой, боясь пошлин в Литве. Соболя подлинные. Я послал 3000 экю госпоже моей матери. Перевод у г-на Плойяра. Зять г-на Гартмана, которого зовут Поп, получил здесь 500 дукатов. Переводы для этого мой племянник посылает этой же почтой. Госпожа моя мать может написать г-ну Плойяру, чтобы он их послал туда, куда она находит нужным. Надеюсь, что вышлю вам еще денег. Я вручил моему сыну на дорогу 600 дукатов. Это больше, чем ему нужно. Я вас убедительно прошу определить моего сына в такое место, где он будет изучать все то, что необходимо знать солдату, т. е. разные упражнения. Ему нужен будет хороший гувернер. В

1. Бургомистр Н. Витзен был уже в России и даже на Каспийском море.

2. Туртон, друг Лефортов, был женевским купцом и жил в Амстердаме.

3. Сын Франсуа Лефорта Анри был послан в Женеву для воспитания в духе кальвинизма. Сам Лефорт был кальвинистом и не желал подвергать своего сына влиянию жены-католички.

остальном я полагаюсь исключительно на вас. Все его расходы будут уплачены, и я даже беру на себя обязательство посылать деньги заранее, столько, сколько ему будет нужно на год. Напишите мне, пожалуйста, где он будет жить и кто будет его гувернером. Здесь его гувернеру я платил сто экю в год при моем столе. С моим сыном находится молодой человек, брат одного здешнего майора, которого я очень уважаю. Его фамилия Вейд⁴. Он сможет учить разные упражнения вместе с моим сыном. Он очень хорошо пишет по-русски и по-немецки. Остальных двое — мои рабы: Симеон, самый большой, это китаец, который изумительно стреляет из лука. Он очень скромный. Другой, маленький, это татарин и крещен лютеранином. Это маленький шут и его можно принять за карлика. Его нужно держать строго. Он уже был в Англии, Норвегии и Голландии. У меня избыток рабов и рабынь; я послал бы вам нескольких, но расходы большие и в других странах они очень легко могут заболеть. Г-н Избрандт,⁵ который уже вернулся [из Китая], привез с собой человек пятнадцать, так же, как и многие из его свиты. Его путешествие было удачным. До сих пор трудно узнать, сколько у него богатства, но ясно то, что у него сейчас гораздо больше, чем до отъезда. Я не пропустил возможности сказать ему, что г-н Пердро часто писал, чтобы он возвратил ему долги. Избрандт мне ответил, что он постарается удовлетворить всех тех, кому он должен. У него есть очень красивые камни, а среди них — сапфир стоимостью, как говорят, в двенадцать тысяч экю. Он очень красивого цвета и весит двадцать золотников.⁶ Г-н Герваген видел его, как и все остальные камни. Возможно, что они займутся торговлей вместе. Г-н Герваген предполагает уехать на будущей неделе. Он передаст вам всем подробности устно. Сейчас я могу вам сказать следующее: вся страна готовится и собирает полки, чтобы, когда вскроются реки, отправиться с Его Царским Величеством Петром Алексеевичем. У нас четыре армии. Первая отправится водным путем

4. А. Вейд был майором Преображенского полка. Впоследствии один из убийц царевича Алексея.

5. Е. Избрандт — купец из Немецкой слободы и посланник в Китае.

6. Золотник (уст.) — мера веса — 1/96 фунта.

до турецкого города Азова, который Его Величество будет осаждать. Отсюда отправляется самая красивая артиллерия, какую только можно видеть. Четыре генерала должны следовать за Его Величеством, и они уже получили распоряжения. Первого вы знаете — это я, ваш слуга. Мой полк, в сущности, по численности шестой, насчитывает больше двенадцати тысяч человек.⁷ И, кроме того, у меня есть все, что нужно, т. е. 24 больших пушки и 24 больших мортиры, чтобы совсем разрушить город. Второй [генерал] — мой шури́н Гордон, с восьмью тысячами человек других войск, так как его полк насчитывает только четыре тысячи. Еще один русский генерал с тем же числом людей и с таким же количеством пушек и мортир⁸. Еще один — генерал от артиллерии. Он будет командовать казачьими войсками со стороны Дона и несколькими полками со стороны Астрахани и Казани. Вторая армия — гетманская, т. е. казацкого князя, у него более 60 тысяч человек, он двинется со стороны Перекопа или Кизы-Керменя и нападет на несколько городов. Белгородская армия является третьей, она насчитывает более 40 тысяч верховых и солдат. Она не разъединится с гетманской. Четвертая будет стоять на границе со стороны Пскова в резерве. Большинство бояр следует за Его Величеством — их три тысячи. Начнут постепенно покидать лагерь. Пятеро из моих полковников отправляются на этой неделе, чтобы присоединиться к своим полкам. Дай, Боже, успеха. Я надеюсь, что все удастся и что турки не смогут противостоять такой большой силе. По приказанию Их Величества я пишу этой почтой многим важным лицам, которые состоят при самых больших дворах, чтобы они как можно быстрее начали военные действия. Мой племянник, а ваш сын будет следовать за двором. Я буду за ним смотреть и никто не разделит нашего стола. Вот наши новости. Сегодня Его Величество ездил за 30 лье от Москвы в Переяславль осматривать пушки. Перед отъездом он оказал мне честь и навестил меня. По его милости я сначала пообедал за его столом, затем он приказал мне остаться здесь для отправки всего необходи-

7. Точные данные о количестве солдат под командованием Ф. Лефорта неизвестны.

8. Речь идет о И. Головине.

мого. Если впредь будут новости, достойные внимания, я не упущу случая, чтобы поделиться с Вами. Еще прошу вас уверить в моем почтении вашу дорогую половину, госпожу мою невестку, и всю вашу семью, моих братьев и сестер и всех родственников. А вы, дорогой брат, будьте уверены, что всю мою жизнь я останусь,

господин и глубокоуважаемый брат, вашим покорнейшим и послушнейшим слугою и братом.
Лефорт, генерал.

[Немецкая] Слобода, в Москве,
16 февраля 1695.

Господин и дражайший брат,

Время не позволяет мне написать вам много. В настоящее время я удовлетворюсь тем, что скажу вам, что, по милости Божьей, мы в хорошем здоровьи и ждем только, когда вскроются реки, чтобы выступить для осады Азова. Все для такого предприятия готово. Господь да ниспошлет нам успех. Его Царское Величество Петр Алексеевич желает лично присутствовать при осаде. Я надеюсь, что все выйдет по его желанию. Ваше последнее письмо, датированное 18/28 января, я получил и по нему вижу, как вы заботитесь о вашем сыне, который находится здесь. Я вас уверяю, что я исполню все ваши приказания и распоряжения, если Господь милостиво разрешит вернуться здоровым. Надеюсь, что он поедет в Китай с г-ном Гервагеном, который выехал вчера в направлении Женевы. Он передаст вам устно то, о чем я не могу вам написать. Я ему дал три исключительно красивые собольи шкурки для Ее Королевского Высочества, одну самую красивую шкурку горноста, очень редкое, вроде китайского, покрывало и несколько других мелочей. Мой сын мог бы послать их с тем, кого вы найдете нужным. Между прочим, г-н Герваген передаст вам заодно одежду, которую я прошу вас принять в знак моей благодарности за ваши милости, которые вы мне оказали, и за деньги, которые мой племянник передал в Голландии. Примите триста экю, которые я осмеливаюсь предложить в подарок г-же вашей дорогой половине, г-же моей невестке. Пусть она купит то, что ей понравится.

Что касается моих обязанностей по отношению к моему сыну, если Господь разрешит мне вернуться победителем, то я постараюсь исполнить их лучше, чем я это делал до сих пор. Относительно моего сына и его расходов — поступайте, как вы найдете нужным. С ним нет ни гувернера, ни лакея. Большого [лакея] я не могу оставить у вас, так как он русского вероисповедания⁹, а маленькие не причинят таких больших расходов. Надеюсь, что мой сын и его трое слуг найдут место, где расходы не будут такими большими, как об этом пишет мне мой брат Исаак. Я оставляю все на ваше усмотрение. Я устрою все таким образом, чтобы его наставники не жаловались. Будьте добры и напишите мне, где он устроится и сколько он будет расходовать в месяц. Что касается г-на Миженана, то необходимо будет подождать до нашего возвращения, чтобы его пригласить. В следующее воскресенье Его Царское Величество Петр Алексеевич сделает милость и будет обедать у меня. Я поговорю с ним. Относительно шпаг и флагов, у нас их избытие. Я выписал их из Голландии¹⁰. Уверьте мою мать в моем смиренном повиновении. Перед выездом я напишу всем родственникам, а главное, вам. С совершенным почтением господин и многоуважаемый брат, ваш смиреннейший и послушнейший

Лефорт, генерал.

[Немецкая] Слобода, 22 марта 1695

Поздравьте моего брата Исаака и скажите ему, что если г-жа Руаяль¹¹ желает получить несколько других редкостей, я буду счастлив услужить ей. Если спросят о цене того, что я послал, то я ничего не прошу, но уверен, что из этого царства никогда не были вывезены три собольи шкурки такой красоты. Они бесценны.

9. Ф. Лефорт не мог оставить большого китайца-лакея, потому что тот был православного вероисповедания.

10. Ф. Лефорт был очень полезен Петру I из-за своих связей и знакомств за границей.

11. Г-жа Руаяль — Кристина Французская, регентша герцогства Савойского.

Господин и глубокоуважаемый брат,

вот уже несколько дней, как я нахожусь с г-ном вашим сыном, который чувствует себя хорошо. Я же чувствую себя не совсем хорошо. Возвращаясь из степи, или пустыни, я упал и ударился правым боком об камень. Боль постепенно проходит. Но это не помешало тому, что в прошлый вторник Его Царское Величество Петр Алексеевич оказал мне честь и обедал у меня со всей знатью. Много стреляли из пушек и много было разной музыки. После ужина танцевали допоздна. На Борисфене [Днепре] у турок были взяты четыре города, а у Азова две большие башни или каланчи, очень важного значения. Их укрепили и посадили туда гарнизон численностью в три тысячи человек. На Азов мы бросили более пятнадцати тысяч бомб, город совершенно разрушен и сгорел. Гарнизон состоял из 5000 отважных солдат. Не осталось и 2000. Большие холода были поводом к прекращению осады, а расстояние от Азова до Москвы очень большое. Если бы Его Царское Величество знал, что гарнизон был таким большим, то мы бы взяли больше людей. Возвращаясь, мы провели 13 недель в степях, где страдали от больших холодов и снега. Первого марта мы выступили со всеми силами, чтобы разрушить другие города, т. е. Перекоп, где мы так и не были. Азов, надеюсь, не продержится долго. В море перед Азовом будет стоять флот. Им будет командовать один адмирал. Недалеко от устья, на расстоянии одного дня, есть несколько маленьких городов. По левую сторону находится Кубань, или Черкесы. Будет сделано несколько десантов. Возможно, что и я буду участвовать в них. Но это не мешает пребыванию моих полков у Азова. Его Царское Величество сможет, вероятно, провести приятно время в море со своими галерами, так что я его не оставлю. Уверяю вас, дорогой брат, что во время 14 недель, которые я провел под Азовом, атаки были сильные, особенно на моем фланге, где я один расположился лагерем со стороны моря. Враг сделал сумасшедшую вылазку из города и кавалерия или татары сопровождала пехоту. Было более 10 тысяч татар — самые отважные из них — черкесы. Первая битва длилась долго, они хотели форсировать мои позиции, но после двухчасовой битвы были вынуждены отступить с большими потерями. С моей стороны я потерял отважных офицеров, мой лагерь был

покрыт стрелами. Несколько сот солдат было убито и ранено. Я скажу вам коротко, без хвастовства, что, слава Богу, мне повезло. Мы очень сомневались в том, что солдаты смогут противостоять таким сильным атакам без посторонней помощи. Несмотря на все, я им закрыл все проходы, так что Азов не имел никакого сообщения с кавалерией. Положение их было безнадежным. В течение 14 дней не было ни одного, когда бы мы не развлекались пушечной пальбой. Я укрепил мой лагерь так сильно, как только мог для того, чтобы иметь больше людей на подступах с моей стороны. По моему приказу на город было брошено около шести тысяч бомб. У меня было две батареи, состоящие из двенадцати 36-фунтовых пушек каждая и 25 мортир. В течение 8 дней весь город был сожжен. Мы сделали два больших приступа. Город мог бы быть взят, если бы вовремя нашелся один генерал с заранее подготовленными к этому людьми. Из тысячи пятисот моих солдат 900 было убито или ранено. Они оставались на крепостных валах еще два часа для того, чтобы спасти три знамени, которые вместе с убитыми офицерами упали в турецкие рвы. Они предпочли умереть, нежели потерять свои знамена. Если было бы еще тысяч 10 солдат, город был бы взят приступом, но соглашением — никогда. Турки упрямы и не просят пощады. По Божьей милости, из десяти тысяч четырехсот моих солдат я привел обратно приблизительно 8000. Все мои пушки целы, а также мои знамена, и сверх того, во время последней атаки я захватил у неприятеля одно из красных знамен. Моему шурина Гордону не повезло, но не до такой степени, как пишут в "Курантах"¹². Он потерял 9 пушек, несколько знамен и несколько больших заклёпанных пушек. Все было бы хорошо, если бы не эта неудача. У неприятеля из двух башен мы взяли больше 40 пушек, а в городах больше 200 штук. Пленных посадят в новопостроенные галеры. Пленных больше 1200, женщин и девушек — изобилие. Если бы вы были не так далеко, я послал бы вам дюжину. Вот все, что я хотел вам написать относительно кампании. Что касается г-на вашего сына, моего племянника, то я готов помочь ему

12. "Куранты" — газета.

в чем ему угодно в его путешествии. Другого такого он не совершит. Если вы не соглашаетесь на его поездку в Китай — будет сделано по вашему желанию. Мне хотелось бы видеть здесь г-на Гервагена. Это он внушил ему [эту поездку], считая, что такое путешествие ему не повредит. Я никогда не советовал г-ну моему племяннику и никогда не писал ему в моих письмах, что мне хотелось бы иметь кого-нибудь из моих родственников при мне для того, чтобы его потом удалить. Я уверяю вас, что он и г-н Герваген предложили мне сами и лично сами хотели услышать из уст Его Величества — возможно ли это сделать. Просьба их была исполнена и мне грустно было смотреть на их приготовления. Я передал ему ваше мнение об этом. Он мне ответил, что вы написали ему об этом. Он волен делать то, что ему хочется, но я знаю, что он ничего не предпримет без вашего согласия. Что касается моего сына, то все, что необходимо, я приведу в порядок. Молодой Вейд может провести некоторое время у моего брата Жака, или у Исаака. Относительно маленького [слово неразборчиво — лакея], он должен остаться при моем сыне с татаринном. Вейд сможет изучать математические науки, т. к. я обещал это его брату. Если Господь будет милостив и разрешит мне вернуться из Азова, я надеюсь встретиться с вами в Женеве, даже если я должен буду ехать на почтовых. Перемен будет много. А пока я вышлю деньги на расходы моего сына и, может быть, еще до конца следующего года он получит, по распоряжению Его Царского Величества, приказ переехать в другое место. Что касается меня, то Его Величество обещал, что после кампании меня отправят в путешествие по главным дворам [слово неясно]. Со временем увидим [слово неясно]. Дражайший брат, прошу вас извинить меня — я не в состоянии написать другим из-за опухоли в правой стороне желудка. Врачи и хирурги прикладывают мне пластыри днем и ночью. Кроме того, я принимаю лекарства. Однако я должен был написать многим важным лицам, которые писали мне: принцу Ганноверскому, командовавшему союзными государями при осаде Намюра, принцу-министру Императора¹³, бургомистру Витзену

13. Евгению Савойскому.

и другим. Пожалуйста передайте, что я тысячу раз целую руки всем родственникам и всем тем, кто интересуется новостями от меня. Завершая, прошу уверить госпожу мою глубокоуважаемую мать в моем смиренном повиновении. Сына моего я вам поручаю, т. к. я знаю, что он в хороших руках [строка написана неразборчиво]...

... послушный слуга, Лефорт, генерал.

Москва, 6 декабря 1695

[На письме заметка]:

Получено от моего брата московского генерала 13 января 1696.

Москва, 28 февраля 1696

Господин и глубокоуважаемый брат,

я получил ваше последнее письмо. Благодарю вас за новости, которые вы мне сообщили. Я хотел бы, чтобы здоровье мое поправилось, тогда я смог бы исполнить вашу просьбу. Но ввиду того, что мне мешает нарыв и я пишу на коленях, простите меня, если я не напишу вам много. Я извиняю себя только тем, что, признаюсь вам, с момента моего возвращения из-под Азова я все время чувствовал себя плохо и страдал от сильных болей. Слава Богу, что нарыв прорвался наружу; в течение пятнадцати дней я надеюсь выздороветь и поехать в Азов. Его Царское Величество Петр Алексеевич уехал в город Воронеж, куда и я должен буду явиться. Он находится на Дону, все наши галеры тянут волоком по суше по направлению к Воронежу. Несомненно, вам уже известно о смерти старшего царя Иоанна Алексеевича. В настоящее время царь Петр управляет государством сам. У него есть сын, царевичу семь-восемь лет. Старший царь оставил после себя только царевен. Здесь все спокойно. В настоящее время происходят большие приготовления к кампании и сейчас войска начинают выступать в поход. Для осады Азова одной армией командует генерал Шеин, другой — боярин Шереметев, а еще одной —

казачий атаман. Его Величество удостоил меня быть адмиралом и я команду галерами. Их около 30, не считая других судов. У меня приблизительно пятнадцать тысяч отборного войска. Его Величество является первым капитаном. Будем держаться у устья реки в море, чтобы отрезать возможность помощи городу. Четыре тысячи человек я посажу в окопы, которые прикажу выкопать в устье. Татары, численностью свыше семидесяти тысяч, вошли в страну казаков и сожгли две деревни. Завязалась битва. Их преследовали и они вынуждены были перейти Днепр, в котором многие потонули. Господин ваш сын Пьер останется здесь [слово неразборчиво], его постараются устроить как можно лучше. Кузен Мишель Лект — майор, выйдет со мной в море на галере, которая пришла из Голландии. Его Величество присутствовал на [его] помолвке. Когда он вернется, то женится на г-же Крафферс, дочери генерал-майора, который уже давно умер. Это очень красивая девица, и с умом. Ее сестра помолвлена за г-ном Куломом, лейтенант-полковником, а сестра г-на Кулома за г-ном Огюстом Маршаном. Вот все, что я хотел вам сейчас сказать. Я не забуду перед моим отъездом написать подробно вам, а также г-же Руаяль, чтобы поблагодарить ее за хороший подарок. Мой брат Исаак боится, чтобы этот подарок не продали в возмещение расходов моего сына. Надеюсь, что этого не случится. У меня достаточно доходов, чтобы уплатить за его долги. Если бы я знал, что он доставит всем столько неприятностей, он никогда не поехал бы в Женеву. Если Господь смилостивится и разрешит мне вернуться из Азова здоровым, то я его выпишу в Голландию, а может быть и сюда, к маленькому царевичу. Дорогой брат, я кончаю мое письмо и сообщаю вам о том, что милости Его Величества до сих пор велики и больше, чем когда-либо, а наши враги уничтожены. Моя болезнь очень огорчает Его Царское Величество, и он лично несколько раз заставлял делать мне перевязку в его присутствии. Ввиду того, что отверстие большое, гноя выходит много. Нарыв только недавно созрел. Мой брат пишет мне красивые, которые мне были нужны для двенадцати упряжных лошадей. Через 15 дней я отправлю сушей все, что я могу дать, у меня есть две чудные пантеры. Что касается соборлей, то они еще не прибыли из Сибири. Я постараюсь исполнить

просьбу. Кончаю и остаюсь, господин и глубокоуважаемый брат, вашим покорнейшим и послушнейшим слугою,

Фр. Лефорт, генерал и адмирал.

Целую руки госпоже моей матери и тем, кто интересуется новостями от меня.

Приехав из Азова, я вручил г-ну Туртону две тысячи экю на расходы моего сына.

[Настоящее письмо — копия оригинала, который в архивах не найден]

Фр. Лефорт, адмирал —
Г-ну Исааку Лефорту,
Москва, 28 февраля 1696

Господин и глубокоуважаемый брат,

я получил ваше письмо. Приношу вам благодарность за труды и заботы, которые вы возложили на себя, чтобы добыть для меня такой богатый подарок от г-жи Руаяль. Я устрою все таким образом, чтобы его не продавать и постараюсь найти достаточно на расходы моего сына. Драгоценности мне не так милы, как портрет, который мне очень хочется увидеть. Вы пишете относительно шкур леопардов и тигров для двенадцати лошадей. Я не забуду о них и в течение пятнадцати дней, после которых отбываю в Азов, я велю их хорошо упаковать. Г-н Дихс, купец, займется этим. Думаю, что это принесет ему пользу. Я добавил две пантеры. Есть две исключительной красоты шкуры, которые были мне подарены, и которыми я никогда не пользовался. Более редкостных нет. Ввиду того, что большая часть князей находится под моим командованием, я надеюсь собрать большой урожай, может быть, добавив еще несколько интересных редкостей. Извините за почерк. Я лежу в кровати, не могу писать на столе из-за моего нарыва на правой стороне. Соболь из Сибири еще не пришел. Я не забуду отправить вам столько, сколько будет нужно. Его Величество Царь Петр Алексеевич соизволил произвести меня в адмиралы. У нас

будет около тридцати галер и много других судов. Его Величество будет Первым капитаном. Он уже отправился в Воронеж, город на Дону, для устройства галер, пока я не поправлюсь. Я вам напишу подробнее, когда вернусь из-под Азова. Я дал на хранение г-ну Туртону две тысячи экю на расходы моего сына. Тот мошенник, который в Париже рассказал вам новости обо мне, не мог здесь устроиться на службу; если это Сатан, то еще не так давно он служил конюхом. Вы волнуетесь по поводу дел, которых нет и в помине. Желаю вам, чтобы вы чувствовали себя настолько уверенно в Женеве, сколь уверенно я чувствую себя здесь.

Прощайте, дорогой брат, остаюсь вашим покорнейшим и послушнейшим,

Лефорт, генерал и адмирал.

Из [Немецкой] Слободы в Москве, 15 сентября 1696

Госпожи и глубокоуважаемые сестры,

с большой радостью у Азова я получил новости от вас. Я бы сразу же ответил вам, когда бы это было возможно. Служба, моя болезнь и неуверенность в том, что вы получите мои письма заставили меня подождать до моего возвращения в Москву 10 сентября. Водным путем я прибыл на расстояние 8 дней от Москвы, откуда должен был дальше ехать в санях. Для моего багажа в моем распоряжении было 200 перекладных лошадей. От Азова водным путем до первого города России я был в дороге пять с половиной недель. Хвала Господу, что я здесь и что все вышло соответственно желаниям Его Царского Величества. Ведется большая подготовка для въезда, который должен состояться через несколько дней; возводят триумфальные ворота, через которые Его Царское Величество должен въехать. Я поведу сухопутные и морские войска, несмотря на то, что я не совсем хорошо себя чувствую. За мной ухаживают четыре врача и около тридцати хирургов, пекущихся о моем выздоровлении. Дай Бог им успеха. Что касается меня, то я до невозможности страдаю. Я бесконечно вам обязан за вашу доброту и беспокойство, которые

вы желаете принять на себя, чтобы облегчить мои страдания. Надеюсь, что, по Божьей воле, я немного поправлюсь, чтобы самому поехать в Женеvu и вас лично поблагодарить, тем более, что мы дадим возможность нашим войскам отдохнуть перед следующим походом, т. к. они очень устали за два года военных действий. Остальные войска получают приказ идти в Татарию. Вот все, что я хотел вам сказать. А сейчас, без дальнейших проволочек, я поручаю себя вашей дорогой дружбе и умоляю вас заботиться о моем сыне. Мои [слово неразборчиво] получают от меня новости. Я остаюсь, глубокоуважаемые сестры, вашим покорнейшим слугою и братом,

Лефорт, генерал.

Из [Немецкой] Слободы в Москве, 25 сентября 1696

Господин и глубокоуважаемый брат,

я получил ваше последнее письмо, вернувшись в Москву после взятия Азова. Я рад, что, соответственно желанию всей нашей Республики, ваша поездка удалась. Согласно газетам, которые мы здесь получили из Парижа, Его Величество принял вас с большим почетом. Мы не ожидали таких хороших новостей. Да хранит вас Бог, чтобы вы не попали в руки папистов. Вы пишете относительно вашего сына, моего племянника. Я желал бы от всего сердца узнать его планы перед моим отъездом. У него нет больше планов поездки в Китай, и он даже оставил свое намерение ехать в Архангельск, а оттуда в Голландию, куда он имел бы поручения отсюда. Я поехал в Азов, веря, что, после моего возвращения, я больше не буду иметь счастья видеть его в этой стране. В мое отсутствие г-н Герваген вбил ему в голову это путешествие, а когда Его Царское Величество хотел узнать, куда он желает ехать, то он ответил — в Голландию. Что они хотят предпринять в настоящее время, я не знаю. Ни Герваген, ни ваш сын ничего мне еще не сказали — дороги в Китай труднопроходимые. Говорят, что калмыки под начальством одного князя хотят перейти границы этой страны. С тех пор, как умер их монарх, их страна находится в большой

тревоге и китайцы были уже побиты. Будьте уверены, господин и глубокоуважаемый брат, что я желаю помочь [племяннику] в его намерениях, но только тогда, когда он мне скажет сам свое мнение. Я не буду его принуждать к чему бы то ни было. Он будет делать то, что сам захочет. Я не хотел бы, чтобы смерть кузена Лекта была поводом к обвинению меня в том, что я заманиваю людей, которые, возможно, в других странах прожили бы дольше. Его Величество будет во главе шествия, лишь только закончат триумфальные ворота. Когда мои войска подойдут к Москве, я присоединюсь к ним, чтобы повести их через Москву до самой Слободы. У меня будет устроено большое празднество, как у командира флота, который был причиной победы. Никто не пришел на помощь туркам. Чтобы держать вас в курсе, следующей почтой напишу обо всем, что произойдет. Целую руки госпоже вашей дорогой половине и всей вашей семье и тем, с кем знаком. На этом кончаю и остаюсь, господин и глубокопочитаемый брат, вашим покорнейшим и любящим слугою.

Лефорт, генерал и адмирал.

Поручаю вам моего сына.

Господин и глубокоуважаемый брат!

Надеюсь, что вы получили последнее письмо, которое я послал г-ну бургомистру Витзену для передачи вам; в нем я описал мою поездку и состояние моего здоровья. С этого времени я чувствую себя немного лучше и, с Божьей помощью, господа врачи и хирурги надеются меня вылечить. Г-н Герваген, несомненно, написал вам о въезде Его Царского Величества Петра Алексеевича; он был очень торжественным. Я имел честь пройти первым с моими морскими частями, в которых Его Царское Величество исполнял должность командира. Так как я не мог перенести ни кареты, ни коляски, то проехал город, в котором мне не было необходимости останавливаться, не слезая, в санях, запряженных шестью лошадьми Его Величества, изумительно убранными. Я имею двенадцать упряжных лошадей, подходящих для такого въезда. Мне были устроены овации, а у триумфальных ворот преподнесены в подарок красивые ружья и писто-

леты. Вся пехота стреляла из ружей троекратно, также стреляли из всех московских пушек. Все другие генералы следовали в процессии. И это длилось с утра до вечера. Один изменник, который в прошлом году сбежал к туркам, был взят в плен при сдаче города. Его вели через Москву с завязанными руками к месту, где стояла виселица; около него было два палача. Этот изменник причинил нам много вреда. Он из Данцига — был лютеранином, затем москвичом, а в Азове — турком. Вчера его колесовали живьем, после чего, в знак милости, ему отсекли голову. Еще никогда въезд в Москву не был таким величественным. На следующий день Его Царское Величество милостиво пожаловал обедать ко мне со всеми морскими офицерами. Стреляли из пушек и трубили в трубы. Позавчера я похоронил кузена Лекта и господина Моло, инженера, уроженца Берна. Он был при мне с прошлого года. Его Царское Величество сопровождал [кортеж], чем оказал им честь. Было прикомандировано шесть рот, стреляли троекратно. Давно не было такого величественного погребения. Все князья и бояре были одеты в траурные одежды — большие плащи, траурные повязки. Приблизительно около ста человек были в трауре. После церемоний они милостиво пожаловали ко мне обедать, главным образом Его Царское Величество. Через 15 дней у меня будет большое веселье. Будут фейерверки и некоторое количество пушек; приблизительно 200 человек после бала и разных музыкальных выступлений будут у меня обедать. Хотелось бы быть в лучшем здоровье, тогда и дела были бы лучше. Сделаю все, что в моих силах, чтобы развеселить такое благородное общество. Не поверите, если я вам скажу, насколько царь огорчен моей болезнью. Я не желал бы умереть только из-за того, чтобы не причинять ему огорчений. Милости его огромны — он уже двадцать раз мне говорил, что предпочел бы лучше потерять важные дела. Врачи и хирурги получают выговор, если они оставят меня без надзора; повсюду, куда я иду, за мной следуют и смотрят, чтобы я ничем не злоупотреблял из того, что вредно моему здоровью. Уже год, как я веду умеренную жизнь, и вино мне запрещено. Я вооружаюсь терпением. Иногда, несмотря на все, я выпиваю стаканчик для утешения моих болей, если это возможно. Что до господина вашего сына, путешествие в Китай не состоится. Г-н Герва-

ген теперь больше об этом и не мечтает. Я предполагаю, что он не уверен в том, угодно ли Богу, чтобы он совершил путешествие в Голландию. Если я выздоровею, мой племянник, ваш сын, поедет с ним; возможно, что и я буду достаточно удачлив, чтобы поехать и обнять вас. Если господин ваш сын хочет устроиться здесь или в Голландии для того, чтобы заняться торговлей, то я сделаю для этого все возможное. Через несколько дней я вручу деньги г-ну Туртону и г-ну Плойяру. А в остальном я прошу вас заботиться о моем сыне, чтобы он хорошо занимался. Этим я буду вам очень обязан. Целую руки всей семье и госпоже моей глубокоуважаемой матери; уверьте ее в моем уважении и послушании. Мое единственное желание — увидеть ее еще один раз, что и будет главнейшей целью моего путешествия. Кончаю и остаюсь, господин и глубокоуважаемый брат, вашим покорнейшим и послушным слугой и братом.

Лефорт, генерал и адмирал.

Из [Немецкой] Слободы в Москве, 9 октября 1696.

*Предисловие, составление и перевод
Андрея Бабкина*

ТРОЦКИЙ

СТАЛИН

1917 ГОД

21—22 июля в Петрограде происходит исключительной важности совещание, оставшееся незамеченным властями и прессой. После трагически закончившейся авантюры наступления, в столицу стали все чаще прибывать делегаты с фронта с протестами против удушения свобод в армии и против затягивания войны. В Исполнительный Комитет их не допускали, так как соглашателям нечего было им сказать. Фронтовики знакомились друг с другом в коридорах и приемных и крепкими солдатскими словами отзывались о вельможах из ЦИК'а. Большевики, умевшие проникать всюду, посоветовали растерянным и озлобленным делегатам обменяться мыслями со столичными рабочими, солдатами и матросами. На возникшем таким образом совещании участвовали представители от 29 полков с фронта, 90 петроградских заводов, от кронштадтских моряков и окрестных гарнизонов. Несмотря на то, что большинство фронтовиков продолжало, по-видимому, считать себя эсерами, резкая большевистская резолюция была принята единодушно. В организации этого замечательного совещания Свердлов и Сталин принимали, видимо, руководящее участие.

Петроградская конференция, безуспешно пытавшаяся удержать массы от демонстрации, тянулась, после продолжительного перерыва, до ночи 20 июля. Ход ее работ очень поучителен для выяснения роли Сталина и его места в партии. Главной темой конференции была оценка

политического положения, как оно сложилось после июльского разгрома. Володарский, руководящий член Петроградского Комитета, заявил в самом начале: "По текущему моменту докладчиком может быть только Зиновьев... Желательно выслушать Ленина". Имени Сталина никто не называл. Но, прерванная массовым движением на полуслове, конференция возобновилась лишь 16 июля. Зиновьев и Ленин скрывались, и основной политический доклад лег на Сталина, который выступал как заместитель докладчика. "Для меня ясно, — говорил он, — что в данный момент контрреволюция победила нас, изолированных, преданных меньшевиками и эсерами, оболганных...". Победа буржуазной контрреволюции составляла исходную позицию докладчика. Не остается ничего другого, как готовиться к вооруженному восстанию, которое станет возможным, когда низы деревни, а с ними фронт, повернут в сторону рабочих. Этой смелой стратегической перспективе соответствовала очень осторожная тактическая директива на ближайший период. "Наша задача — собрать силы, укрепить существующие организации и удержать массы от преждевременного выступления... Это общая тактическая линия ЦК".

При всей примитивности своей формы, доклад давал глубокую оценку обстановки, изменившейся в несколько дней. Редакция протоколов отмечала в 1927 г.: "Основные положения этого доклада были согласованы с Лениным и построены согласно статье Ленина "Три кризиса", которая еще не успела появиться в печати". Делегаты знали сверх того, вероятнее всего через Крупскую, что Ленин написал для докладчика особые тезисы. "Группа конферентов, — гласит протокол, — просит огласить тезисы Ленина. Сталин сообщает, что у него нет с собой этих тезисов..."

Требование делегатов слишком понятно: перемена ориентации так радикальна, что они хотят услышать подлинный голос вождя. Но зато непонятен ответ Сталина: если он просто забыл тезисы дома, то их можно доставить к следующему заседанию. Однако, тезисы не были доставлены. Получается впечатление, что они были скрыты от конференции. Еще поразительнее тот факт, что "июльские тезисы", в отличие от всех других документов, написанных Лениным в подполье, вообще не дошли до нас. Так как единственный экземпляр был у Сталина, то остается предположить, что он утерял его. Однако, сам он об утере ничего не говорил. Редакция протоколов высказывает предположение, что

тезисы были составлены Лениным в духе его статей: "Три кризиса" и "К лозунгам", написанных до конференции, но опубликованных после нее в Кронштадте, где сохранилась свобода печати. Действительно, сравнение текстов показывает, что доклад Сталина был лишь простым изложением этих двух статей, без единого оригинального слова от себя. Самих статей Сталин не читал и существования их, очевидно, не подозревал, но он опирался на тезисы, тождественные по ходу мыслей со статьями. И это обстоятельство достаточно объясняет, почему докладчик "забыл" принести на конференцию тезисы Ленина, и почему этот документ вообще не сохранился. Характер Сталина делает эту гипотезу не только допустимой, но прямо-таки навязывает ее.

В комиссии конференции, где шла, видимо, ожесточенная борьба, Володарский, отказавшийся признать, что в июле контрреволюция одержала полную победу, собрал большинство. Вышедшую из комиссии резолюцию защищал перед конференцией уже не Сталин, а Володарский. Сталин не потребовал содоклада и не участвовал в прениях. Среди делегатов царило замешательство. Резолюцию Володарского поддержали в конце концов 28 делегатов против 3 и при 28 воздержавшихся. Группа Выборгских делегатов мотивировала свое воздержание тем, что "не были оглашены тезисы Ленина, и резолюцию защищал не докладчик". Намек на неблагоприятное сокрытие тезисов был слишком явен. Сталин отмалчивался. Он потерпел двойное поражение, так как вызвал недовольство сокрытием тезисов и не сумел собрать в их пользу большинства. [...]

Петроградская конференция явилась как бы репетицией партийного съезда, который собрался 26 июля. К этому моменту почти все районные советы Петрограда были уже в руках большевиков. В фабрично-заводских комитетах, как и в правлениях профессиональных союзов, влияние большевиков успело стать преобладающим. Организационная подготовка съезда сосредоточивалась в руках Свердлова. Политическую подготовку вел Ленин из подполья. В письмах в ЦК и в возобновившейся большевистской печати он с разных сторон освещал политическую обстановку. Им же были написаны проекты всех основных резолюций для съезда, причем доводы были тщательно взвешены на тайных свиданиях с будущими докладчиками.

Съезд созывался под именем "объединительного", так как на нем предстояло включение в партию петроградской межрайонной орга-

низации, к которой принадлежали: Троцкий, Иоффе, Урицкий, Рязанов, Луначарский, Покровский, Мануильский, Юренев, Карахан и другие революционеры, так или иначе вошедшие в историю советской революции. "В годы войны, — говорит примечание к "Сочинениям" Ленина, — межрайонцы были близки большевистскому Петербургскому Комитету". Организация насчитывала к моменту съезда около 4.000 рабочих.

Сведения о съезде, заседавшем полулегально в двух рабочих районах, проникали в печать; в правительственных сферах поговаривали о роспуске съезда, но в конце концов Керенский счел более благоразумным не соваться в Выборгский район. Из большевиков, получивших известность впоследствии, на съезде участвовали: Свердлов, Бухарин, Сталин, Молотов, Ворошилов, Орджоникидзе, Юренев, Мануильский... В президиум вошли Свердлов, Ольминский, Ломов, Юренев и Сталин. Даже здесь, где отсутствуют наиболее видные фигуры большевизма, имя Сталина оказывается на последнем месте. Съезд постановляет послать приветствие "Ленину, Троцкому, Зиновьеву, Луначарскому, Каменеву, Коллонтай и всем остальным арестованным и преследуемым товарищам". Их выбирают в почетный президиум. Издание 1938 г. упоминает только об избрании Ленина.

Об организационной работе ЦК отчет делал Свердлов. Со времени апрельской конференции партия выросла с 80 до 240 тысяч членов, т. е. втрое. Рост под июльскими ударами был здоровым ростом. Тираж всей большевистской печати поражает своей незначительностью: 320 тысяч экземпляров на гигантскую страну!

Сталин повторил два своих доклада: о политической деятельности ЦК и о положении в стране. В связи с муниципальными выборами, на которых большевики завоевали в столице около 20% голосов, Сталин докладывал: "ЦК ... приложил все силы, чтобы дать бой как кадетам, основной силе контрреволюции, так и меньшевикам и эсерам, вольно или невольно пошедшим за кадетами". Много воды утекло со времени мартовского совещания, когда Сталин зачислял меньшевиков и эсеров в "революционную демократию" и возлагал на кадетов миссию "закреплять" завоевания революции.

Вопрос о войне, социал-патриотизме, крушении Второго Интернационала и группировках в мировом социализме был, вопреки традиции, выделен из политического доклада и поручен Бухарину, так как на международной арене Сталин совершенно не разбирался. Бухарин

доказывал, что кампания за мир путем "давления" на Временное правительство и другие правительства Антанты потерпела полное крушение, и что только низвержение Временного правительства способно приблизить демократическую ликвидацию войны. Вслед за Бухариным Сталин сделал доклад о задачах партии. Прения велись совместно по обоим докладам, хотя, как оказалось, между докладчиками не было полного согласия.

"Некоторые товарищи говорили, — докладывал Сталин, — что, как у нас капитализм слабо развит, то утопично ставить вопрос о социалистической революции. Они были бы правы, если бы не было войны, если бы не было разрухи, не были расшатаны основы народного хозяйства. Но эти вопросы о вмешательстве в хозяйственную сферу ставятся во всех государствах, как необходимые вопросы...". К тому же "нигде у пролетариата не было таких широких организаций, как советы... Все это исключало возможность невмешательства рабочих масс в хозяйственную жизнь. В этом реальная основа постановки вопроса о социалистической революции у нас в России". Основной довод поражает явной несообразностью: если слабое развитие капитализма делает программу социалистической революции утопичной, то военное разрушение производительных сил должно не приблизить, а наоборот, еще более отдалить эру социализма... Надо, впрочем, сказать, что Сталин заимствовал свой довод из отдельных неразвитых замечаний Ленина, которые как бы имели своей целью примирить старые кадры с необходимостью перевооружения.

В прениях Бухарин пытался отстоять частично старую схему большевизма: в первой революции русский пролетариат идет рука об руку с крестьянством во имя демократии; во второй революции — рука об руку с европейским пролетариатом во имя социализма. "В чем перспектива Бухарина? — возражал Сталин. — По его мнению, в первом этапе мы идем к крестьянской революции. Но ведь она не может ... не совпасть с рабочей революцией. Не может быть, чтобы рабочий класс, составляющий авангард революции, не боролся вместе с тем за свои собственные требования"... Сталин повторял против Бухарина те соображения, которые впервые были изложены в начале 1905 г. и до апреля 1917 г. объявлялись "утопизмом". Через несколько лет Сталин забудет, однако, повторенные им на 6-ом съезде аргументы и возродит, вместе с Бухариным, формулу "демократической диктатуры", которая займет

большое место в программе Коминтерна и сыграет роковую роль в революционном движении Китая и других стран.

Основная задача съезда состояла в том, чтобы заменить лозунг мирного перехода власти к советам лозунгом подготовки вооруженного восстания. Для этого необходимо было прежде всего понять происшедший сдвиг в соотношении сил. Общее направление сдвига было очевидно: от народа — к буржуазии. Но определить размеры перемены было гораздо труднее: только новое открытое столкновение между классами могло измерить новое соотношение сил. Такой проверкой явилось в конце августа восстание генерала Корнилова, сразу обнаружившее, что за буржуазией по-прежнему нет опоры в народе или армии. Июльский сдвиг имел, следовательно, поверхностный и эпизодический характер, но он оставался тем не менее вполне реален: отныне уже немислимо было говорить о мирном переходе власти к советам. Формулируя новый курс, Ленин прежде всего был озабочен тем, чтобы как можно решительнее повернуть партию лицом к изменившемуся соотношению сил. В известном смысле, он прибегал к преднамеренному преувеличению: недооценить силу врага опаснее, чем переоценить ее. Но преувеличенная оценка вызвала отпор на съезде, как раньше на Петроградской конференции, — тем более, что Сталин придавал мыслям Ленина упрощенное выражение.

“Положение ясно, — говорил Сталин, — теперь о двоевластии никто не говорит. Если ранее советы представляли реальную силу, то теперь это лишь органы сплочения масс, не имеющие никакой власти”. Некоторые делегаты совершенно правильно возражали, что в июле временно восторжествовала реакция, но не победила контрреволюция, и что двоевластие еще не ликвидировано в пользу буржуазии. На эти доводы Сталин отвечал, как и на конференции, аксиоматической фразой: “Во время революции реакции не бывает”... Советские историки и комментаторы продолжают и сегодня переписывать из книги в книгу формулы Сталина, совершенно не задаваясь вопросом: если в июле власть перешла в руки буржуазии, то почему ей в августе пришлось прибегать к восстанию? До июльских событий именовали двоевластием тот режим, при котором Временное правительство оставалось лишь призраком, тогда как реальная сила сосредоточивалась у Совета. После июльских событий часть реальной власти перешла от Совета к буржуазии, но только часть: двоевластие не исчезло. Этим и определился в даль-

нейшем характер Октябрьского восстания.

“Если контрреволюционерам удастся продержаться месяц—другой, — говорил Сталин далее, — то только потому, что принцип коалиции не изжит. Но поскольку развиваются силы революции, взрывы будут, и настанет момент, когда рабочие поднимут и сплотят вокруг себя бедные слои крестьянства, поднимут знамя рабочей революции и откроют эру социалистической революции на Западе”. Заметим: миссия русского пролетариата — открыть “эру социалистической революции на западе”. Это — формула партии в течение ближайших лет. Во всем основном доклад Сталина дает правильную оценку обстановки и правильный прогноз: оценку и прогноз Ленина. Нельзя, однако, не отметить, что в его докладе, как всегда, отсутствует развитие мысли. Оратор утверждает, провозглашает, но не доказывает. Его оценки сделаны на глаз или заимствованы в готовом виде; они не прошли через лабораторию аналитической мысли и между ними не установилось той органической связи, которая сама из себя порождает нужные доводы, аналогии и иллюстрации. Полемика Сталина состоит в повторении уже высказанной мысли, иногда в виде афоризма, предполагающего доказанным то, что как раз требует доказательства. Нередко доводы сдобриваются грубостью, особенно в заключительном слове, когда нет основания опасаться возражений противника.

В издании 1928 г., посвященном 6-му съезду, читаем: “В члены ЦК избраны Ленин, Сталин, Свердлов, Дзержинский и др.”. Рядом со Сталиным названы только три умерших. Между тем протоколы съезда сообщают, что Центральный Комитет был избран в составе 21 члена и 10 кандидатов. Ввиду полулегального положения партии имена выбранных путем закрытого голосования лиц не были оглашены на съезде, за исключением четырех, получивших наибольшее число голосов: Ленин — 133 из 134, Зиновьев — 132, Каменев — 131, Троцкий — 131. Кроме них были выбраны: Ногин, Коллонтай, Сталин, Свердлов, Рыков, Бухарин, Артем, Урицкий, Милютин, Берзин, Бубнов, Дзержинский, Крестинский, Муранов, Смилга, Сокольников, Шаумян. Имена расположены в порядке полученного числа голосов. Из кандидатов удалось установить имена восьми: Ломов, Иоффе, Стасова, Яковлева, Джапаридзе, Киселев, Преображенский, Скрипник. Из 29 членов и кандидатов только 4: Ленин, Свердлов, Дзержинский и Ногин умерли естественной смертью, причем Ногин был после смерти приравнен к врагам народа; 13 были

приговорены официально к расстрелу или бесследно исчезли; двое, Иоффе и Скрыпник, были доведены преследованиями до самоубийства; трое: Урицкий, Шаумян и Джапаридзе не были расстреляны Сталиным только потому, что были ранее убиты врагами; один, Артем, пал жертвой несчастного случая; судьба четырех нам неизвестна. В итоге, Центральный Комитет, которому суждено было руководить Октябрьским переворотом, почти на две трети состоял из "предателей", если даже оставить открытым вопрос о том, как закончили бы Ленин, Свердлов и Дзержинский.

3 августа закончился съезд. На другой день был освобожден из тюрьмы Каменев. Он не только выступает отныне систематически в советских учреждениях, но и оказывает несомненное влияние на общую политику партии и лично на Сталина. Они оба, хотя и в разной степени, приспособились к новому курсу. Но им обоим не так просто освободиться от навыков собственной мысли. Где может, Каменев притупляет острые углы ленинской политики. Сталин против этого ничего не имеет; он не хочет лишь подставляться сам. Открытый конфликт вспыхивает по вопросу о социалистической конференции в Стокгольме, инициатива которой исходила от германских социал-демократов. Русские патриоты-согласатели, склонные хвататься за соломинку, усмотрели в этой конференции важное средство "борьбы за мир". Наоборот, обвиненный в связи с германским штабом, Ленин решительно восстал против участия в предприятии, за которым заведомо стояло германское правительство. В заседании ЦИК 6-го августа Каменев открыто выступил за участие в конференции. Сталин даже и не подумал встать на защиту позиции партии в "Пролетарии" (так именовалась ныне "Правда"). Наоборот, резкая статья Ленина против Каменева натолкнулась на сопротивление со стороны Сталина и появилась в печати лишь через десять дней, в результате настойчивых требований автора и его обращения к другим членам ЦК. Открыто на защиту Каменева Сталин все же не выступил.

Немедленно же после освобождения Каменева из демократического министерства юстиции пущен был в печать слух об его причастности к царской охранке. Каменев потребовал расследования. ЦК поручает Сталину "переговорить с Гоцем (один из лидеров эсеров) о комиссии по делу Каменева". Мы уже встречали поручения такого типа: "поговорить" с меньшевиком Богдановым по поводу кронштадтцев, "поговорить" с

меньшевиком Анисимовым о гарантиях для Ленина. Оставаясь за кулисами, Сталин лучше других подходил для всякого рода шекотливых поручений. К тому же у ЦК всегда была уверенность, что в переговорах с противниками Сталин не даст себя обмануть.

"Змеиное шипение контрреволюции, — пишет Сталин 13 августа по поводу клеветы на Каменева, — вновь становится громче. Из-за угла высовывает гнусная гидра реакции свое ядовитое жало. Укусит и опять спрячется в свою темную нору" — и т. д., в том же стиле эры тифлисских "хамелеонов". Но статья интересна не только стилистически. "Гнусная травля, вакханалия лжи и клеветы, дерзкий обман, низкий подлог и фальсификация, — продолжает автор, — приобретают размеры, доселе невиданные в истории... Сперва намеревались испытанных борцов революции объявить германскими шпионами, когда это сорвалось — их хотят сделать шпионами царскими. Так людей, которые всю сознательную жизнь посвятили делу революционной борьбы против царского режима, теперь пытаются объявить... царскими слугами... Политический смысл всего этого очевиден: контрреволюционных дел мастерам во что бы то ни стало необходимо изъять и обезвредить Каменева, как одного из признанных вождей революционного пролетариата". К сожалению, эта статья не фигурировала в материалах прокурора Вышинского во время процесса Каменева в 1936 г.

30 августа Сталин печатает без оговорок неподписанную статью Зиновьева "Чего не делать", явно направленную против подготовки восстания. "Надо смотреть правде в лицо: в Петрограде сейчас налицо много условий, благоприятствующих возникновению восстания типа Парижской Коммуны 1871 года". Не называя Зиновьева, Ленин пишет 3 сентября: "Ссылка на Коммуну очень поверхностна и даже глупа... Коммуна не могла предложить народу сразу того, что смогут предложить большевики, если станут властью, именно: землю крестьянам, немедленное предложение мира". Удар по Зиновьеву бил рикошетом по редактору газеты. Но Сталин промолчал. Он готов анонимно поддержать выступление против Ленина справа. Но он остерегается ввязываться сам. При первой опасности он отходит в сторону.

О газетной работе самого Сталина за этот период сказать почти нечего. Он был редактором центрального органа не потому, что был писателем по природе, а потому, что не был оратором и вообще не был приспособлен для открытой арены. Он не написал ни одной статьи,

которая привлекла бы к себе внимание; не поставил на обсуждение ни одного нового вопроса; не ввел в оборот ни одного лозунга. Он комментировал события безличным языком в рамках взглядов, установившихся в партии. Это был скорее ответственный чиновник партии при газете, чем революционный публицист.

Прилив массового движения и возвращение к работе временно оторванных от нее членов ЦК, естественно, отбрасывает его от той выдающейся позиции, которую он занял в период июльского съезда. Его работа развертывается в закрытом сосуде, неведомая для масс, незаметная для врагов. В 1924 г. Комиссия по истории партии выпустила в нескольких томах обильную хронику революции. На 422-х страницах IV тома, посвященных августу и сентябрю, зарегистрированы все сколько-нибудь заслуживающие внимания события, эпизоды, столкновения, резолюции, речи, статьи. Свердлов, тогда еще малоизвестный, называется в этом томе три раза, Каменев — 46 раз, Троцкий, просидевший август и начало сентября в тюрьме — 31 раз, Ленин, находившийся в подполье — 16 раз. Зиновьев, разделявший судьбу Ленина, — 6 раз. Сталин не упомянут вовсе. В указателе, заключающем около 500 собственных имен, имени Сталина нет. Это значит, что печать не отметила за эти два месяца ни одного из его действий, ни одной из его речей, и что никто из более видных участников событий ни разу не назвал его по имени.

К счастью, по сохранившимся, правда, неполным, протоколам ЦК за семь месяцев (август 1917 г.—февраль 1918 г.) можно довольно близко проследить роль Сталина в жизни партии, вернее сказать, ее штаба. На всякого рода конференции и съезды делегируются, за отсутствием политических вождей, Милютин, Смилга, Глебов, маловлиятельные фигуры, но более приспособленные к открытым выступлениям. Имя Сталина встречается в решениях не часто. Урицкому, Сокольникову и Сталину поручается организовать комиссию по выборам в Учредительное Собрание. Той же тройке поручается составить резолюцию о Стокгольмской конференции. Сталину поручаются переговоры с типографией по восстановлению центрального органа. Еще комиссия для составления резолюции и т. д. После июльского съезда принято предложение Сталина организовать работу ЦК на началах "строгого распределения функций". Однако, это легче написать, чем выполнить: ход событий еще долго будет смешивать функции и опрокидывать решения. 2 сентября

ЦК назначает редакционные коллегии еженедельного и ежемесячного журналов, обе с участием Сталина. 6 сентября — после освобождения из тюрьмы Троцкого — Сталин и Рязанов заменяются в редакции теоретического журнала Троцким и Каменевым. Но и это решение остается лишь в протоколах. На самом деле оба журнала вышли только по одному разу, причем фактические редакции совершенно не совпадали с назначенными.

5 октября ЦК создает комиссию для подготовки к будущему съезду проекта партийной программы. Состав комиссии: Ленин, Бухарин, Троцкий, Каменев, Сокольников, Коллонтай. Сталин в комиссию не включен. Не потому, что против его кандидатуры имелась оппозиция, — просто его имя никому не пришло в голову, когда дело шло о выработке важнейшего теоретического документа партии. Программная комиссия не собралась, однако, ни разу: в порядке дня стояли совсем другие задачи. Партия совершила переворот и завоевала власть, не имея законченной программы. Так, даже в чисто партийных делах события распределяли людей не всегда в соответствии с видами и планами партийной иерархии. ЦК создает редакции, комиссии, тройки, пятерки, семерки, которые не успевают еще собраться, как вторгаются новые события, и все забывают о вчерашнем решении. К тому же протоколы, по соображениям конспирации, тщательно прячутся, и никто не справляется с ними.

Обращает на себя внимание сравнительно частый абсентеизм Сталина. Из 24 заседаний ЦК за август, сентябрь и первую неделю октября он отсутствовал шесть раз; в отношении других шести заседаний не хватает списка участников. Эта неаккуратность тем менее объяснима, что Сталин не принимал участия в работе Совета и ЦИК'а и не выступал на митингах. Очевидно, сам он вовсе не придавал своему участию в заседаниях ЦК того значения, какое ему приписывается ныне. В ряде случаев его отсутствие объяснялось несомненно обидой и раздражением: когда ему не удается настоять на своем, он предпочитает не показывать глаз, скрываться и угрюмо мечтать о реванше.

Не лишен интереса порядок, в каком присутствующие члены ЦК записаны в протоколах. 13 сентября: Троцкий, Каменев, Сталин, Свердлов и другие. 15 сентября: Троцкий, Каменев, Рыков, Ногин, Сталин, Свердлов и др. 20 сентября: Троцкий, Урицкий, Бубнов, Бухарин и др. (Сталин и Каменев отсутствуют). 21 сентября: Троцкий, Каменев,

Сталин, Сокольников и др. 23 сентября: Троцкий, Каменев, Зиновьев и т. д. (Сталин отсутствует). Порядок имен не был, конечно, регламентирован и иногда нарушался. Но он все же не случаен, особенно если принять во внимание, что в предшествующий период, когда отсутствовали Троцкий, Каменев и Зиновьев, имя Сталина встречается в некоторых протоколах на первом месте. Все это, конечно, мелочи; но ничего более крупного мы не находим, а в то же время в этих мелочах нелицеприятно отражается повседневная жизнь ЦК и место в ней Сталина.

Чем больше размах движения, тем меньше это место, тем труднее выделить Сталина из рядовых членов ЦК. В октябре, решающем месяце решающего года, Сталин менее заметен, чем когда-либо. Усеченный ЦК, единственная опорная база Сталина, сам лишен за эти месяцы внутренней уверенности. Его решения слишком часто опрокидываются инициативой, возникающей за его пределами. Аппарат партии вообще не чувствует себя твердо в революционном водовороте. Чем шире и глубже влияние лозунгов большевизма, тем труднее комитетчикам охватить движение. Чем больше советы подпадают под влияние партии, тем меньше места находит себе ее аппарат. Таков один из парадоксов революции.

Переноса на 1917-ый год те отношения, которые сложились значительно позже, когда воды потопа вошли в берега, многие историки, даже вполне добросовестные, представляют дело так, будто Центральный Комитет непосредственно руководил политикой Петроградского Совета, ставшего к началу сентября большевистским. На самом деле этого не было. Протоколы с несомненностью показывают, что, за вычетом нескольких пленарных заседаний с участием Ленина, Троцкого и Зиновьева, Центральный Комитет не играл политической роли. Инициатива ни в одном большом вопросе не принадлежала ему. Многие решения ЦК за этот период повисают в воздухе, столкнувшись с решениями Совета. Важнейшие постановления Совета превращаются в действия, прежде чем ЦК успеет обсудить их. Только после завоевания власти, окончания гражданской войны и установления правильного режима ЦК сосредоточит постепенно в своих руках руководство советской работой. Тогда придет очередь Сталина.

8 августа ЦК открывает кампанию против созываемого Керенским в Москве Государственного Совещания, грубо подтасованного в интере-

сах буржуазии. Совещание открывается 12-го августа, под гнетом всеобщей стачки протеста московских рабочих. Сила большевиков, не допущенных на Совещание, нашла более действенное выражение. Буржуазия напугана и ожесточена. Сдав 21-го Ригу немцам, главнокомандующий Корнилов открывает 25-го поход на Петроград в поисках личной диктатуры. Керенский, обманувшийся в своих расчетах на Корнилова, объявляет главнокомандующего "изменником родине". Даже в этот решительный момент, 27-го августа, Сталин не появляется в ЦИК'е. От имени большевиков выступает Сокольников. Он докладывает о готовности большевиков согласовать военные меры с органами советского большинства. Меньшевики и эсеры принимают предложение с благодарностью и со скрежетом зубов, ибо солдаты и рабочие шли с большевиками. Быстрая и бескровная ликвидация корниловского мятежа полностью возвращает советам власть, частично утерянную ими в июле. Большевики восстанавливают лозунг: "Вся власть советам". Ленин в печати предлагает соглашателям компромисс: пусть советы возьмут власть и обеспечат полную свободу пропаганды, тогда большевики полностью станут на почву советской легальности. Соглашатели враждебно отклоняют компромисс, предложенный слева; они по-прежнему ищут союзников справа.

Высокомерный отказ соглашателей только укрепляет большевиков. Как и в 1905 г., преобладание, которое принесла меньшевикам первая волна революции, быстро тает в атмосфере обостряющейся классовой борьбы. Но в отличие от первой революции, рост большевизма совпадает теперь не с упадком массового движения, а с его подъемом. В деревне тот же по существу процесс принимает иную форму: от господствующей в крестьянстве партии социалистов-революционеров отделяется левое крыло и пытается идти в ногу с большевиками. Гарнизоны больших городов почти сплошь с рабочими. "Да, большевики работали усердно и неустанно, — свидетельствует Суханов, меньшевик левого крыла. — Они были в массах, у станков, повседневно, постоянно... Масса жила и дышала вместе с большевиками. Она была в руках партии Ленина и Троцкого". В руках партии, но не в руках ее аппарата.

31 августа Петроградский Совет впервые принял политическую резолюцию большевиков. Пытаясь не сдаваться, соглашатели решили произвести новую проверку сил. 9 сентября вопрос был поставлен в совете ребром. За старый президиум и политику коалиции — 414 голосов,

против — 519; воздержалось 67. Меньшевики и эсеры подвели итоги политике соглашения с буржуазией. Созданное ими новое коалиционное правительство Совет встретил резолюцией, внесенной его новым председателем Троцким: "Новое правительство... войдет в историю революции, как правительство гражданской войны... Всероссийский съезд советов создаст истинно революционную власть". Это было прямым объявлением войны соглашателям, отвергнувшим "компромисс".

14 сентября открывается в Петрограде так называемое Демократическое Совецание, созванное ЦИК'ом якобы в противовес Государственному Совецанию, а на самом деле для санкционирования все той же насквозь прогнившей коалиции. Политика соглашательства превращалась в бред. Несколько дней перед тем Крупская совершает тайную поездку к Ленину в Финляндию. В битком набитом солдатами вагоне все говорят не о коалиции, а о восстании. "Когда я рассказала Ильичу об этих разговорах солдат, лицо его стало задумчивым и потом уже о чем бы он ни говорил, эта задумчивость не сходила у него с лица. Видно было, что говорит он об одном, а думает о другом — о восстании, о том, как лучше его подготовить".

В день открытия Демократического Совецания — самого пустого из всех лжепарламентов демократии — Ленин пишет в ЦК свои знаменитые письма: "Большевики должны взять власть" и "Марксизм и восстание". На этот раз он требует немедленных действий: поднять полки и заводы, арестовать правительство и Демократическое Совецание, захватить власть. План сегодня еще явно невыполним, но он дает новое направление мысли и деятельности ЦК. Каменев предлагает категорически отвергнуть предложение Ленина, как пагубное. Опасаясь, что письма пойдут по партии помимо ЦК, Каменев собирает 6 голосов за уничтожение всех экземпляров, кроме одного, предназначенного для архива. Сталин предлагает "разослать письма в наиболее важные организации и предложить обсудить их". Позднейший комментарий гласит, что предложение Сталина "имело целью организовать воздействие местных партийных комитетов на ЦК и подтолкнуть его к выполнению ленинских директив". Если б дело обстояло так, Сталин выступил бы в защиту предложений Ленина и противопоставил бы резолюции Каменева свою. Но он был далек от этой мысли. На местах комитетчики были, в большинстве, правее ЦК. Разослать им письма Ленина без поддержки ЦК значило высказаться против этих писем. Своим предло-

жением Сталин хотел попросту выиграть время и получить возможность, в случае конфликта, сослаться на сопротивление комитетов. Колебания парализовали ЦК. Вопрос о письмах Ленина решено перенести на ближайшее заседание. В неистовом нетерпении Ленин ждал ответа. Однако, на ближайшее заседание, собравшееся только через пять дней, Сталин совсем не явился, и вопрос о письмах не был даже включен в порядок дня. Чем горячее атмосфера, тем холоднее маневрирует Сталин.

Демократическое Совещание постановило сконструировать, по приглашению с буржуазией, некоторое подобие представительного учреждения, которому Керенский обещал дать совещательные права. Отношение к этому Совету Республики, или Предпарламенту, сразу превратилось для большевиков в острую тактическую задачу: принять ли в нем участие или перешагнуть через него к восстанию? В качестве намечавшегося докладчика ЦК на партийной фракции Демократического Совещания, Троцкий выдвинул идею бойкота. Центральный Комитет, разделившийся по спорному вопросу почти пополам (9 — за бойкот, 8 — против), передал вопрос на разрешение фракции. Для изложения противоположных точек зрения "выделено два доклада: Троцкого и Рыкова". "На самом деле, — настаивал Сталин в 1925 году, — докладчиков было четверо: двое за бойкот Предпарламента (Троцкий и Сталин) и двое за участие (Каменев и Ногин)". Это почти верно: когда фракция решила прекратить прения, она постановила дать высказаться еще по одному представителю с каждой стороны: Сталину — от бойкотистов и Каменеву (а не Ногину) от сторонников участия. Рыков и Каменев собрали 77 голосов; Троцкий и Сталин — 50. Поражение тактике бойкота нанесли провинциалы, которые во многих пунктах страны только недавно отделились от меньшевиков.

На поверхностный взгляд могло казаться, что разногласие имеет второстепенный характер. На самом деле вопрос шел о том, собирается ли партия оставаться оппозицией на почве буржуазной республики или же ставит себе задачей штурм власти. Ввиду важности, которую приобрел этот эпизод в официальной историографии, Сталин напомнил о себе, как о докладчике. Услужливый редактор прибавил от себя, что Троцкий выступал за "промежуточную позицию". В дальнейших изданиях Троцкий выпущен вовсе. Новая "История" гласит: "против участия в Предпарламенте решительно выступал Сталин". Однако, помимо свидетельства протоколов, сохранилось свидетельство Ленина. "Надо

бойкотировать Предпарламент, — писал он 23 сентября. — Надо уйти ... к массам. Надо им дать правильный и ясный лозунг: разогнать бонапартистскую банду Керенского с его поддельным Предпарламентом". Затем приписка: "Троцкий был за бойкот. Bravo, товарищ Троцкий!". Впрочем, Кремлем официально предписано устранить из нового издания "Сочинений" Ленина все подобные погрешности.

7 октября большевистская фракция демонстративно покинула Предпарламент: "Мы обращаемся к народу. Вся власть советам!". Это было равносильно призыву к восстанию. В тот же день на заседании ЦК было постановлено создать "Бюро для информации по борьбе с контрреволюцией". Преднамеренно туманное название прикрывало конкретную задачу: разведку и подготовку восстания. Троцкому, Свердлову и Бубнову поручено организовать это Бюро. Ввиду скупости протокола и отсутствия других документов автор вынужден здесь апеллировать к собственной памяти. Сталин от участия в Бюро уклонился, предложив вместо себя малоавторитетного Бубнова. К самой идее он отнесся сдержанно, если не скептически. Он был за восстание, но не верил, что рабочие и солдаты готовы к действию. Он жил изолированно не только от масс, но и от их советского представительства, питаясь преломленными впечатлениями партийного аппарата. Июльский опыт не прошел для масс бесследно. Слепого напора больше, действительно, не было; появилась осмотрительность. С другой стороны, доверие к большевикам успело окраситься тревогой: сумеют ли они сделать то, что обещают? Большевистские агитаторы жаловались иногда, что со стороны масс чувствуется "холодок". На самом деле это была усталость от ожидания, от неопределенности, от слов. Но в аппарате эту усталость нередко характеризовали словами: "боевого настроения нет". Отсюда налет скептицизма у многих комитетчиков. К тому же холодок под ложечкой чувствуют перед восстанием, как и перед боем, и самые мужественные люди. В этом не всегда признаются, но это так. Настроение самого Сталина отличалось двойственностью. Он не забывал апреля, когда его мудрость "практика" была жестоко посрамлена. С другой стороны, аппарату Сталин доверял несравненно больше, чем массам. Во всех важнейших случаях он страховал себя, голосуя с Лениным. Но он не проявлял никакой инициативы в направлении вынесенных решений, уклонялся от прямого приступа к решительным действиям, сохранял

мости отступления, влиял на других расхолаживающе и в конце концов прошел мимо Октябрьского восстания по касательной.

Из Бюро по борьбе с контрреволюцией, правда, ничего не вышло, но вовсе не по вине масс. 9-го начался в Смольном новый острый конфликт с правительством, постановившим вывести революционные войска из столицы на фронт. Гарнизон теснее примкнул к своему защитнику, Совету. Подготовка восстания сразу получила конкретную основу. Вчерашний инициатор "Бюро" перенес все свое внимание на создание военного штаба при Совете. Первый шаг был сделан в тот же день, 9-го октября. "Для противодействия попыткам штаба вывести революционные войска из Петрограда" Исполнительным Комитетом решено было создать Военно-Революционный Комитет. Так, логикой вещей, без всякого обсуждения в ЦК, почти неожиданно, восстание завязалось на советской арене и стало строить свой советский штаб, гораздо более действительный, чем "Бюро" 7-го октября.

Ближайшее заседание ЦК, с участием Ленина в парике, состоялось 10 октября и получило историческое значение. В центре обсуждения стояла резолюция Ленина, выдвигавшая вооруженное восстание, как неотложную практическую задачу. Затруднение, даже для самых убежденных сторонников восстания, состояло, однако, в вопросе о сроке. Под давлением большевиков соглашательский ЦИК еще в дни Демократического Совещания назначил съезд советов на 20 октября. Теперь имела полная уверенность, что съезд даст большевистское большинство. Переворот, по крайней мере в Петрограде, должен был во что бы то ни стало завершиться до 20-го, иначе съезд не только не смог бы взять в свои руки власть, но рисковал бы быть разогнанным. В заседании ЦК решено было, без занесения на бумагу, начать в Петрограде восстание около 15-го. На подготовку оставалось, таким образом, каких-нибудь пять дней. Все чувствовали, что этого мало. Но партия оказалась пленницей срока, который сама она, в другом порядке, навязала соглашателям. Сообщение Троцкого о том, что в Исполнительном Комитете постановлено создать свой военный штаб, не произвело большого впечатления, ибо дело шло больше о плане, чем о факте. Все внимание было сосредоточено на полемике с Зиновьевым и Каменевым, которые решительно возражали против восстания. Сталин в этом заседании, видимо, не выступал вовсе или ограничился короткой репликой; во всяком случае, в протоколах не осталось следов его речи. Резолюция

была принята 10-ю голосами против 2-х. Но тревога насчет срока осталась у всех участников.

Под самый конец заседания, затянувшегося далеко за полночь, по довольно случайной инициативе Дзержинского было постановлено: "Образовать для политического руководства восстанием бюро в составе Ленина, Зиновьева, Каменева, Троцкого, Сталина, Сокольников и Бубнова". Это важное решение осталось, однако, без последствий: Ленин и Зиновьев продолжали скрываться, Зиновьев и Каменев стали в непримиримую оппозицию к решению 10-го октября. "Бюро для политического руководства восстанием" ни разу не собралось. Лишь имя его сохранилось в приписке чернилами к отрывочному протоколу, написанному карандашом. Под сокращенным именем "семерки" это призрачное Бюро вошло в официальную историческую науку.

Работа по созданию Военно-Революционного Комитета при Совете шла своим чередом. Однако, тяжеловесный механизм советской демократии не допускал слишком резкого скачка. А времени до съезда оставалось мало. Ленин не без основания боялся промедления. По его требованию созывается 16 октября новое заседание ЦК с участием наиболее ответственных петроградских работников. Зиновьев и Каменев по-прежнему в оппозиции. С формальной стороны их положение даже укрепилось: прошло шесть дней, а восстание не началось. Зиновьев требует отложить решение вопроса до съезда советов, чтоб "посоветоваться" с провинциальными делегатами: в душе он надеется на их поддержку. Прения носят страстный характер. Сталин впервые принимает в них участие. "День восстания, — говорит он, — должен быть целесообразен. Только так надо понимать резолюцию... То, что предлагают Каменев и Зиновьев, это объективно приводит к возможности контрреволюции сорганизоваться; мы без конца будем отступать и проиграем всю революцию. Почему бы нам не предоставить себе возможности выбора дня и условий, чтобы не дать возможности сорганизоваться контрреволюции". Оратор защищает абстрактное право партии выбрать момент для удара, тогда как дело идет о назначении конкретного срока. Большевистский съезд советов, если бы он оказался неспособен тут же взять власть, только скомпрометировал лозунг "власть советам", превратив его в пустую фразу. Зиновьев настаивает: "Мы должны сказать себе прямо, что в ближайшие пять дней мы не устраиваем восстания". Каменев бьет в ту же точку. Сталин не дает на это прямого ответа, но

заканчивает неожиданными словами: "Петроградский Совет уже встал на путь восстания, отказавшись санкционировать вывод войск". Он просто повторяет здесь, вне связи с собственной абстрактной речью, ту формулу, которую пропагандировали в последние дни руководители Военно-Революционного Комитета. Но что значит "встать на путь восстания"? Идет ли дело о днях или о неделях? Сталин осторожно воздерживается от уточнения. Обстановка неясна ему самому.

В процессе прений представитель Петроградского Комитета Далецкий, будущий глава советского телеграфного агентства, погибший затем в одной из чисток, привел против немедленного перехода в наступление такой довод: "Мы не имеем даже центра. Мы идем полусознательно к поражению". Далецкий не знает еще, видимо, об образовании советского "центра" или не придает ему достаточного значения. Во всяком случае его замечание послужило толчком к новой импровизации. Удалившись в угол с другими членами ЦК, Ленин пишет на колене резолюцию: "ЦК организует военно-революционный центр в следующем составе: Свердлов, Сталин, Бубнов, Урицкий и Дзержинский. Этот центр входит в состав революционного Советского комитета". О Военно-Революционном Комитете напомнил, несомненно, Свердлов. Но никто не знал еще точно имени советского штаба. Троцкий находился в эти часы на заседании Совета, где Военно-Революционный Комитет окончательно ставился на рельсы.

Резолюция 10 октября была подтверждена большинством 20 голов против 2-х, при 3-х воздержавшихся. Никто не ответил, однако, на вопрос: остается ли в силе решение о том, что восстание в Петрограде должно совершиться до 20-го октября? Найти ответ было трудно. Политически решение о перевороте до съезда было единственно правильным. Но на выполнение его оставалось слишком мало времени. Заседание 16 октября так и не вышло из этого противоречия. Но тут помогли соглашатели: на следующий день они, по своим собственным соображениям, постановили отсрочить открытие ненавистного им заранее съезда до 25 октября. Большевики приняли эту неожиданную отсрочку с открытым протестом и со скрытой благодарностью. Пять дополнительных дней полностью вывели Военно-Революционный Комитет из затруднения.

Протоколы ЦК и номера "Правды" за последние недели перед восстанием достаточно полно очерчивают политическую фигуру Сталина на фоне переворота. Как перед войной он был формально с Лениным и

в то же время искал поддержки примиренцев против эмигранта, который "лезет на стену", так и теперь он остается с официальным большинством ЦК, но одновременно поддерживает правую оппозицию. Он действует, как всегда, осторожно; однако, размах событий и острота конфликтов заставляют его нередко заходить дальше, чем он того хотел бы.

11 октября Зиновьев и Каменев напечатали в газете Максима Горького письмо, направленное против восстания. Положение на верхах партии сразу приняло чрезвычайную остроту. Ленин рвал и метал в своем подполье. Чтоб развязать себе руки для агитации против восстания, Каменев подал в отставку из ЦК. Вопрос разбирался на заседании 20 октября. Свердлов огласил письмо Ленина, клеймившее Зиновьева и Каменева штрейкбрехерами и требовавшее их исключения из партии. Кризис неожиданно осложнился тем, что в утро этого самого дня в "Правде" появилось заявление редакции в защиту Зиновьева и Каменева: "Резкость тона статьи т. Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками". Центральный орган счел нужным осудить не публичное выступление двух членов ЦК против решения партии о восстании, а "резкость" ленинского протеста и сверх того солидаризировался с Зиновьевым и Каменевым "в основном". Как будто в тот момент был более основной вопрос, чем вопрос о восстании! Члены ЦК с изумлением протирали глаза.

В редакцию, кроме Сталина, входил Сокольников, будущий советский дипломат и будущая жертва "чистки". Сокольников заявил, однако, что не принимал никакого участия в выработке редакционного порицания Ленину и считает его ошибочным. Оказалось, что Сталин единолично — против ЦК и против своего коллеги по редакции — поддержал Каменева и Зиновьева за четыре дня до восстания. Возмущение ЦК сдерживалось только опасением расширить размеры кризиса.

Продолжая лавировать между сторонниками и противниками восстания, Сталин высказался против принятия отставки Каменева, доказывая, что "все наше положение противоречиво". Пятью голосами, против Сталина и двух других, принимается отставка Каменева. Шестью голосами, снова против Сталина, выносятся решение, воспрещающее Каменеву и Зиновьеву вести борьбу против ЦК. Протокол гласит: "Сталин заявляет, что выходит из редакции". Это означало для него покинуть единственный пост, доступный ему в обстановке революции.

Но ЦК отставку Сталина отклоняет, и новая трещина не получает развития.

Поведение Сталина может казаться необъяснимым в свете созданной вокруг него легенды; на самом деле оно вполне отвечает его духовному складу. Недоверие к массам и подозрительная осторожность вынуждают его в моменты исторических решений отступать в тень, выжидать и, если возможно, страховаться на два случая. Защита Зиновьева и Каменева диктовалась отнюдь не сентиментальными соображениями. Сталин переменял в апреле официальную позицию, но не склад своей мысли. Если по голосованиям он был на стороне Ленина, то по настроению стоял ближе к Каменеву. К тому же недовольство своей ролью естественно толкало его на сторону других недовольных, хотя бы политически он с ними не вполне сходился.

Всю последнюю неделю перед восстанием Сталин маневрировал между Лениным, Троцким и Свердловым, с одной стороны, Каменевым и Зиновьевым, — с другой. На заседании ЦК 21-го октября он восстанавливает слишком нарушенное накануне равновесие, внося предложение поручить Ленину подготовку тезисов к предстоящему съезду советов и возложить на Троцкого политический доклад. Оба предложения приняты единогласно. Если б между Троцким и ЦК, отметим мимоходом, были в это время те разногласия, которые были изобретены несколько лет спустя, каким образом ЦК, по инициативе Сталина, мог бы поручить Троцкому наиболее ответственный доклад в наиболее ответственный момент? Застраховав себя таким путем слева, Сталин снова отходит в тень и выжидает.

Об участии Сталина в Октябрьском восстании биографу, при всем желании, нечего сказать. Имя его нигде и никем не называется: ни документами, ни многочисленными авторами воспоминаний. Чтоб заполнить как-нибудь этот зияющий пробел, официальная историография связывает роль Сталина в событиях переворота с таинственным партийным "центром" по подготовке восстания. Никто, однако, ничего не сообщает о деятельности этого "центра", о месте и времени его заседаний, о тех способах, какими он осуществлял свое руководство. И немудрено: этот "центр" никогда не существовал. История легенды заслуживает внимания.

На совещании ЦК с рядом выдающихся петроградских деятелей партии 16 октября постановлено было, как мы уже знаем, организовать

”Военно-Революционный Центр” из пяти членов ЦК. ”Этот центр, — гласит спешно написанная Лениным в углу зала резолюция, — входит в состав революционного комитета”. Таким образом, по прямому смыслу решения, ”центр” предназначался не для самостоятельного руководства восстанием, а для пополнения советского штаба. Но, как и многим другим импровизациям тех лихорадочных дней, этому замыслу вообще не суждено было осуществиться.

В те самые часы, когда ЦК, в отсутствие Троцкого, создавал на клочке бумаги новый ”центр”, Петроградский Совет под председательством Троцкого окончательно оформил Военно-Революционный Комитет, который, с момента своего возникновения, сосредоточил в своих руках всю работу по подготовке восстания. Свердлов, имя которого в списке членов ”центра” стоит на первом месте (а не имя Сталина, как ложно значится в новых советских изданиях), работал и до и после постановления 16 октября в тесной связи с председателем Военно-Революционного Комитета. Три других члена ”центра” — Урицкий, Дзержинский и Бубнов — были привлечены к работе В.-Р. Комитета, каждый индивидуально, лишь 24 октября, как если бы решение 16 октября никогда не выносилось. Что касается Сталина, то он, согласно всей своей линии поведения в тот период, упрямо уклонялся как от вхождения в Исполнительный комитет Петроградского совета, так и в Военно-Революционный Комитет, и ни разу не появлялся на их заседаниях. Все эти обстоятельства без труда устанавливаются на основании официально опубликованных протоколов.

На заседании ЦК 20 октября ”центр”, созданный четыре дня тому назад, должен был бы, казалось, сделать доклад о своей работе или хотя бы упомянуть о приступе к ней: до съезда советов оставалось всего пять дней, а восстание должно было предшествовать открытию съезда. Правда, Сталину было не до того: защищая Зиновьева и Каменева, он подал на этом заседании в отставку из редакции ”Правды”. Но и из остальных членов ”центра”, присутствовавших на заседании, ни Свердлов, ни Дзержинский, ни Урицкий ни словом не упомянули о ”центре”. Протокольная запись 16 октября была, видимо, тщательно запрятана, чтоб скрыть следы участия в заседании ”нелегального” Ленина, и за четыре драматических дня о ”центре” успели тем легче позабыть, что напряженная работа Военно-Революционного Комитета исключала самую надобность в дополнительном учреждении.

На следующем заседании 21 октября с участием Сталина, Свердлова, Дзержинского, опять-таки никто не делает доклада о "центре" и даже не упоминает о нем. ЦК ведет работу так, как если бы никакого решения о "центре" никогда не выносилось. В этом заседании постановлено, между прочим, ввести в Исполнительный комитет Петроградского Совета, для улучшения его работы, десять видных большевиков, в том числе Сталина. Но и это постановление остается на бумаге.

Подготовка восстания шла полным ходом, но по другому каналу. Фактический хозяин столичного гарнизона, Военно-Революционный Комитет искал повода для открытого разрыва с правительством. Таковой повод создал 22 октября командующий войсками округа, отказавшись подчинить свой штаб контролю комиссаров Комитета. Нужно было ковать железо, пока горячо. Бюро Военно-Революционного Комитета с участием Троцкого и Свердлова выносит решение: признать разрыв со штабом совершившимся фактом и перейти в наступление. Сталина на этом совещании нет. Никому не приходит в голову вызвать его. Когда дело идет о том, чтобы сжечь все мосты отступления, никто не вспоминает о существовании так называемого "центра".

24 октября утром в Смольном, превращенном в крепость, происходит заседание ЦК, непосредственно открывающее восстание. В самом начале принято предложение Каменева, успевшего вновь вернуться в состав ЦК: "Сегодня без особого постановления ни один член ЦК не может уйти из Смольного". В повестке стоит доклад Военно-Революционного Комитета. О так называемом "центре" в момент начала восстания — ни слова. Протокол гласит: Троцкий предлагает отпустить в распоряжение Военно-Революционного Комитета двух членов ЦК для налаживания связи с почтово-телеграфистами и железнодорожниками; третьего члена — для наблюдения за Временным правительством". Постановляется: на почту и телеграф делегировать Дзержинского, на железные дороги — Бубнова. Наблюдение за Временным правительством возлагается на Свердлова. "Троцкий предлагает, — читаем далее, — устроить запасной штаб в Петропавловской Крепости и назначить туда с этой целью одного члена ЦК". Постановлено: "поддерживать постоянную связь с Крепостью поручить Свердлову". Таким образом, три члена "центра" впервые предоставляются здесь в прямое распоряжение Военно-Революционного Комитета. В этом не было бы, разумеется, нужды, если бы центр существовал и занимался подготовкой

восстания. Протоколы отмечают, что четвертый член "центра", Урицкий, вносил практические предложения. А где же пятый член, Сталин?

Самое поразительное в том и состоит, что Сталина на этом решающем заседании нет. Члены ЦК обязались не отлучаться из Смольного. Но Сталин вовсе и не появлялся в его стенах. Об этом непрерываемо свидетельствуют протоколы, опубликованные в 1929 г. Сталин никак не объяснил своего отсутствия, ни устно, ни письменно. Никто не поднимал о нем вопроса, очевидно, чтоб не вызывать лишнего кризиса. Все важнейшие решения по проведению восстания принимаются в отсутствие Сталина, без какого-либо участия с его стороны. При распределении ролей никто не назвал Сталина и не предложил для него никакого назначения. Он попросту выпал из игры. Может быть, однако, он где-нибудь в укромном месте руководил "центром"? Но все члены "центра", кроме Сталина, находились безотлучно в Смольном.

В часы, когда открытое восстание уже началось, сгорающий от нетерпения в своей изоляции Ленин взывает к руководителям районов: "Товарищи! Я пишу эти строки вечером 24-го... Изю всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами советов), а исключительно борьбой вооруженных масс". Из письма вытекает с очевидностью, что Ленин до самого вечера 24 октября не знал о переходе Военно-Революционного Комитета в наступление. Связь с Лениным поддерживалась главным образом через Сталина, как лицо, наименее интересовавшее полицию. Сам собою напрашивается вывод, что, не явившись на утреннее заседание ЦК и избегая появляться в Смольном, Сталин так и не узнал до вечера о том, что восстание уже в полном ходу. Дело идет не о личной трусости — обвинять в ней Сталина нет основания, — а о политической двойственности. Осторожный комбинатор предпочел в решительный момент оставаться в стороне. Он лавировал и выжидал, чтоб определить свою позицию в зависимости от исхода восстания. В случае неудачи он готовился сказать Ленину, Троцкому и их единомышленникам: "Вы виноваты!". Надо ясно представить себе пламенную атмосферу тех дней, чтоб оценить по достоинству эту холодную выдержку или, если угодно, это коварство.

Нет, Сталин не руководил восстанием ни лично, ни через посредство "центра". В протоколах, воспоминаниях, бесчисленных докумен-

тах, справочниках, исторических учебниках, опубликованных при жизни Ленина и даже позже, пресловутый "центр" ни разу не называется, и имя Сталина, как руководителя "центра", или хотя бы как видного участника восстания, никогда и никем не упоминается. Память партии прошла мимо него. Только в 1924 г. Комиссия по истории партии, занятая собиранием материалов, набрела на тщательно спрятанную запись заседания 16 октября с текстом решения о создании практического "центра". Развернувшаяся в это время борьба против "левой оппозиции" и против меня лично требовала новой версии истории партии и революции.

Помню, Серебряков, у которого были друзья и связи везде и всюду, сообщил мне, что в секретариате Сталина, в связи с открытием "центра", большое ликование. "Какое же это может иметь значение?" — спрашивал я с недоумением. "Они собираются на этом стержне что-то наматывать", — ответил пронизательный Серебряков. И все же дальше повторной перепечатки протокола и туманных упоминаний о "центре" дело в тот период не шло. Слишком еще свежи были в памяти события 1917 года, участники переворота еще не подверглись истреблению, живы были еще Дзержинский и Бубнов, значившиеся в списке "центра". В своем фракционном фанатизме Дзержинский мог, правда, согласиться приписать Сталину заслуги, которых тот не имел; но он не мог приписать таких заслуг себе: это было выше его сил. Дзержинский умер своевременно. Одной из причин опалы и гибели Бубнова был, несомненно, его отказ от лжесвидетельства. Так никто ничего о существовании "центра" вспомнить не мог. Вышедший из протокола призрак продолжал вести протокольное существование: без костей и мяса, без ушей и глаз.

Это не помешало ему, однако, послужить стержнем новой версии Октябрьского восстания. "В состав практического центра, призванного руководить восстанием, — говорил Сталин в 1925 г., — странным образом не попал "вдохновитель", "главная фигура", "единственный руководитель" восстания, тов. Троцкий. Как примирить это с ходячим мнением об особой роли тов. Троцкого?". Аргумент явно несообразный: "центр", по точному смыслу постановления, должен был включиться в тот самый Военно-Революционный Комитет, председателем которого был Троцкий. Но все равно, свое намерение "наматывать" вокруг протокола новую историю революции Сталин раскрыл полностью. Он не

объяснил лишь, откуда взялось "ходячее мнение об особой роли Троцкого". Между тем вопрос не лишен значения.

В примечаниях к первому изданию сочинений Ленина под именем Троцкого значится: "после того, как Петербургский Совет перешел в руки большевиков, был избран его председателем, в качестве которого организовал и руководил восстанием 25-го Октября". "Легенда" нашла себе место в "Сочинениях" Ленина при жизни их автора. Никому не приходило в голову оспаривать ее до 1925 г.. Мало того, сам Сталин принес в свое время немаловажную дань "ходячему мнению". В юбилейной статье 1918 г. он писал: "Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством председателя Петроградского Совета тов. Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом на сторону совета и умелой постановкой работы Военно-Революционного Комитета партия обязана прежде всего и главным образом тов. Троцкому. Товарищи Антонов и Подвойский были главными помощниками тов. Троцкого".

Эти слова звучат сейчас, как панегирик. На самом деле, задней мыслью автора являлось напомнить партии, что в дни восстания, кроме Троцкого, существовал еще ЦК, в который входил Сталин. Вынужденный, однако, придать своей статье видимость объективности, Сталин не мог в 1918 г. не сказать того, что сказал. Во всяком случае в первую годовщину советской власти он "практическую организацию восстания" приписывал Троцкому. В чем же состояла, в таком случае, роль таинственного "центра"? О нем Сталин не упоминал вовсе; до открытия протокола 16 октября оставалось еще 6 лет.

В 1920 г. Сталин, уже не называя Троцкого, противопоставляет ЦК Ленину, как автору ошибочного плана восстания. В 1922 году он повторяет это противопоставление, заменяя, однако, Ленина "одной частью товарищей" и осторожно давая понять, что восстание было спасено от ложного плана не без его, Сталина, участия. Через новых два года оказывается уже, что ложный план Ленина есть злостный вымысел Троцкого, зато сам Троцкий действительно выдвинул ложный план, к счастью, отвергнутый ЦК. Наконец, "История" партии, вышедшая в 1938 г., изображает Троцкого, как отъявленного противника Октябрьского восстания, которым руководил Сталин. Параллельно совершалась мобилизация всех видов искусства: поэзия, живопись, театр, фильм оказались призваны вдохнуть жизнь в мифический "центр", следов кото-

рого самые усердные историки не могли открыть с лупой в руках. Сталин, как вождь Октябрьского восстания, показан ныне на всех экранах мира, не говоря уже об изданиях Коминтерна.

Того же типа пересмотр истории, хотя, может быть, и не столь яркий, производился в отношении всех старых большевиков, притом неоднократно, в зависимости от изменяющихся политических комбинаций. В 1917 г. Сталин брал Зиновьева и Каменева под защиту, стремясь использовать их против Ленина и меня и подготавливая будущую "тройку". В 1924 г., когда "тройка" уже держала в своих руках аппарат, Сталин доказывал в печати, что разногласия с Зиновьевым и Каменевым перед Октябрем имели мимолетний и второстепенный характер. "Разногласия длились всего несколько дней потому и только потому, что мы имели в лице Каменева и Зиновьева ленинцев, большевиков". После распада "тройки" поведение Зиновьева и Каменева в 1917 г. становится в течение ряда лет главным обвинением против них, как "агентов буржуазии", пока не включается, наконец, в обвинительный акт, подведший обоих под дуло маузера.

Нельзя не остановиться с изумлением перед этой холодной, терпеливой и в то же время свирепой настойчивостью, направленной к одной и той же, неизменно личной цели. Как некогда в Батуме юноша Коба вел подкоп под стоящих над ним членов тифлисского Комитета; как в тюрьме и ссылке он натравливал простаков на своих соперников, так теперь в Петрограде он неутомимо комбинировал людей и обстоятельства, чтоб оттеснить, умалить, очернить всякого, кто так или иначе затмевал его и мешал ему продвинуться вперед.

Октябрьский переворот, как источник нового режима, естественно занял центральное место в идеологии нового правящего слоя. Как все это произошло? Кто руководил в центре и на местах? Сталину понадобилось около 20 лет, чтобы навязать стране историческую панораму, в которой он себя поставил на место действительных организаторов восстания, а этим последним приписал роль предателей революции. Было бы ошибочно думать, что он с самого начала имел законченный замысел борьбы за личное господство. Понадобились исключительные исторические обстоятельства, чтобы придать его амбиции неожиданные для него самого масштабы. Но в одном он оставался неизменно верен себе: попирая все другие соображения, он насилывал каждую конкретную ситуацию для упрочения своей позиции за счет других. Шаг за шагом,

камень за камнем, терпеливо, без увлечений, но и без пощады! В непрерывном плетении интриг, в осторожном дозировании лжи и правды, в органическом ритме фальсификаций лучше всего отражается Сталин и как человеческая личность, и как *вождь нового привилегированного слоя, который в целом вынужден создавать себе новую биографию.*

Плохо начав в марте, скомпрометированный в апреле, Сталин весь год революции провел за кулисами аппарата. Он не знал непосредственного общения с массами и ни разу не почувствовал себя ответственным за судьбу революции. В известные моменты он был начальником штаба, никогда — командующим. Предпочитая отмалчиваться, он выжидал инициативы других, отмечал себе их промахи и слабые стороны и отставал от событий. Для успеха ему нужна известная устойчивость отношений и свобода располагать временем. Революция отказывала и в том и другом.

Не вынужденный продумывать задачи революции с тем напряжением мысли, какое создается только чувством непосредственной ответственности, Сталин так и не понял до конца внутренней логики Октябрьского переворота. Оттого так эмпиричны, разрозненны и несогласованны его воспоминания, так противоречивы его позднейшие суждения о стратегии восстания, так чудовищны его ошибки в отношении ряда позднейших революций (Германия, Китай, Испания). Поистине, революция не есть стихия этого бывшего "профессионального революционера".

И тем не менее 1917 г. вошел важнейшим этапом в формирование будущего диктатора. Он сам говорил позже, что в Тифлисе он был учеником, в Баку вышел в подмастерья, в Петрограде стал "мастером". После четырех лет политического и умственного прозябания в Сибири, где он опустился до уровня "левых" меньшевиков, год революции под непосредственным руководством Ленина, в кругу товарищей высокой квалификации имел неизмеримое значение в его политическом развитии. Он впервые получил возможность познакомиться со многим из того, что до тех пор совершенно выходило из круга его наблюдений. Он прислушивался и присматривался с недоброжелательством, но внимательно и зорко. В центре политической жизни стояла проблема власти. Временное правительство с участием меньшевиков и народников, вчерашних товарищей по подполью, тюрьме и ссылке, позволило ему ближе заглянуть в ту

таинственную лабораторию, где, как известно, не боги обжигают горшки. Та неизмеримая дистанция, которая отделяла в эпоху царизма подпольного революционера от правительства, сразу исчезла, Власть стала близким, фамильярным понятием. Коба освободился в значительной мере от своего провинциализма, если не в привычках и нравах, то в масштабах политического мышления. Он остро и с обидой почувствовал то, чего ему не хватает лично, но в то же время проверил силу тесно спаянного коллектива одаренных и опытных революционеров, готовых идти до конца. Он стал признанным членом штаба партии, которую массы несли к власти. Он перестал быть Кобой, став окончательно Сталиным.

ОПЕЧАТКА

В кн. 157 "Нового Журнала" вкралась досадная опечатка. В Указателе на стр. 298 в разделе "Политика и культура" следует читать: С. А. Левицкий — Достоевский как философ, кн. 142.

ПАРАДОКС ВЫСОКИХ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Старый большевик Лидия Шатуновская в своей книге "Жизнь в Кремле" пишет, что после семи (из 20-ти по приговору) лет тюрьмы и возвращения на свободу "мы тогда еще не полностью изжили "социалистические" иллюзии. Трудно было сразу расстаться с ними, трудно было полностью осознать, что *сталинщина — это не случайное извращение "хорошего" марксистско-ленинского социализма, а его логическое развитие и завершение; что победа всякого социализма-русского, китайского, арабского или какого-нибудь иного образца — неизбежно ведет к социальному рабству, экономическому разорению и культурной деградации*".

Любопытно, что на тех же страницах (уже с современных ее позиций) Л. Шатуновская одобряет хрущовскую "персональную" реабилитацию всех *невинно* осужденных, вместо всеобщей амнистии политических заключенных, которую требовали другие вожди. Значит, старый большевик Л. Шатуновская даже сейчас, после полного разочарования в социализме, все еще отделяет "невинно-осужденных" большевиков от политических заключенных вообще. *Одно дело — большевик, неправильно осужденный за якобы антибольшевизм, другое — антибольшевик, правильно осужденный за антибольшевизм.*

Шатуновская далее пишет, что "персональная" реабилитация давала *особое* общественное положение для персонально реабилитированных. Этим особым положением тогдашняя Л. Шатуновская немедленно воспользовалась и поехала на два ме-

сяца отдыхать в привилегированный большевистский санаторий "Поречье". Нынешняя Л. Шатуновская этот факт никак не комментирует.

На протяжении всей книги Л. Шатуновская не щадит себя в разоблачении своих социалистических иллюзий и предстает перед читателем в образе честного, высокопорядочного человека с весьма высоким уровнем духовных ценностей. Человека, который этими высокими духовными ценностями резко отличается от большинства остальных людей. Многих других старых большевиков, строителей социализма, Л. Шатуновская тоже представляет честными, высокопорядочными людьми, обладающими высокими духовными ценностями. Книга написана Л. Шатуновской уже вне СССР, без давления со стороны, и едва ли можно сомневаться в ее полной искренности.

При чтении книги Л. Шатуновской возникает странное впечатление. С одной стороны — чрезвычайно четкое ее заявление, что все несчастья именно в осуществлении настоящего социализма, в логическом осуществлении социалистической идеи. С другой — настойчивое противопоставление высоких духовных свойств ее самой и многих членов ее круга низости и преступности окружающей ее среды бесчисленных представителей системы социализма. Л. Шатуновская подчеркивает крайне низкий нравственный уровень множества людей, пришедших на смену старым большевикам и ей самой. Невольно подумаешь, а если бы старые большевики и Л. Шатуновская остались "у руля", то все было бы по иному? Все дело, может быть, в том, что борьба добра и зла кончилась поражением добрых старых большевиков и Л. Шатуновской наверху, в аппарате государственной власти? Чувствуется, что социалистические иллюзии и по сей час еще у Л. Шатуновской не исчезли полностью. Во всяком случае, в книге нигде не найти анализа, почему "хорошая" социалистическая идея логически приводит к плохому результату. Четкое заявление Л. Шатуновской о социализме остается ничем не подкрепленным, повисшим в воздухе. Это, пожалуй, можно объяснить тем, что, как и все старые большевики, Л. Шатуновская была изолирована от всей страны и происходящего в ней. Для понимания сути социализма и его практики у Л. Шатуновской было недостаточно материала. Можно догадываться, что и сейчас ее

изоляция от мира сего полностью не кончилась. Тем не менее, то, что она совершила, уже само по себе — большой интеллектуальный подвиг, на который многие другие выходцы из страны победившего социализма оказываются неспособны.

Не удивительно ли, что и теперь, после всех уроков социализма, находятся честные и порядочные, высоконравственные люди, лелеющие идеи, вполне аналогичные социалистическим. Я знаю одного уважаемого, безусловно порядочного и честного человека, высокорелигиозного и преследующего высоконравственные цели. Он пишет: "Исправление и усовершенствование мира возможно лишь под воздействием благородного начала; для очищения общества от сил зла необходимо создать в нем этический контроль (службу защиты). Первородный грех, проявляющийся в страстях, гордыне, себялюбии, корыстолюбии, лживости — главная причина грубых ошибок в истории общества". "Управление государством должно покоиться на благородных принципах, и, соответственно, у кормила должны стоять люди благородного духа" (скажем, *старые благородные большевики?*).

Автор приведенных строк вполне испытал на себе все прелести последствий осуществления благородной социалистической идеи, включая тюрьму и концлагерь, и тем не менее, как мы видим, снова ратует за новую благородную идею.

Требуемое автором очищение общества от сил зла, страстей, гордыни, себялюбия, корыстолюбия, лживости фигурировало в исходной идее построения благородного общества равенства, братства, справедливости и свободы, идее социализма, от которой он сам так сильно пострадал. И вот, опять, мой автор сразу же вводит "этический контроль" и службу защиты в свою исходную идею нового благородного общества. Большевики не рискнули всенародно провозгласить и объяснить необходимость "этического контроля" и службы защиты, введя их явочным порядком. Я несколько не сомневаюсь, что мой автор видит этический контроль и службу защиты (*своего* благородного общества) в самом благородном (без всяких кавычек) свете. Но ведь именно этический контроль и служба защиты общества — в виде партийного контроля и КГБ — существуют в СССР и являются неотъемлемой частью "благородного социализма". Разница только в том, что у моего автора это все задумано благородно,

но пока не осуществлено, а при социализме это все, будучи осуществленным, оказалось абсолютно неблагородным. Но ведь у отцов-основателей благородных социалистических идей этика и защита общества тоже мыслились благородными, а не партийными и кагебистскими.

Я не уверен, что согласился бы жить в обществе, основанном на благородных принципах моего автора. Одно дело — абстрактное благородство, а другое — конкретная жизнь, когда нужно добывать себе средства существования и конкурировать в этом с миллионами себе подобных. Положим, однако, что я и миллионы других согласились бы принять веру моего честного и порядочного автора и жить под его управлением. Но один-то он управлять миллионами все равно не смог бы. Нужны помощники. А как их отбирать? Пропускать через этический контроль? Чей? Самого отца-основателя? И пошла писать губерния!

Люди не могут быть лишены инстинкта самосохранения и, следовательно, *личного*, а не общественного интереса. И этот их личный интерес опять привел бы к рабству под управлением аморального диктатора, заведующего "этическим контролем". В своем проекте благородного общества мой автор оставляет в силе частную собственность и свободный рынок, полагая, видимо, что они будут гарантией против потери гражданами его благородного общества своей независимости и гарантией против их превращения в рабов государственной власти и "этического контроля". Однако, такая гарантия является крайне ненадежной, ибо нет никакой уверенности в том, что "этический контроль" и служба защиты не ликвидируют, в конечном итоге, частную собственность и свободный рынок, как институции этически вредные, а также как сильнейшую помеху в осуществлении этого самого "этического контроля". Иначе экономическая и, следовательно, этическая и политическая независимость граждан благородного общества позволит им пренебрегать указаниями "этического контроля" и службы защиты и оставаться неблагородными.

Вся история человечества показывает, что люди не склонны подчиняться никакому "этическому контролю", если они остаются независимыми от государственной власти и ее "этического контроля". Если же они теряют независимость, превра-

щаясь в рабов государства и "этического контроля", то это рабство ведет только к усилению, а не ослаблению первородного греха. Получается замкнутый круг: чтобы сделать независимых людей благородными, нужно лишить их независимости, а лишённые независимости, они становятся еще менее благородными, чем были до этого.

Христианская религия призывает к преодолению первородного греха, но церковь уже давно отказалась от насилия в виде "этического контроля", полагаясь лишь на индивидуальное духовное возрождение. Окончательное же решение вопроса, согласно христианству, произойдет не с помощью "самодельных" средств тех или иных земных благодетелей, но после второго пришествия Христа и Страшного Суда. Трагический опыт вполне благонамеренного духовного ("этического") контроля и службы защиты во времена инквизиции уже показал их полную непригодность для выполнения задачи облагораживания людей.

Вот другая жертва социализма — изгнанник, философ И.А. Ильин. Он тоже хотел создать благородное общество и писал: "Чувство взаимной связи и взаимной ответственности, *созревая*, указывает людям их общую духовную цель и заставляет их создать *единую, общую власть для служения ей*". Значит, вопреки заповеди "не сотвори себе кумира" — сотвори себе кумир и поклоняйся, служи ему! Мотив, всем советским людям хорошо знакомый. Тот же самый мотив мы находим и в действующей ныне программе НТС: "Будь солидарным, а не хочешь, так у нас и "для непослушных власть найдется". Действительно, кто посмеет не быть солидарным с монопольной, единой, централизованной, колоссальной профсоюзной организацией ("Совет труда", по программе НТС), объединяющей всех без исключения трудящихся и управляющей всеми без исключения трудящимися: "*Ведь солидарность то не в плохом, а в хорошем, так что же ты, сукин сын, не слушаешься!*"

Авторитарный строй, имеющий множество поклонников, вполне сродни строю "этического контроля" и службы защиты. Ведь создать такой Авторитет, которому *добровольно и бескорыстно* подчинялись бы миллионы свободных и независимых людей, невозможно. Поэтому Авторитет должен будет прибегнуть к насилию, подкупу, лишению людей их независимости.

Разница лишь в том, что в этом случае этические нормы (какие?) установит Авторитет, а не специальный "этический контроль". Что касается службы защиты, то без нее Авторитет долго у власти не удержится, да и едва ли появится на свет Божий.

Какая разница между Авторитетом и Диктатором? И тот и другой должны управлять миллионами людей в соответствии со своими этическим нормами. Вопрос, следовательно, в том, каковы их этические нормы. Обоим прежде, чем стать Авторитетом или Диктатором, нужно, в жесточайшей борьбе за власть, победить множество соперников, которые тоже рвутся к власти. Представьте себе моего порядочного, религиозного, высоконравственного автора, участвующим в этой борьбе! Да ему в первом же раунде, фигурально выражаясь, расквасят нос и выведут из строя. Успех в борьбе за власть останется за людьми беспринципными и аморальными. Вспомним величайшего Авторитета и Диктатора, "Отца народов" товарища Сталина.

Шанс для "хорошего человека" достигнуть высшей власти, конечно, не равен полному нулю, но — ничтожно мал. Тем демократия и хороша, что она не допускает диктаторской личной власти, ослабляет накал страстей в борьбе за власть (поскольку власть ограничена), ослабляет власть вообще. Тем самым шансы на власть повышаются, а шансы пострадать от власти — понижаются. Конечно, это только шанс, а не полная гарантия, ведь демократии бывают разные.

Общим для всех создателей благородных идей (социалистов, идеалистов, большевиков, инквизиции, моего автора, солидаристов, философов типа И. Ильина, С. Левицкого и многих других) является желание облагодетельствовать человечество, создав благородное общество, основанное на высоких духовных, нравственных началах. Но на горизонте всегда и неизбежно маячат, в том или другом виде, — "этический контроль" и служба защиты, т.е. массовое насилие.

Общей для всех создателей благодарных идей является неразрешимая задача, которую можно выразить следующим образом: — "Я — благородный человек. Кругом меня много неблагородных плутов и обманщиков. Если бы все были такими, как я, мир был бы несравненно лучше. Поэтому нужна верховная власть, способная искоренить всех неблагородных людей

тем или другим способом”.

Как и миллионы других людей, я готов агитировать за высокодуховные ценности и буду необычайно рад, если эти духовные ценности станут достоянием всего человечества. Но на практике, любая идеология, полная добра и высоких духовных ценностей, неизменно в процессе ее осуществления приводит (и *приведет*) прямо к противоположному результату: к *низости и злу*. И этот парадокс не является случайностью.

ПРИЧИНА ПАРАДОКСА

Люди неплохо познали многие законы материальной природы и пользуются ими для улучшения своей жизни. Все тела падают вниз, а не вверх. Для того, чтобы что-то двигать, нужна сила и энергия. И т.д. и т.п. Знанию законов природы людей можно обучить, но даже и без обучения люди важнейшую часть этих законов неизбежно познают *на личном опыте* и столь же неизбежно вынуждены ими пользоваться. Во всех этих законах фигурируют вещество (материал), сила и энергия. На этих законах построена вся материальная жизнь человечества и все его материальное благосостояние. Эти законы не имеют никакого отношения к добру или злу, к низости или благородству.

Вернемся к нашему внутреннему духовному миру. Кто может оспорить, что его законы нам совершенно неизвестны? Как возникает любовь, и именно к вполне конкретному человеку? Почему часто любят “недостойного” человека? Говорят, например: “любовь зла, полюбишь и козла”! Сам полюбивший не может объяснить, почему он полюбил.

Кто может объяснить, как возникает религиозная вера (или неверие) или идеологическое верование, скажем, в социализм? Кто может объяснить, почему один человек честен и благороден, а другой — бесчестен и низок? Кто может объяснить, отчего появляются подвижники веры, идущие на смерть во имя высоких духовных ценностей?

Кто может объяснить, отчего в нынешнем СССР появляется все больше людей, идущих на невероятные страдания и мучительную смерть во имя своих убеждений, во имя своих высоких духовных ценностей? Они это делают не из-за “этического контроля” и службы защиты, а вопреки им. Они и сами едва ли мо-

гут объяснить, какая сила их к этому понуждает.

Наши эмоции и наши духовные свойства нам самим не подчиняются. Законы их появления и проявления нам неизвестны. Мы можем вложить в руки человека инструмент, машину, мотор и сделать его невероятно сильным и действенным. Однако, мы не можем вложить в человека вдохновение, любовь, интерес, честность, благородство, солидарность, доброту, наконец, высокие мысли, а часто и мысль вообще.

Орвелл колоссально преувеличил могущество "Большого Брата", показав, будто он сумел вложить в головы миллионов необходимые мысли и духовные свойства. Никакой "Большой Брат" не властен над нашим внутренним миром. Мы можем быть уничтожены, превращены в идиотов, сумасшедших, в животных, в отвратительные ничтожества с помощью материальных средств и насилия. И тем не менее, наш внутренний мир остается неподвластен внешней силе, пока он хотя бы едва теплится внутри нас и не погиб под воздействием боли и насилия.

Не зная законов, управляющих нашим внутренним духовным миром, как можем мы рассчитывать на его преобразование у миллионов людей с помощью "этического контроля"? Да и может ли сам создатель благородных идей преобразовать собственные духовные свойства в другие? Конечно, нет. Его духовный мир неподвластен ему самому, а он мечтает с помощью своего "этического контроля" и службы защиты преобразовать духовный мир миллионов людей и ликвидировать первородный грех. Ясно, что это невозможно.

Больше того, пытаясь вмешаться в неизвестные нам законы духовного мира человека, мы вмешиваемся одновременно и в законы материальной жизни, нарушая их целесообразность и действенность. В результате оказывается разрушенным как наше духовное, так и наше материальное благосостояние. *Поэтому какое бы замечательное общество мы не пытались строить на высоких и благородных духовных началах, мы придем прямо к противоположному результату.* Это как если бы человек пытался поднять самого себя за волосы.

Но если сравнивать нынешнее человеческое общество с тем, каким оно было, скажем, 500-1000 лет тому назад, то только большие пессимисты и антропофобы откажутся признать замет-

ное улучшение некоторых духовных свойств. В современном человечестве есть всего предостаточно. Можно согласиться с тем, что стало больше преступников и развратников. Однако, и число милосердных людей, желающих помочь в беде, тоже, несомненно, возросло. Возросло число благотворительных организаций. Чрезвычайно возросли средства, добровольно выделяемые на помощь оказавшимся в беде. В одной только Америке эти суммы достигают десятков миллиардов долларов. Посмотрите, как щедро люди откликнулись на голод в Эфиопии! На днях в Англии по инициативе, кажется, двух шоферов автобусов были собраны деньги, чтобы послать неизлечимо больную девочку в ее первую и последнюю чудесную поездку в Диснейлэнд. Таких актов милосердия — огромное множество.

Я уверен, что здесь сыграло большую роль значительное повышение среднего уровня жизни, широкое распространение образования, и вообще просвещения, хотя и не только в положительную сторону. Но элементы материального мира сами по себе бессильны улучшить наши духовные качества и введение "этического контроля" и службы защиты могут дать только сильный отрицательный результат.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ПУТИ ВОЗМОЖНОГО УЛУЧШЕНИЯ

В сущности, все те высокие духовные свойства, о которых пекутся "строители благородных обществ", есть правила успешного (процветающего) общежития. Разделение труда и функций, начавшееся сначала в семье, а затем развившееся в племени, требовало для своего успеха именно честного и благородного сотрудничества и взаимопомощи. Беда в том, что невероятное усложнение общества и огромный рост населения привели почти к полной утрате ощущения прямой связи между личным благополучием и благополучием общества в целом. Честность и благородство, дававшие непосредственный и немедленный результат на уровне племени, в нынешнем обществе не вызовут ничего, кроме насмешки или обвинения в донкихотстве. Так современное общество подрывает собственные основы, превращая своих членов из честных сотрудников и союзников в соперников и врагов. Это, однако, не означает, что все пропало.

Строя дом вместе с другими, человек видит, что без честного и благородного сотрудничества не только хорошего, но и вообще никакого дома не построишь. Армейское отделение в атаке или обороне погибает скорее, если его личный состав разобщен. Явная связь с личным благополучием в случае победы или поражения в войне приводила к временному всеобщему сотрудничеству нации и государства. Недаром правители используют войну для воссоздания утраченного единства нации. Кроме того, в обществе существуют группы, объединенные для взаимной и ясно видимой цели благополучия (собственного, конечно): партии, профсоюзы, ассоциации, клубы и т.д. Каждая фабрика и завод функционируют только в результате сотрудничества работающих там людей. Таким образом, и в нынешнем обществе есть довольно много условий для благородного сотрудничества; поэтому оно еще и не развалилось совсем. Однако, общество в целом разделилось на слои ("классы") и группы, дерущиеся между собой. В такой драке, естественно, честность, благородство не котируются, так как к успеху не ведут.

Любопытное явление: люди в группе честны и благородны по отношению друг к другу и, наоборот, склонны к низости и нечестности по отношению к людям за пределами группы. Классическим примером взаимопользительной и необходимой группы в современном обществе является семья. Крепкая семья, безусловно, — источник (не без исключений, конечно) высокой нравственности и повышает ее содержание в обществе.

• Следует подчеркнуть, что процветание низости и бесчестности во взаимоотношениях групп и объединений не есть следствие агитации и пропаганды и не есть следствие извращенного "этического контроля". Оно есть естественный результат борьбы между группами и того, что не высокие, а именно низкие духовные качества увеличивают шансы на победу над противником и улучшения жизни за его счет.

Спросим себя, каким свойствам духа будет учиться физически слабый человек, если ему придется *все время* противостоять сильному и драться с ним? Для того, чтобы выжить, ему остается одно: использовать хитрость, низость, обман и тому подобные неблагоприятные свойства духа. Введение законов,

объявляющих физическое воздействие на человека преступлением, безусловно, было средством некоторого улучшения духовных свойств людей, более эффективным, чем "этический контроль". Конечно, если эти законы неукоснительно соблюдаются.

Если человек безнаказанно совершает преступление и остается в выгоде, какой ему смысл в морали? Поэтому главная цель охраны порядка и законности должна состоять в том, чтобы сделать преступление невыгодным. Этого, к сожалению, сейчас нет: совершать преступления безусловно выгодно, очень выгодно. Ликвидируйте выгоду и безнаказанность преступления и вы резко увеличите количество добра и благородства в обществе безо всякой необходимости в "этическом контроле".

Человек, с детства занимающийся полезным трудом, знает цену своему и, следовательно, чужому труду и едва ли станет вандалом, разрушителем. Полезный труд воспитывает в нем чувство собственного достоинства и уважение к достоинству других. Природу не обманешь. Она сама учит нас честности и правде, когда мы что-то изготавливаем, скажем, стул, хлеб, кирпич. Обманом хорошего стула не сделаешь. Полезный труд улучшает наши духовные свойства много эффективнее любого "этического контроля". Поэтому чрезвычайно важна ликвидация безработицы.

Если торговец находится в условиях сильной конкуренции и в условиях относительно ограниченного и постоянного круга покупателей, то простая выгода учит его честности в торговле и уважению к покупателю. То же самое относится и к любому собственнику-предпринимателю, производящему товары или услуги. Конкуренция и ограниченный круг потребителей учат его высокой нравственности, а монополия и массовый потребитель неизбежно превращают в хищного эксплуататора.

Конечно, это отнюдь не значит, что люди могут мгновенно преобразаться из аморальных в моральных и наоборот. Человек, с детства воспитанный в крепкой семье, в христианской вере, а затем в полезном труде и честном соревновании с другими, может долгое время сохранять свою мораль и в условиях монополии или вынужденного безделья. Конечно, может быть и обратный случай.

Современное общество характеризуется чрезвычайным

различием в степени влияния (экономической, финансовой, политической) между государством, монополиями, гигантскими объединениями и рядовым гражданином. Рядовой гражданин практически потерял право голоса и влияния на пути развития общества, членом которого он является. Между тем, именно миллионы рядовых людей и составляют суть общества. Именно их интересы должны определять направление развития человеческого общества, так как оно для этого и появилось на свет.

Партийная или профсоюзная идеологии, интересы гигантов и монополий, интересы всемогущей государственной власти превращают общество в арену ожесточенной драки гигантов за власть и за наибольший кусок общественного "пирога". Интересы этих гигантов никак не представляют интересов рядового населения.

Недавно английский журнал "Экономист", международный авторитет в вопросах экономики и политики, отметил тенденцию постепенного вымывания и исчезновения "среднего класса". Часть его переходит в "высший класс", а основная часть опускается вниз. Тот же журнал отметил за последние 20 лет удвоение в США численности населения, находящегося ниже официального уровня нищеты, до 30%.

Таким образом, происходит постепенная поляризация населения. На одном полюсе — чрезвычайно богатые менеджеры огромных корпораций, гигантских партий и профсоюзов, государственного аппарата, обладающие огромной экономической, финансовой, политической властью. На другом полюсе — миллионы рядовых граждан, постепенно теряющих всякую возможность позитивного воздействия на пути развития общества. Это различие в силе и власти перешло все разумные пределы и безусловно постепенно разъедает экономическую эффективность общества и чрезвычайно понижает уровень чести и благородства в обществе. Рядовой гражданин, чтобы выжить и устоять против давления сверхмощных сил, учится пользоваться и низостью и обманом.

В Новой, постлесосоциалистической России чрезвычайно важно не допустить воссоздания такой ситуации. Для этого нужно:

1. Отменить всякие налоги (и скидки) за исключением одного подоходного налога с одинаковым для всех процентом.

Облагать этим налогом любые доходы, как денежные, так и в натуральном выражении ("бесплатные" или субсидируемые пища, жилище, автомобили, отели, увеселения, транспорт, услуги и т.д.). Установить максимальную цифру дохода, выше которой весь излишек конфискуется государством (что ликвидирует все спекулятивные доходы). Установить также минимальную цифру дохода, ниже которой никакие налоги не взимаются.

2. Резко ограничить размеры любых объединений.

3. Резко ограничить размеры, финансы и имущество любых банков, страховых компаний, промышленных, торговых и обслуживающих фирм.

4. Ликвидировать любые монополии и воссоздать действительно свободный конкурентный рынок.

5. Ограничить власть, штаты и финансы государства, сведя его к роли слуги, а не хозяина. Децентрализовать государственную власть и финансы, перенеся центр управления и финансов в общины.

6. Ограничить законодательство и воссоздать действительное равенство перед законом всех без исключений. Отменить все законы в чью-либо "пользу".

7. Ограничить любые концентрации экономической, финансовой, политической власти над людьми.

8. Развить мелкую и среднюю финансово-промышленную деятельность, создав многие и многие миллионы конкурирующих собственников-предпринимателей, что ликвидирует возможность безработицы, инфляции и роста нищеты.

9. Поощрять религиозное школьное образование и воспитание.

10. Заменить партийную правительственную систему беспартийной.

11. Резко снизить ненаказуемость преступлений (сейчас в США, например, 80% преступлений совершаются безнаказанно). Сделать преступления невыгодными, заставив преступника возмещать все нанесенные им потери.

12. Создать, наконец, общественную цензуру — контроль духовной продукции наравне с контролем материальной продукции.

Все это не представляет собой утопии и не ведет к раю на

земле. Однако, все это будет способствовать честному сотрудничеству граждан, их материальному благополучию и существенному повышению роли высоких духовных ценностей в обществе.

Такое общество, мне кажется, можно назвать обществом социального равновесия, в котором не будет *чрезмерных* различий в силе и власти. Противоречия будут разрешаться на уровне многих миллионов индивидуальных взаимодействий и взаимодействий сравнительно небольших групп. Децентрализация государственной власти и приближение ее к населению будет способствовать ясному пониманию связи личного и общественного. Правильная Конституция государства и его структура, обеспечивающие социальное равновесие, могут быть основой как материального, так и нравственного улучшения членов человеческого общества. Улучшения, не требующего ни "этического контроля", ни службы защиты с их массовым насилием.

А. Федосеев.

ПЕВЕЦ В СТАНЕ РУССКОГО КРЕСТЬЯНСТВА

(А. Чаянов)

С большим интересом я прочитал статью Н. Первушина в No. 149 "Нового Журнала", посвященную агроному и писателю Александру Васильевичу Чаянову — профессору сельскохозяйственной экономики и организации сельского хозяйства Петровско-Разумовской Академии, переименованной большевиками в Тимирязевскую.

А.В. Чаянов начал свою научную и практическую деятельность, по свидетельству Н. Первушина, в 1911 году, когда уже несколько лет действовали законы П.А. Столыпина о свободном выходе крестьян из общины на хутора и отруба и закреплении их за ними в личную собственность. Крестьяне, наконец были уравнены в правах с другими сословиями. С введением этих законов не только для крестьян, но и для всей России наступала новая эпоха развития.

К тому времени четко выявилось, что, вопреки Марксу, в сельском хозяйстве, в противоположность промышленности, происходит обратный процесс: мелкие частнособственнические, преимущественно крестьянские, хозяйства оказались значительно более производительными, чем хозяйства крупные. На это указывал, например, А.И. Чупров, профессор Петровско-Разумовской Академии, в своей книге, с которой я познакомился в начале 20-х годов. Причинами упадка даже чисто предпринимательских сельских хозяйств Западной Европы явилось резкое вздорожание рабочей силы в связи с развитием промышленности и невозможность для них достичь такого высокого агро-

технического уровня, какой имел место в мелких хозяйствах.

Значительно раньше, сначала на английском, а потом переведенная на русский, вышла книга кн. П.А. Кропоткина "Поля, Фабрики и Мастерские". В ней Кропоткин можно сказать "воспел" мелких земледельцев-собственников Западной Европы, их умение, прилежность, любовь к своему делу и к своей земле.

А.В. Чаянов, как агроном-экономист, знавший немецкий язык и печатавшийся на нем, отлично разбирался в вопросах крупного и мелкого земледелия Западной Европы, зная, что там мелкое земледелие стесняет крупное, потому что быстрее отзывается на новшества, осуществляет лучший уход и догляд. К тому же мелкие хозяйства не пользуются наемным трудом, который стал разорительным для крупных хозяйств. Как отмечает Н. Первушин, Чаянов написал книгу "Крестьянское хозяйство в Швейцарии"; жаль, что Н. Первушин не сообщил, какую оценку дал Чаянов швейцарскому земледелию.

Но тут начинается наша русская драма. Крестьяне составляли 80% всего населения России, они вели мелкое трудовое хозяйство и, по теории, ему следовало быть преуспевающим. Однако, у нас было как раз наоборот, — наше крестьянское хозяйство было крайне отсталым.

О положении в нашем сельском хозяйстве перед революцией 1917 г. очень хорошо рассказал С.Г. Пушкарев в своей ранней работе "Аграрный вопрос в истории русской революции", изданной на правах рукописи. Средняя урожайность крестьянских полей в общинном владении на десятину поднялась с 29 пудов в 1861 г. (год освобождения крестьян) до 43 пудов в 1910 г. В соседней же Германии урожайность крестьянских полей к этому времени достигла 100 и даже 120 пудов с гектара (0,9 десятины), а в Бельгии, по свидетельству кн. Кропоткина, она была еще выше.

С. Пушкарев отлично показал всю несостоятельность аграрных программ революционно-социалистических партий, которые видели единственное разрешение земельного вопроса в прирезке крестьянам земли за счет помещичьего землевладения. Эти программы были плодом невежества и демагогии, т.к. такая прирезка, в порядке уравнительного землепользования, дала бы ничтожные результаты и к тому же не могла быть практически

осуществлена во всероссийском масштабе, ибо потребовала бы огромных передвижений крестьянской массы населения.

Единственный верный путь в разрешении крестьянского вопроса заключался в повышении культуры земледелия, его интенсификации и, соответственно, повышении производительности и доходности. Надо было собирать с десятины не 43, а 103 пуда. Но непреодолимым препятствием на этом пути стояла наша поземельно-передельная община. Суть ее заключалась в том, что земля общего владения делилась по числу едоков в каждой семье; время от времени производились переделы в зависимости от изменения числа едоков. При таком порядке вещей отдельной крестьянской семье не было особого смысла трудиться над улучшением отведенной ей земли, т.к. при следующем переделе земля могла уплыть в чужие руки. К тому же земля отводилась не на одном участке, а, в целях поравнения, во многих местах, в зависимости от качества почвы, удаленности участков и ряда других условий, оказываясь часто разбросанной.

Поземельно-передельная община составляла в России преобладающую форму землевладения. С. Пушкирев дает следующие данные: в Великороссии общинное землевладение составляло от 93% до 98,4%; в Новороссии (губерниях Екатеринославской, Таврической и Херсонской) — 88,9% всего крестьянского землевладения; в Слободской Украине — 80,4%. Лучше обстояло дело в Белоруссии, где общинное землевладение составляло 39%, в Левобережной Малороссии (33%) и в Правобережной Малороссии (13,4%). П.А. Столыпин разрубил, наконец, этот Гордиев Узел, освободив крестьян от общинной зависимости.

Но, прощаясь с общиной, я не могу не вспомнить ее и добрым словом. Крестьянская община оставила нам неоценимое культурное и этическое наследие, крестьянский фольклор, который мог сложиться не на разобщенных хуторах, а только в селах и деревнях, на долгих зимних посиделках, в летних играх и хороводах, и т.п. Французский славист Пьер Паскаль, долго живший в России и в царское и в советское время, писал, что в России была создана "великая крестьянская Культура". П. Паскаль считал нашу крестьянскую культуру законченной, т.к. она включала и юридическое право. Стоит вспомнить хотя бы лесковского "несмертельного Голована", который был "нотариу-

сом” для целого села. Я помню по станицам и селам таких ”нотариусов” по аренде земли: к ним шли те, кто хотел сдать и кто хотел взять землю в аренду. А многое делалось просто ”на честное слово”. Еще в период НЭП’а я был свидетелем того, как один крестьянин продал другому лошадь и часть ее стоимости поверил в долг. Они пили ”могарыч” и один из них провозгласил: ”Ну, щоб людьми быть!”.

Столыпинские реформы не уничтожали общину, они только открывали свободный выход из нее желающим и право на закрепление за ними приходящейся доли земли в личную собственность навсегда, что крестьяне называли ”вечностью”.

А.В. Чаянов сразу же после окончания Петровско-Разумовской Академии принялся за деятельное изучение крестьянских хозяйств, на которых стояла тогда вся Россия. Он горел желанием выяснить, существуют ли для крестьянских хозяйств перспективы развития и что нужно для этого сделать.

В качестве опытного поля для своей исследовательской работы Чаянов взял Старобельский уезд в Малороссии и Волоколамский уезд в Великороссии. Это были передовые уезды передовых по земской работе губерний, Харьковской и Московской. Задача Чаянова облегчалась тем, что к этому времени наши земства уже накопили богатый бюджетный материал по обследованию крестьянских хозяйств. Этим материалом в полной мере и воспользовался Чаянов, после личного обследования Старобельского уезда опубликовавший ”Очерки по теории трудового хозяйства” (в двух выпусках, 1912 и 1913 гг.)

Главная мысль этой работы, как отмечает Н. Первушин, та, что ”экономические законы капиталистического сельского хозяйства о прибавочной стоимости и о земельной ренте неприменимы к русскому крестьянскому хозяйству”. В самом деле, добавлю я от себя, в трудовой семье нет наемного труда, а следовательно, нет и его эксплуатации, присвоения плодов чужого труда. Крестьянское трудовое семейное хозяйство не является капиталистическим, но оно не является ни в какой степени и социалистическим.

В 1923 г. Чаянов издал в Германии ”Исследование крестьянского хозяйства. Опыт семейного хозяйства в обработке земли”, где продолжал развивать и защищать свою теорию крестьян-

ского трудового хозяйства, в частности, то, что к нему неприменимо понятие капиталистической прибыли. В 1924 г. Чаянов опубликовал, снова в Германии, самую важную свою книгу — “К вопросу о теории некапиталистической хозяйственной системы”, где опять доказывал, что капиталистическая теория экономики неприменима к семейному трудовому хозяйству. В таком хозяйстве нет наемного труда, а следовательно, и элементов заработной платы и чистой прибыли.

Крестьянские расходы, как показал Чаянов, очень растяжимы и зависят от урожая. От урожая же зависит, сможет ли крестьянин в текущем году улучшить свои средства производства, т.е. купить новый необходимый инвентарь или заменить устаревший. То же самое и в отношении построек. Рачительный крестьянин постарается иметь зерновой запас на случай неурожая. Если все продукты, произведенные трудовой семьей, выразить в денежной стоимости, по рыночным ценам, то этим будет валовой доход крестьянского хозяйства, или его валовой продукт. Его нельзя сравнивать с капиталистической прибылью, потому что прибыль есть тот чистый доход, который остается у капиталиста от выручки за проданный товар после вычета из нее заработной платы, всех издержек производства и налогов.

Валовой продукт крестьянского хозяйства несопоставим с капиталистической прибылью. Трудовое хозяйство не имеет расхода на заработную плату, но оно несет другие расходы, оплачивает издержки производства и налоги. Если мы вычтем эти два элемента расходов из стоимости валового продукта, то получим годовой заработок крестьянской семьи, или трудовой доход. Он-то и интересует крестьянина, а не какая-то мифическая для него капиталистическая прибыль.

Некапиталистический трудовой сектор в аграрной России занимал доминирующее положение, т.к. крестьянство составляло 80% населения. Теория “некапиталистической хозяйственной деятельности” Чаянова опиралась на обширный фактический материал, а не на абстракции, как у Маркса. Наличие в аграрной России огромного некапиталистического сектора хозяйства делало совершенно бесперспективным применение марксизма в России. Книги Чаянова безусловно были известны большевистским верхам и оказали определенное влияние на установление

НЭП'а, проводившегося в жизнь Бухариным, Рыковым и Смирновым (нарком земледелия).

Чаянов установил закон развития крестьянского хозяйства, его роста в зависимости от соотношения в семье числа работников к числу едоков. Молодой крестьянской семье приходится туго, но по мере того, как дети подрастают и начинают работать, семья богатеет. Многочисленной трудовой семье своей земли уже не хватает, и она прибегает к аренде. Это смогли понять Бухарин и Зиновьев и провели в 1925 г. постановление, разрешающее крестьянам арендовать землю.

В своей статье Н. Первушин не выясняет, как относился Чаянов к различным формам землепользования и как они отзываются на рентабельности крестьянских хозяйств. Первушин пишет, что "Чаянов проводил резкую границу между хозяйствами с наемным трудом и семейным хозяйством без наемного труда, типичным видом хозяйства для русского крестьянства". Я думаю, что в данном случае Чаянов имел ввиду предпринимательские хозяйства с наемным трудом а не собственно крестьянские. Ведь к наемному труду прибегали и крестьянские хозяйства, притом лучшие из них, но этот труд носил временный, сезонный характер, например, во время уборки хлебов. Однако, удельный вес такого наемного труда был настолько ничтожен в общем балансе труда крестьянского хозяйства, что оно от этого никак не теряло своего трудового характера. С этой точки зрения, хозяйство американских фермеров носит скорее трудовой, нежели капиталистический характер.

В связи со сказанным, не могу удержаться, чтобы не заметить, что будущее сельского хозяйства освобожденной России мне видится тоже механизированным, но не через совхозы и колхозы, а частными владельцами-собственниками. Для этого в Советской России, независимо от воли ее вождей, подготовлены огромные кадры. Это, прежде всего, многие миллионы трактористов, комбайнеров, сельскохозяйственных механиков, но не останутся глухими к этому делу и городские рабочие, особенно вышедшие из крестьян и владеющие основами практической механики.

Вкратце взгляды Чаянова на крестьянское хозяйство России сводились к следующему. Крестьянское земледелие, составля-

шее основу сельского хозяйства России, было *некапиталистическим*, потому что доминирующее положение в нем занимали трудовые крестьянские семьи, не прибегавшие к найму постоянной рабочей силы; здесь не было эксплуатации и присвоения результатов чужого труда, или они были столь незначительными, что не нарушали трудового характера хозяйства. Трудовое крестьянское хозяйство было рентабельным и перспективным и могло стать, как и западноевропейское, высокопроизводительным при условии проведения соответствующих мероприятий. Для преодоления мелкости крестьянских хозяйств и придания им выгод крупного необходима кооперация крестьянских хозяйств снизу вверх по вертикали. Для отдельных районов России необходимо разработать типы крестьянских хозяйств с определением размеров, строя и направления хозяйства в зависимости от природных и экономических условий.

А.В. Чаянов наметил также меры для скорейшего подъема крестьянских хозяйств на более высокий культурный уровень и резкого повышения их производительности. Он указал на необходимость широкого кредитования крестьянских хозяйств для вооружения их современными средствами производства, на необходимость повышения сельскохозяйственных знаний с введением новейшей агротехники на крестьянских полях.

А.В. Чаянов боролся за интересы крестьянства при всех режимах — царском. Временного правительства и при большевиках. Большевики, не имевшие своей четкой земельной программы и путавшиеся в крестьянском вопросе, очень скоро обратили на него внимание, как на выдающегося знатока крестьянского вопроса. В 1920 году в Госиздате вышла книга Чаянова "Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии" в небывалом для того времени количестве экземпляров — 20 тысяч, с предисловием ведущего коммунистического критика В. Воронского.

Ленин, как известно, не жаловал крестьянство но когда страна запылала в огне крестьянских восстаний, он стал думать иначе. Книга Чаянова была воспринята не как утопия, но как вполне возможная реальность. Главная цель книги — попытка прогноза, куда пойдет Россия, если ее дальнейшее развитие будет строиться на демократических началах, как поведет себя

крестьянство? Ведь тогда еще надеялись, что большевики после победы в гражданской войне повернут к демократии.

В 1920 г., когда Чаянов издал свою мнимую "утопию", шла усиленная пропаганда союза рабочих и крестьян, создания рабоче-крестьянского государства. В своей "утопии" Чаянов и нарисовал картину такого государства: кооперированное земледелие из единоличных крестьянских хозяйств и государственная промышленность вместо национализированной капиталистической. Будущая крестьянская Россия чаяновской "утопии" вовсе не была несбыточной мечтой, но вполне могла стать реальностью при соответствующей хозяйственной политике государства.

Интеграция промышленности с сельским хозяйством в книге Чаянова тоже не была утопична. Он исходил из конкретного эмпирического материала по этому вопросу. Наши купцы давно начали строить фабрики и заводы около сел и деревень в расчете найти там дешевую силу. И они ее находили. Но и крестьянам была от этого выгода. Обычно на фабриках и заводах работала молодежь и она, по тогдашним нравам, несла свой заработок отцу, который употреблял часть этого заработка на нужды общего семейного хозяйства.

Я могу засвидетельствовать и от себя. Уже в советское время мне пришлось побывать в Мало-Вишерском районе Велико-россии. Меня удивило: почему одни деревни выглядели бедными, а другие — побогаче. Вскоре я нашел разгадку: близь богатых деревень всегда стояли какие-нибудь фабрички: текстильные, посудные, спичечные и пр.

Когда большевики вплотную занялись вопросом: какое же рациональное землеустройство надо ввести, чтобы скорее повернуть крестьян к социализму, на помощь марксистам-аграрникам пришел Чаянов. Он доказывал, что для успешного ведения земледелия необходимо приближение крестьянина к земле, что крупная община — наихудшая форма землепользования и раз невозможны хутора, то нужно разделять крупные общины на мелкие выселки с общинной формой землепользования.

Зав. отделом землеустройства Сальского окружного земельного управления, вернувшийся с совещания в Москве, говорил нам: "Он (Чаянов) купил их (марксистов) тем, что мелкие селения — это будущие колхозы". Так в период НЭП'а был взят курс

на мелкие крестьянские общины с введением в них рациональных севооборотов.

Политическое лицо А.В. Чаянова не вполне ясно. Н. Первушин называет его народником, но тогда это был уже народник нового типа — деловой народник. При царском режиме Чаянов проводил в высшей степени важную и обширную работу по крестьянской кооперации, при Временном правительстве он был членом главного земельного комитета, который стоял за передачу всех с/х земель крестьянству и даже, как сообщает Первушин, в начале октября 1917 г. был назначен товарищем министра сельского хозяйства. Но Первушин не указал, что министром сельского хозяйства в то время был Виктор Чернов — лидер с.-р. прославивший "сельским министром". И тут неясно, был ли Чаянов за столыпинские законы о передаче земли в личную собственность крестьян или же разделял точку зрения социалистов-революционеров о социализации земель, которые не могли ни продаваться ни покупаться, что затруднило бы их свободный переход из худших рук в лучшие. С 1922 по 1930 г., т.е. в продолжение всего НЭП'а Чаянов заведовал кафедрой сельскохозяйственной экономики в Тимирязевской Академии. Его назначили членом коллегии Наркомзема в бытность наркомом А.П. Смирнова, правого из правых большевика.

Скажу о последнем достижении А.В. Чаянова в период НЭП'а, об его вкладе в борьбу с засухой. Правительство А.И. Рыкова, сменившего Ленина, давало нам, работникам сельского хозяйства, чувствовать свою руку заметнее, чем при Ленине. Рыков объявил "режим экономии", о котором шла звонкая пропаганда, газетная и устная. Славу приобрели знаменитые "ножницы" Рыкова — стремление приблизить цены на промышленные товары и с/х продукты к довоенному времени. Впервые почувствовалась какая-то забота о населении и стремление удешевить государственный аппарат.

Правительство Рыкова, обеспокоенное повторным неурожаем в Поволжье, направило туда для изучения вопроса специальную колонизационно-мелиоративную экспедицию, известную больше как НКМЭ. В эту экспедицию вошли известные агрономы, мелиораторы, лесоводы и другие специалисты. Было объявлено о создании специального "Фонда по борьбе с Засухой" По-

волжская экспедиция пришла к выводу, что возможности мелиорации земель на Волге ограничены, а главное, очень дороги. В то же время бюджетные обследования показали, что в небольших селениях урожай выше и они устойчивее в период засухи. Экспедиция пришла к выводу, что план мелиорации земель на Волге является совершенно нерентабельным. Победила концепция А.В. Чаянова, ратовавшего за подъем крестьянского земледелия путем всемерного приближения крестьян к земле, их кредитования на покупку современного инвентаря и введение высокой агротехники.

И теперь, на чужбине, размышляя над статьей Н. Первущина, я думаю, что такого агронома, как А.В. Чаянов, у нас на Руси до него не было. Не будь революции, он стал бы выдающимся крестьянским деятелем, потому что знал куда и как вести крестьянское дело. Певец в стане русского крестьянства остался его верным защитником до конца и за это погиб в застенках НКВД.

Я. Тельнов

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА БОЛЬШЕВИКОВ В 1917 — 1920 ГОДАХ

Продовольственная политика большевиков в первые месяцы советской власти во многом была ключом к большевистской победе. Спазматически, с поразительной быстротой меняющаяся, она дала о себе знать уже на следующий день после октябрьского переворота. 27 октября 1917 г. был издан декрет о продовольственном снабжении городов. Этот закон советского правительства предоставил местным городским советам право добывать себе продовольствие любыми доступными способами. Как указывают официальные советские историки, "советская власть стала проводить новый принцип разрешения продовольственного вопроса на основе организации широкой *самодеятельности* трудящихся масс". Советам, среди прочего, предоставлялось право реквизиции всех частных запасов продовольствия.

За первые две недели советской власти в Петрограде большевики смогли набрать и имели в своем распоряжении несколько сотен тысяч пудов хлеба. Но это было каплей в море. 9 ноября вопрос о кризисе с продовольствием пришлось рассматривать во ВЦИК. Доклад делал Якубов, подчеркнувший, что "поступает всего 12 с лишком тысяч пудов в день. Между тем при пайке в четверть фунта на человека необходимо, чтобы поступало 48.000 пудов ежедневно. Если грузы будут поступать так, то город останется без хлеба... В армии дело обстоит не лучше. На северном фронте сухарей осталось всего на 2 дня... Производится разгрузка Петроградского узла. Она даст возможность снабдить население картофелем, если не станет хлеба." На следующий день для успокоения населения города в петроградских га-

зетах было официально объявлено о прибытии в Кронштадт каравана барж с продовольственными грузами для Петрограда и фронта.

Вопросами заготовки и распределения продовольствия должен был ведать срочно создаваемый Народный комиссариат по продовольствию. Однако, еще до начала работы комиссариата дело снабжения Петрограда продовольствием взял в свои руки Петроградский Военно-Революционный комитет. Уже в ноябре он стал посылать специально сформированные отряды рабочих и матросов для грабежа крестьян в хлебных губерниях. Практические результаты превзошли самые смелые ожидания большевистских руководителей: поступления продовольствия в город увеличились с 86 тыс. пудов за первую неделю ноября 1917 г. до 227-249 тысяч.

Формально считалось, что организация продовольственного дела основывается на принципах товарообмена между городом и деревней. Этот обмен промышленных товаров на хлеб и другие продукты первоначально проводился на местном уровне отдельными фабриками, заводами или местными органами советской власти. Однако, при явно завышенных ценах на промышленные товары, которых при этом еще и не хватало, при заниженных ценах на крестьянский хлеб подобный товарообмен, по существу, сводился к узаконенному грабежу. Так, по советским данным, считающимся, впрочем, неполными, в хлебные районы страны для обмена на продовольствие к 1 декабря 1917 г. было отправлено различных промышленных товаров на сумму всего лишь в 3.3 млн. рублей. Государство, поэтому, не могло прибегнуть к честной системе товарообмена и приступило к тогда еще скрытой форме конфискации хлеба. Как указывает советская официальная историография, "основную часть стоимости заготовленных сельскохозяйственных продуктов крестьяне получили обесцененными денежными знаками. Деньги являлись как бы свидетельством размеров полученной государством ссуды".

Это чередование скрытых и открытых конфискации не могло не возмутить крестьянское население и в декабре 1917 г. прокатилась новая волна крестьянского неповиновения. Первое коммунистическое наступление на деревню провалилось. Из-за отказа крестьян отдавать советской власти хлеб и восстаний

прекратился приток хлеба в промышленные центры. Угроза голода нависла над Петроградом: рабочие и солдаты получали по четверти фунта хлеба в день. Катастрофическим было и продовольственное снабжение Красной армии.

Выход из кризисного положения советское правительство искало не в повышении закупочных цен на хлеб и не в понижении цен на промышленные товары, но в усилении репрессий в отношении крестьян, в продолжении политики безвозмездной экспроприации крестьянского хлеба. 8 января СНК поручил одной из комиссий провести практические мероприятия по снабжению центров и армии продовольствием. Комиссия рекомендовала метод усиленной посылки в деревню вооруженных отрядов для принятия "самых революционных мер" в деле содействия продвижению грузов, сбора и ссыпки хлеба, "а также для беспощадной борьбы со спекулянтами".

Точную численность посланных в те месяцы в деревни карательных отрядов установить трудно. Советский историк Селунская, например, дает лишь общую цифру посланных в деревни *рабочих*: 50 тыс. за первые шесть месяцев большевистско-левоэсеровской власти*. О том, к каким последствиям привели первые же шаги советского правительства в деревне, сегодня открыто пишут даже советские историки: "Уравнительность и нивелировка крестьянского хозяйства привели к снижению товарности хлеба и общему понижению производительности сельского хозяйства"**.

Но голода в городах еще не было. Для снабжения продуктами промышленных районов советское правительство организовало усиленную отправку в города т.н. "маршрутных поездов" с продовольствием. В Петрограде сводки о прибытии продовольственных грузов доставлялись правительству ежедневно. О заготовке и погрузке продовольствия с мест сообщалось телеграммами. Постепенно карательные отряды советского правительства проникали во все более отдаленные от столиц хлебные ра-

* В.М. Селунская. Рабочий класс и Октябрь в деревне. М., 1968, стр. 68.

** Т.В. Осипова. Развитие социалистической революции в деревне — Октябрь и советское крестьянство. М. 1977, стр. 53.

йоны, в частности, на юг России. Ответственным за реквизицию там хлеба в конце декабря был назначен Г.К. Орджоникидзе. Под его руководством конфискация крестьянского хлеба проходила все более и более успешно. Если до 1 марта 1918 г. в Центр отправлялось ежедневно по 140 вагонов с продовольствием, то с 10 марта — уже по 300 вагонов, а с 1 апреля — по 400. Причина такого резкого увеличения отправок заключалась не столько в увеличивающихся конфискациях крестьянского хлеба, сколько в налаживании транспортной системы, связывающей Юг и Центр.

Однако, основным поставщиком хлеба в промышленные районы центра России была не Украина, оккупированная немцами, не Юг, но Сибирь с ее богатейшими зерновыми запасами. Именно туда и обратили свои взоры советские руководители. В январе 1918 г. груз хлеба из Сибири составил 587,5 тыс. пудов, в феврале — 1867,5 тыс., в марте — 3304,3 тыс. Но апрель уже не принес никаких результатов — хлебные районы страны охватили крестьянские восстания. Потерянной для большевиков и левых эсеров оказалась и Сибирь. В промышленных центрах России, захваченных большевиками, начался голод.

Голод не был вызван отсутствием хлеба. Как справедливо заметил С. Прокопович, "хлеба было много в стране, но хлеб этот не доходил до горожан и фабричных рабочих, так как частная торговля в стране преследовалась. Голод 1918 г. был закономерным результатом продовольственной и земельной политики советской власти". Эта политика, по словам официальной советской историографии, заключалась в следующем: "Советская власть не могла решать продовольственный вопрос буржуазными методами, путем развития свободной торговли хлебом, ибо свобода торговли означала спекуляцию и вздутие цен, свободу наживаться для богатых, свободу умирать для бедных. Советская власть должна была организовать заготовку хлеба на началах товарообмена, наладить продовольственное снабжение городов по трудовому принципу: "кто не работает, тот да не ест". Для этого были необходимы, во-первых, государственная хлебная монополия, т.е. безусловное запрещение частной торговли хлебом, обязательная сдача всех излишков хлеба государству по твердой цене и обеспечение деревни промышленными товарами также по твердым ценам; во-вторых, строжайший учет всех из-

лишков хлеба и правильный подвоз хлеба в те места, где в нем была особая нужда ... в-третьих, правильное распределение хлеба между гражданами.”*

А пока большевики занимались социалистическими экспериментами и из политических и идеологических соображений отказывались снимать введенную ими хлебную монополию, промышленные центры голодали и если не вымерли в тот год полностью, то только благодаря доставке в столицу хлеба так называемыми мешочниками, или, как расшифровывает этот термин англоязычным читателям английский экономист Алик Нове “людьми с мешками, отправляющимися из городов в деревни для покупки и обмена продовольствия”. Эти люди и снабжали города хлебом. Так, например, до марта 1918 г. из Кубани в города не было вывезено государством ни одного пуда хлеба, а “мешочники” вывезли не менее двух миллионов пудов.

Кроме хлеба, ввозимого мешочниками, в распоряжении промышленных центров находился и урожай “рабочих огородов”, внедряемых по указу советского правительства в промышленных центрах России. Межведомственная Центральная огородная комиссия при Наркомпродѣ была образована из представителей заинтересованных ведомств, профсоюзов и специалистов в начале 1918 г. В крупных городах, в том числе в Москве и Петрограде, были созданы еще и городские огородные комиссии. Весной 1918 г. они развернули широкую, в возможных для них пределах, деятельность.

Однако, царивший в стране голод не в силах были ликвидировать ни мешочники, ни огородные комиссии. Состояние продовольственного снабжения промышленных центров продолжало оставаться катастрофическим. План снабжения Москвы и Петрограда в январе 1918 г. был выполнен лишь на 7,1%, в феврале — на 16%, в апреле — на 6,1%, в мае — на 5,7%. Как следствие этого, весной и летом 1918 г. в столицах начался подлинный голод. В те месяцы рабочие Москвы и Петрограда иногда не получали хлебных пайков неделями.

В прочих промышленных центрах дела обстояли не лучше.

* История социалистической экономики СССР. т. 1, стр. 196-197.

В первой половине 1918 г. туда предполагалось завезти 230 тыс. вагонов продовольствия, но завезено было лишь 15,6 тыс. вагонов. Видя столь отчаянное положение, советское правительство еще весной 1918 г. начало организацию "правильного товарообмена в государственном масштабе" через продовольственные органы советской власти. Организация товарообмена с апреля 1918 г. была возложена на Наркомат продовольствия. По декрету от 2 апреля отдельные организации и предприятия, не уполномоченные на это Наркомпродом, уже не имели права заниматься самостоятельным обменом товаров на хлеб.

Знаменательно, что даже товарообмен проводился по классовому признаку. Обменивать продукты на промышленные товары могли лишь деревенские бедняки. Те же из крестьян, кто имел излишки продовольствия, должны были продавать их государству по твердым ценам, получая за них все более и более обесценивающиеся бумажные деньги. Выдаваемые государством для обмена на хлеб товарные фонды с целью предотвращения попадания их в руки крепких крестьян передавались в распоряжение волостных или районных сельских организаций и лишь через эти организации обменивались на хлеб бедняков. Основными промышленными товарами для обмена были ткани, нитки, кожа, обувь, галоши, шорные изделия, чай, сахар, соль, посуда, мыло, керосин, проволока, листовое железо, гвозди, подковы, веревки, сельскохозяйственные машины, орудия и инвентарь.

Подобный товарообмен, из которого исключались все зажиточные слои деревни, конечно же не мог разрешить продовольственного кризиса еще и потому, что промышленных товаров для обмена не хватало.

Но город не только "не давал", город еще и брал. В мае 1918 г. советское правительство предоставило Наркомпроду чрезвычайные полномочия по заготовке и распределению продовольствия. На находящейся под властью большевиков территории России была установлена "продовольственная диктатура" целью которой было "вести и провести беспощадную и террористическую борьбу и войну против крестьянской и иной буржуазии, удерживающей у себя излишки хлеба" (*Ленин*).

Одним из основных декретов о продовольственной диктатуре, принятых в мае, был закон ВЦИК. Он подтверждал

незыблемость хлебной монополии и твердых цен на хлеб и предписывал жителям сельских районов в недельный срок после объявления в волостях постановления сдавать советской власти "излишки хлеба". Крестьяне, утаивающие от государства свой хлеб и отказывающиеся свозить его на ссыпные пункты, объявлялись врагами народа.

Дело заготовки и распределения продовольствия сосредотачивалось теперь в Наркомате продовольствия. Местные продовольственные органы должны были подчиняться ему полностью, а планы Наркомпрода в области заготовки и распределения продовольствия должны были выполняться всеми советскими органами и учреждениями. Одновременно с этим во всех промышленных центрах советской республики стали интенсивно формироваться продовольственные отряды. Из них под руководством военно-продовольственного бюро при ВЦСПС при Наркомпроде была сформирована продовольственная армия. В середине июня 1918 г. она насчитывала около 3 тыс. человек, а в середине июля — более 10 тыс. В целом в распоряжении Наркомпрода осенью находилось свыше 58 тыс. человек, а к декабрю — около 80 тыс.

К заготовкам продуктов, кроме того, привлекались целые рабочие организации. Так, постановлением Наркомата продовольствия от 29 августа 1918 г. рабочие организации были привлечены к государственным заготовкам картофеля, причем для стимулирования активности рабочих отрядов 50% собранного картофеля получали сами рабочие организации. В 1919/20 финансовом году таким образом было заготовлено 42,3 млн. пудов картофеля, а в 1920/21-м — 70 млн. пудов. Метод привлечения рабочих организаций несколько позднее был распространен на многие другие продукты, формально не подпадавшие под советские законы и государственной монополии.

Летом 1918 г. правительство приступило к разработке общегосударственного продовольственного плана на 1918/19 г., долженствовавшего способствовать повышению государственных хлебозаготовок. В связи с этим Совнарком затребовал от губернских и уездных советов подробные данные о том, в каких губерниях, уездах и волостях "имеются избытки, могущие быть вывезенными в нуждающиеся местности". Одновременно с этим

ЦСУ требовало определить, "сколько излишков хлеба *должно* быть в каждой волости. Сколько каждая должна дать?". По указанию ЦСУ должны были устанавливаться "наряды поволостные".

Ленин постоянно настаивал на ужесточении продовольственной политики. Вот типичные ленинские предписания того времени: "Указанный Вами размер излишков явно преуменьшен. Соберите поточнее данные," — писал Ленин в Саратов и советовал привлечь к конфискациям комбеды. Ленин требовал также "поставить дело так, чтобы в одной волости за другой ссыпались все без изъятия излишки хлеба". После столь конкретных указаний Ленина не приходится удивляться тому, что с начала хлебной кампании в Саратовской губернии было заготовлено до 3 млн. пудов продовольствия.

Однако, все эти усилия советского правительства не внесли каких-либо принципиальных изменений в общее тяжелое экономическое положение промышленных районов страны. Осенью 1918 г. обострение продовольственных трудностей продолжалось. В промышленных центрах, в том числе и столицах, хлеба, как и весной — летом 1918 г., не бывало неделями. С целью увеличения заготовок хлеба советским правительством в августе 1918 г. был принят ряд декретов. В них предусматривалось:

— форсирование организации рабочих отрядов по заготовке продовольствия и поощрение их деятельности путем отдачи им доли награбленного у крестьян хлеба;

— формирование из рабочих и крестьян голодающих губерний особых уборочных и уборочно-реквизиционных отрядов для уборки озимых хлебов с полей бывших помещичьих экономий и с полей репрессированных крестьян;

— установление обязательного товарообмена с запрещением продавать крестьянам промышленные товары иначе, как в обмен на хлеб и сельскохозяйственное сырье — кожу, пеньку, лен и т.п. При покупке промышленных товаров крестьянин мог покрывать обесценивающимися советскими деньгами не более 15 процентов стоимости товаров. Приобрести эти промышленные товары в обмен на сельскохозяйственные продукты крестьянин мог лишь в советских и кооперативных лавках.

Наконец, несколько повышались закупочные цены на хлеб

нового урожая. Новые цены устанавливались до 1 декабря 1918 г., и лишь на хлеб, поступивший на государственные ссыпные пункты до данного срока, который, однако, позже был продлен до 1 февраля 1919 г.

Система обязательного товарообмена — один из наиболее важных продовольственных законов, опубликованных в августе 1918 г., как и многие другие предшествовавшие ему продовольственные законы, не дала ожидаемых результатов. План товарообмена на 1918 г. выполнен не был. Не хватало промышленных товаров, бездействовал транспорт, заготовительные цены на хлеб были издевательски низкими. Так, по сведениям ЦСУ, в различных районах России себестоимость пуда ржи составляла от 6 руб. 30 коп. до 12 руб. 27 коп. Государство же скупало или обменивало у крестьян хлеб по единой для всей страны цене: 4 руб. 20 коп. за пуд, т.е. в полтора-три раза ниже *себестоимости*. Аналогично обстояло дело и с заготовительными ценами на другие сельскохозяйственные продукты.

При таких закупочных ценах на хлеб его нельзя было получить иначе, как силой. Благодаря деятельности комитетов бедноты, созданных в сельских районах декретом от 11 июня 1918 г. и продовольственным отрядам в 12 производящих губерниях, за два с половиной месяца, с августа по ноябрь, было заготовлено до 30 млн. пудов хлеба против 15 млн. пудов, собранных за первое полугодие. В целом же по стране во втором полугодии было заготовлено 67 млн. пудов хлеба, а в первом — только 28 млн.* Однако, из рук советской власти во второй половине 1918 г. рабочие получали лишь 50% потребляемого ими хлеба. Остальные 50% они добывали самостоятельно, чаще всего закупая хлеб на рынке по рыночным ценам. Именно это имел в виду Ленин, когда указывал, что половина продовольствия "собрана социалистически, а не капиталистически", понимая под "капиталистическим способом" — рыночную торговлю, а под "социалистическим" — *грабеж*.

В особо критические для советской власти моменты прави-

* По другим сведениям, в 1918 г. государством было собрано около 50 млн. пудов хлеба.

тельство отходило от политики жесткой хлебной монополии и, чаще всего по инициативе местных советов, разрешало населению самостоятельные закупки продовольствия у крестьян. Так, в августе 1918 г. Московский Совет разрешил населению города ввозить продовольственные продукты в количестве полутора пудов на человека. Также вскоре поступили Петроградский и некоторые другие советы. Это, однако, сразу же привело к большому оживлению частной торговли и поступлению в город столь значительного количества продуктов, что в вопросе снабжения продовольствием население перестало зависеть от советской власти. С другой стороны, крестьяне, почувствовав, что советская власть вынуждена идти на уступки, стали оказывать еще большее сопротивление правительственным конфискациям хлеба. И постановлением СНК от 6 сентября 1918 г. все решения местных советов о самостоятельных закупках населением продовольственных товаров и свободном провозе хлебных продуктов были отменены.

Уже 12 декабря 1918 г. декретом СНК рабочим организациям было предоставлено право, с разрешения местных советов, закупать у крестьян картофель, овощи, птицу и прочие продукты, на которые не распространялась государственная монополия, причем 25% закупленного картофеля и овощей рабочие организации должны были сдавать государственным продовольственным органам. На местных рынках разрешалось также торговать кустарными изделиями, сделанными своими руками.

С точки зрения советского правительства, было важно сосредоточить дело снабжения населения всецело в своих собственных руках. Крестьяне, по замыслу большевиков, должны были потерять право распоряжаться своим собственным урожаем. Для советского правительства, однако, сложность заключалась в том, что проводником такой крестьянской политики не могли стать сельские советы, в которых большевики не пользовались никаким авторитетом. Поэтому в середине 1918 г. большевики и начали создавать в деревнях параллельные советам органы власти — комитеты бедноты. К ноябрю 1918 г. по 33 губерниям РСФСР комбедов насчитывалось уже свыше 122 тыс., а в Белоруссии — 6278, причем все они, как сообщает советская официальная историография, "на деле превратились в деревен-

ские военно-революционные комитеты”*. Их основной целью стало разжигание междоусобной войны в деревне и конфискация у крестьянства запасов хлеба.

Чтобы натравить более зажиточные слои деревни на более бедные, комитетами бедноты было конфисковано 50 мл. десятин крестьянской земли и отобраена значительная часть орудий труда и рабочего скота. Часть этого реквизированного имущества и земли передавалась бедным слоям деревни. Впрочем, распределению среди бедняков на "уравнительных началах" подлежали лишь мелкие орудия труда. Прочий инвентарь чаще всего поступал в общественное пользование. С конфискацией хлеба было проще. Например, в Печетовской волости Кимрского уезда Тверской губернии комитеты бедноты реквизировали у крестьян 15 тыс. пудов хлеба, часть которого сразу же была распределена среди членов комбеда и сельской гольтыбы. В Яковлевской волости комбеды изыали у крестьян за один день свыше 1 тыс. пудов хлеба, а на 57 крепких крестьян наложили контрибуцию в 42,5 тыс. рублей. В Малоархангельском уезде Орловской губернии комбеды совместно с продотрядами за 12 дней отобрали у крестьян и отправили в промышленные центры 320 тыс. пудов хлеба и картофеля, а в Спасском уезде Казанской губернии заготовили 69.393 пудов хлеба за 15 дней. В самой Казани комбедами и продотрядами было погружено на пароходы 95.020 пудов хлеба. В Симбирской губернии было заготовлено комбедами 1.013.309 пудов хлеба.

Комитеты бедноты не только фактически проводили в деревне большевистскую политику, но и формально стали подменять собой власть сельских советов. Ленин и не скрывал того, что одной из задач комитетов бедноты было устранить советы, сделать так, "чтобы комбеды стали советами". Этому большевики добились. В ноябре 1918 г. советы были влиты в комитеты бедноты, которые теперь стали называться советами.

Создание комитетов бедноты, однако, было не единственным мероприятием большевистского правительства, направленным на уничтожение крестьянства, на отнятие у него хлеба. При-

* История социалистической экономики СССР. т. I, стр. 205.

мерно с лета 1918 г. большевики начали проводить в жизнь политику военного коммунизма. Составной частью этой политики была продовольственная разверстка. Этот неприкрытый грабёж русского крестьянства не пытаются замаскировать даже советские историки: "Без максимального применения монополии, вплоть до изъятия всех излишков и даже части необходимого продовольствия у крестьян, большей частью в долг, без всякой компенсации, нельзя было обеспечить продовольствием армию и рабочих"*. О том же говорил Ленин: "Своеобразный "военный коммунизм" состоял в том, что мы фактически брали от крестьян все излишки и даже иногда не излишки, а часть необходимого для крестьянина продовольствия, брали для покрытия расходов на армию и на содержание рабочих. Брали большей частью в долг, за бумажные деньги. Иначе победить помещиков и капиталистов в разоренной мелкокрестьянской стране мы не могли."

С другой стороны, большевики признавали, что вопрос о введении военного коммунизма был, скорее, не экономическим, а идеологическим. Ленин, например, указывал, что на экономическом фронте политика военного коммунизма *не могла* увенчаться успехом. Эти попытки непосредственного перехода к коммунизму, признавал Ленин, "без промежуточных ступеней социализма", были предприняты "и по военным соображениям, и по абсолютной нищете, и по ошибке, по ряду ошибок". А ликующий Л. Крицман в 1926 г. все еще восхвалял военный коммунизм, как "предвосхищение будущего, прорыв этого будущего в настоящее"**.

Формально продовольственная разверстка была введена декретом от 11 января 1919 г. В декрете указывалось, что в целях срочной поставки хлеба для нужд Красной армии и бесхлебных районов и городов в соответствии с декретами советской власти о хлебной монополии устанавливался новый порядок учета и сосредоточения в руках государства излишков продовольствия: "Все количество хлебов и зернового фуража, необходимого для

* История социалистической экономики СССР, т. I, стр. 245.

** Л. Крицман. Героический период Великой русской революции. (Опыт анализа так называемого "военного коммунизма"). Москва, 1926, стр. 77.

удовлетворения государственных потребностей, разверстывается для отчуждения у населения между производящими губерниями". К государственной разверстке, устанавливаемой Наркоматом продовольствия, прибавлялись еще и обязательные поставки определенного количества хлеба и зернового фуража по распоряжению губернских продовольственных комитетов. Предполагалось, что продовольственная разверстка будет проводиться исключительно по классовому признаку, причем основной удар будет нанесен крепким крестьянам, и лишь затем уже всем остальным. К крестьянам, отказывавшимся сдавать советской власти свой хлеб, "применялись разные меры принуждения, в том числе конфискация имущества". С другой стороны, как и в случае с комбедами, для разжигания междоусобной борьбы в деревне оставшийся на местах после выполнения государственной разверстки хлеб распределяли среди сельской гольтыбы.

В дополнение к декрету о продовольственной разверстке большевики неоднократно подчеркивали, что советы на местах должны последовательно проводить классовый принцип разверстки в деревне продовольственных заданий и ни в коем случае не допускать уравнительного распределения нарядов по числу душ или размерам надела.

Заготовки хлеба предполагалось производить централизованно. На это, в частности, неоднократно указывал Ленин: "Никаких самостоятельных заготовок кем бы то ни было ни по вольным, ни по твердым ценам ни в коем случае допущено не будет". Ничьих плановых или внеплановых заданий, кроме нарядов Совета Обороны, местные продовольственные комитеты выполнять не имели права. В директиве СНК всем губернским продовольственным комитетам от 23 июля 1919 г. говорилось, что никто, кроме Совета Обороны, "не может давать нарядов или изменять системы выполнения этих нарядов".

И все-таки к вопросу о централизованности поставок хлеба приходилось постоянно возвращаться. Так, в связи с решением Петроградского Совета о самостоятельном снабжении города Ленин был вынужден напомнить, что "отправка хлеба должна производиться всеми продовольственными органами по планам Компрода и в установленном порядке. Отступления от этого порядка недопустимы и могут только усилить голод, внеся

расстройство в дело снабжения голодающего населения". Аналогичным было и указание Совета Обороны Реввоенсовету 5-й армии в августе 1919 г., предписывавшее весь реквизированный в Сибири хлеб отправлять в распоряжение Наркомпрода и не допускать сепаратных отправок хлеба в города по усмотрению военных властей на местах.

Планы государственных разверсток хлеба Наркомпрод составлял по губерниям. На основании этих планов на местах устанавливались разверстки по уездам, волостям и селениям, а в селениях — по отдельным крестьянским хозяйствам. В теории планы разверстки, подготавливаемые советским правительством, основывались на размерах посевных площадей, урожайности и устанавливаемых государством нормах потребления для сельского населения. Однако, на практике посевные данные, представляемые земельными комитетами, советское правительство часто объявляло заниженными. Свои планы разверсток большевики основывали на довоенной статистике. Между тем до революции примерно 3/4 товарного хлеба давали помещичьи и кулацкие хозяйства, большевиками разоренные. И требовать от разрушенного революцией сельского хозяйства России дореволюционных поставок продовольствия было нелепо. Так, за предшествующие революции десять лет вывоз хлеба из Симбирской губернии составлял примерно 12 мл. пудов в год. Исходя из этого, Наркомпрод в 1919 г. установил для губернии разверстку в 11 мл. пудов, в то время как, по данным земельных отделов, губерния не только не имела излишков, но нуждалась в завозе примерно двух с половиной мл. пудов хлеба. Нечего и говорить о том, что разверстка по Симбирской губернии выполнена не была, хотя весь имевшийся хлеб был конфискован, и это привело к голоду и восстаниям.

Аналогичным образом обстояло дело и на Украине в начале 1920 г. В феврале-марте советским правительством была запланирована для Украины разверстка в 600 мл. пудов, вычисленная на основании данных об урожайности в предреволюционные годы. Несколько позже, однако, из-за катастрофического состояния сельского хозяйства Украины, разверстка была снижена до 160 мл. пудов. Однако, и эта разверстка была встречена украинцами саботажем и восстаниями. В результате, вместо запланиро-

ванных для сбора на Украине к марту 1920 г. 40 мл. пудов хлеба советским правительством было собрано менее 2 мл. пудов.

В ряде случаев правительство шло на сокращение разверсток для районов, оставляя, однако, неизменной общую цифру разверстки. Вот как подходил к этой проблеме Ленин: "Две-три недели тому назад в Совнаркоме было собрание, в котором разбирался вопрос о том, что разверстка центра непомерно тяжела, и собрание решило облегчить разверстку... которая наложена на старые русские губернии... Но за чей же счет сделать это облегчение? И на это может быть дан только один ответ — за счет более хлебных окраин, а именно ... Сибири, Кубани, и подготовить возможность взять хлеб из Украины".

Крестьянский хлеб реквизировался прежде всего с помощью продовольственных отрядов, местных Советов и специально мобилизованных на заготовки хлеба коммунистов. С призывами вступать в продовольственную армию к рабочим и коммунистам постоянно обращался Ленин, требовавший, чтобы каждая партийная организация, профсоюз или рабочий коллектив выделили из своей среды для участия в грабежах крестьянства пятого или десятого человека. К началу 1919 г. среди работников уездных продовольственных комитетов (упродкомов) по крайней мере каждый третий был рабочим, главным образом из Петрограда, Москвы или Иваново-Вознесенска. Всего же с 1918 по 1920 гг. в стране действовало 2700 продовольственных отрядов, в состав которых входило 82 тыс. рабочих.

Роль коммунистов в конфискации хлеба советской властью отмечалась неоднократно. Так, уполномоченный ВЦИК по хлебозаготовкам в Симбирской губернии отмечал в 1919 г., что "если бы не те 500 человек коммунистов, которые нам дал Симбирский комитет, мы из Симбирска вовсе ничего не получили бы". На протяжении трех лет революции постоянно появлялись в советских газетах заметки вроде следующей: "В уезде объявлена хлебная неделя. Для агитации выехало 150 коммунистов. В течение недели ссыпано 260 тыс. пудов".*

По сравнению с 1918 г., государственные заготовки хлеба и

* "Правда", 8 октября 1918 г.

прочих продуктов благодаря системе разверстки постоянно увеличивались. В 1919 г. большевиками было награблено более 100 мл. пудов хлеба, а в 1920 г. — свыше 200 мл. пудов.

В 1919 г. разверстка распространилась не только на хлеб и хлебофураж, но и на мясо. В 1920 г. — на масло и многие другие сельскохозяйственные продукты, а также на сельскохозяйственное сырье. До 1920 г. заготовка масла производилась путем добровольной сдачи крестьянами молока в артельные маслобойни и сыроварни по твердым ценам, установленным Наркоматом продовольствия. Поскольку эти твердые цены были крайне низкими и не соответствовали стоимости промышленных товаров, поскольку, с другой стороны, за купленное у крестьян молоко советское правительство платило обесцененными бумажными деньгами, в 1918 г. по всей стране было заготовлено только 666,5 тыс. пудов масла, причем из этого количества 596,9 тыс. пудов было заготовлено в Сибири и лишь 69,6 тыс. в Европейской России. А так как в 1919 г. Сибирь во время заготовительного сезона для большевиков была потеряна, на подвластной им территории большевики сумели собрать только 106 тыс. пудов масла.

2 марта 1920 г. был издан декрет СНК "Об организации сельскохозяйственных предприятий для снабжения молочными и огородными продуктами городов и промышленных центров". На его основе и была введена разверстка масла по отдельным районам страны. Декрет оправдал себя: в 1920 г. было заготовлено 1280,4 тыс. пудов масла.

Теоретически на продукты, не подлежавшие разверстке и не подпадавшие под государственную монополию крестьяне получали право свободной продажи на местных рынках. Однако, на практике эти права крестьян часто нарушались, в связи с чем в январе 1919 г. СНК потребовал от местных властей не чинить крестьянам препятствий. Декрет этот, однако, никогда не был реализован. На практике разверстки распространялись и на ненормированные продовольственные товары, а любая попытка крестьянина вывезти их на рынок рассматривалась как вызов советской власти и саботаж. В городах, с другой стороны, все эти годы существовала карточная система снабжения продовольствием и промышленными товарами массового потребления, ко-

торая, по свидетельству самой же советской официальной историографии, "позволила удовлетворить трудящихся только крайним минимумом средств потребления".

К крестьянским восстаниям советское правительство относилось, как к явлению само собой разумеющемуся. Ведя гражданскую войну и готовясь к "решающей битве за мировую революцию", большевики должны были прежде всего заботиться о работоспособности своей военной машины, в частности, военных предприятий. В 1919 и 1920 годах большевики стали по-особому относиться к рабочим, занятым в военной промышленности. Рабочие пайки им зачастую выдавались по красноармейским нормам, причем рабочие оружейных, патронных и прочих военных заводов обеспечивались хлебом в первую очередь. Так, 17 марта 1919 г. по решению Совета Обороны на красноармейский паек были переведены рабочие 101 важнейшего оборонного предприятия советской России. Одновременно с этим на тех оборонных предприятиях, где был введен удлинненный рабочий день, выдавался усиленный продовольственный паек. Аналогичной была политика советского правительства в отношении рабочих Урала, Донбаса и Баку, причем бакинские нефтяники "снабжались продовольствием на основе указания ЦК партии о снабжении Баку продовольствием по 100-процентной норме".

Как и раньше, большое внимание уделялось подсобному хозяйству, организованному при промышленных предприятиях. Советская власть видела в этом средство для предотвращения голода, восстаний в городах, бесперебойной работы военного сектора промышленности, уменьшения зависимости города от деревни. В марте 1919 г. представители Московского Продсовета занимались организацией 40 подсобных хозяйств в Рязанской и Смоленской губерниях. Сокольнический Совет депутатов в том же месяце начал организовывать "под Москвой свою молочную ферму, а также хозяйство по образцу тех, какие заводятся в советских имениях".

14 февраля 1920 г. Наркомпроду и Наркомзему было поручено разработать план мероприятий по дальнейшему расширению и развитию огородничества и прочих подсобных хозяйств в пригородных зонах. 2 марта декретом СНК местным советам было приказано содействовать организации пригородных мо-

лично-огородных хозяйств. В декрете, в частности, указывалось, что "все свободные земли вокруг промышленных центров должны быть употреблены городскими исполнительными комитетами под огороды и молочные хозяйства".

В годы военного коммунизма основная часть продуктов потребления приходилась на Красную армию. Как свидетельствует советская официальная историография, "в 1919 г., когда страна располагала меньшими ресурсами, снабжение армии занимало более высокий удельный вес в общегосударственных планах распределения продовольствия и промышленных предметов широкого потребления"* . Но даже этого количества товаров и продуктов для все увеличивающейся армии не хватало. Поэтому, по постановлению СТО от 11 июня 1920 г., 3 мл. пайков, выдаваемых красноармейцам ежедневно, уже не были равнозначными, а разделялись на тыловые и фронтовые. Сокращение красноармейского пайка допускалось только в отношении тыловых частей.

Для снабжения армии продовольствием и промышленными товарами были созданы т.н. фронтовые продовольственные комиссии. Эти военно-продовольственные органы занимались в прифронтовых районах конфискациями, обменом или покупкой (что случалось редко, да и то на обесцененные деньги) необходимых для армии товаров.

Ряд фронтов Красной армии почти полностью снабжался за счет грабежа местного населения. Так, Кавказский фронт с октября 1919 по март 1920 г. за счет заготовок военно-продовольственных органов обеспечивал себя мукой на 80%, крупой — на 70%, мясом и рыбой — на 90%, овощами — на 95%, фуражом — на 85%. Кроме того, при войсковых соединениях, создавались "военно-огородные хозяйства", которые в 1920 г. дали более 3 мл. пудов овощей, что покрыло потребность армии на несколько месяцев. Для обеспечения лошадей сеном армейским частям за счет крестьян отводились специальные сенокосы, где в 1920 г. было заготовлено свыше 6 мл. пудов сена.

Армия использовалась и для снабжения населения городов.

* История социалистической экономики СССР, т. I, стр. 378.

Делалось это через т.н. продовольственные посылки красноармейцев семьям. Количество посылок было довольно существенным. Так, 17 апреля 1919 г. Ленин отмечал, что "посылки значительно содействуют снабжению городов; за один день пришло 37 вагонов продовольственных посылок". Поощряя посылки, советское правительство подстрекало тем самым красноармейцев на грабеж прифронтовых районов, часто только что захваченных у белых, а потому еще не разоренных, богатых.

Однажды сжатая, пружина уже не разжималась до 1921 года, когда Тамбовское крестьянское восстание, вместе с Кронштадским, заставили большевиков под угрозой падения советской власти отойти от своих принципов и на семь лет ввести НЭП.

Ю. Фельштинский

АЛЕКСАНДР РАДИЩЕВ

В кругах атеистической и демократически настроенной интеллигенции (от Белинского до Шелгунова) имя Радищева не только не пользовалось доброй славой, но даже и простым уважением. Если у Белинского нет ничего о Радищеве, то в конце столетия, у Шелгунова, он назван далеко недаровитым и неумным. Возможно, что в этом отзыве Шелгунова сыграло роль распространенное в то время презрительное отношение к родовитому дворянству, почему он и объединил Радищева с князем М.М. Щербатовым. Но как бы то ни было, говорить о каком-либо значительном влиянии Радищева на русскую культуру в конце XIX в. нет никаких оснований. До большевицкой революции никто не считал Радищева своим идеологическим родоначальником или предшественником.

Во исполнение ленинского декрета "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской социалистической революции", в сентябре 1918 года Радищеву был поставлен временный памятник на Дворцовой набережной в Петрограде, который, впрочем, не сохранился. Открыл его Луначарский обычной в то время для вождей революции речью, полной трибунного пустословия. Вот выдержки из этой речи народного комиссара: "Вы видите, товарищи: мы заставили для Радищева посторониться Зимний дворец, бывшее жилище царей... Памятнику первого пророка и мученика революции не стыдно будет стоять здесь, словно стражу, у Зимнего дворца... Теперь смотрите на величественное и гордое, смелое, полное огня лицо нашего предка. В нем живет нечто смятенное. вы чувствуете, что бунт шевелится в сердце этого величаво откинувшего орлиную голову человека..."

Зачисленный Лениным в "идеологический арсенал" партии, Радищев со временем сделался "кормильцем" целой кучи писателей и исследователей, специализировавшихся на нем. В 1949 и 1952 годах в СССР были организованы чествования 200-летия со дня рождения и 150-летия со дня смерти Радищева. В связи с этими датами было издано академическое собрание его сочинений (1958-1959), напечатано множество книг и различных брошюр. Радищев теперь оказался не только революционером и политическим борцом, но и — великим писателем, основоположником революционной поэзии, оригинальным и глубоким критиком, видным историком, глубоким философом-материалистом, замечательным естествоиспытателем. Что же такое представлял собою Радищев на самом деле?

ДО 1790 ГОДА

Александр Николаевич Радищев родился 31-го августа 1749 года. По рождению, воспитанию и образованию он принадлежал к состоятельной родовитой дворянской семье. В семилетнем возрасте был отправлен из родительского поместья в Пензенской губернии в Москву для воспитания и учения в гимназии при только что открывшемся университете. Директором университета был А.М. Аргамаков, родственник матери Радищева, урожденной Аргамаковой. В семье Аргамакова мальчик Радищев жил и воспитывался вместе с его сыновьями.

Вскоре после дворцового переворота 1762 года Радищев был пожалован в пажи Екатерины II и зачислен в Пажеский корпус — самое привилегированное учебное заведение России того времени. Окончив курс в возрасте 17 лет, он был послан с группой молодых людей в Лейпциг для обучения в университете.

Вернулся Радищев из Лейпцига через 5 лет. Прослужив два года протоколистом в Сенате и два года обер-аудитором в штабе Финляндской дивизии, он в 1775 году женился и вышел в отставку. Через два года он вернулся на службу, поступив в Коммерц-коллегию, в которой прослужил 13 лет, до ареста 30-го июня 1790 года.

В 1783 году Радищев овдовел, будучи отцом 4-х детей, дочери и трех сыновей. В том же году 34-х летний Радищев был произведен в чин коллежского советника и награжден орденом Владимира 4-ой степени, который получил из рук царицы.

До 1780 года Радищев был заместителем управляющего Петербургской таможенной, находившейся в ведении Коммерц-коллегии, директором которой был покровительствовавший Радищеву граф Александр Романович Воронцов. После смерти управляющего таможенной Г.И. Даля в 1789 году, на его место, по рекомендации Воронцова, был назначен Радищев. В том же году он закончил писать свое "Путешествие из Петербурга в Москву".

Провести рукопись через цензуру Радищев поручил досмотрщику Мейснеру, в прошлом книгопродавцу, которого он незадолго перед тем принял к себе на службу. Полученную от Радищева тетрадь Мейснер возвратил в июне 1789 года с цензорским разрешением, подписанным петербургским обер-полицмейстером Рылеевым.

В текст цензурованной тетради Радищев внес много изменений, включив две новых главы. Переписать набело новый текст Радищев поручил таможенному надзирателю Царевскому, который до определения его в таможню был домашним учителем детей Радищева. С этой белой рукописи и была набрана книга с указанием, что она напечатана с разрешения цензуры.

Советские исследователи представляют типографию в доме Радищева в обстановке секретности и в ореоле романтики благородного подвига, как подпольное печатание крамольных книг группой революционеров. Между тем заводить домашние типографии в то время разрешалось законом *всем беспрепятственно*, поэтому типографию в своем доме Радищеву скрывать не было нужды. Однако, набирали и печатали книгу служащие таможни под надзором таможенного досмотрщика Богомолова. Работая для своего начальника в его доме, они получали жалованье от казны. Со стороны Радищева это было сознательное злоупотребление своим служебным положением, которое он, понятно, считал необходимым скрыть.

Всего было напечатано 650 анонимных экземпляров. Из них 25 были переданы в середине мая 1790 года на продажу Герасиму Зотову, 6 экземпляров Радищев раздал служащим в тамож-

не и один дал О.П. Козодавлеву для передачи Г.Р. Державину. Узнав 26-го июня 1790 г. от Зотова о начавшемся следствии об авторстве его книги, Радищев распорядился весь остальной тираж сжечь. Возможно, как полагают, что книг 25 утаили и пустили потом в продажу те, кому было поручено их сжечь.

Для награждения лиц, участвовавших в выявлении контрабандных товаров, управляющему таможенной Радищеву были даны большие права. Среди награжденных им 7-ю тысячами рублей в 1789 году был Герасим Зотов. Получив от таможи эти деньги, Зотов в том же году записался в купцы третьей гильдии с капиталом в 5 тысяч рублей. Весной следующего года он уплатил 5 тысяч известному в Петербурге книгопродавцу Тимофею Полежаеву и тот согласился считать его своим пайщиком. В объявлениях, печатавшихся в "Санкт-Петербургских Ведомостях" с 10-го мая до 16-го июля 1790 года, вместо Полежаева владельцем книжной лавки был назван Зотов. Но уже с 26-го июля, когда непричастность Полежаева к продаже книги Радищева была установлена, он снова объявил себя владельцем лавки.

Никто до Зотова не рекламировал себя в печати так настырно. Упомянутые объявления он печатал не только ежедневно (исключая 28-е июня), но часто помещал по два и даже по три в одном номере. И несмотря на это, книга Радищева продавалась, вопреки утверждениям советских ученых, очень медленно. Во всяком случае, в день ареста Зотова, то есть после 40 дней продажи, у него из 25 экземпляров остался по меньшей мере один, так как известно, что другую книгу сторговал в тот день купец Хлебников.

Зотов был арестован 26-го июня 1790 года, за несколько дней до ареста Радищева. В полиции он солгал, что имени автора "Путешествия" не знает, что сам из московских купцов и в Санкт-Петербургской гильдии записан с 1784 года. При этом он заявил, что Радищев мог подослать ему эту книгу в отместку за то, что он, Зотов, по своей простоте не поклонился Радищеву за полученные 7 тысяч рублей наградных.

В тот же день в записках секретаря Екатерины, А.В. Храповицкого сделана запись: "Открывается подозрение на Радищева."

Вторично Зотова арестовали 6-го июля, спустя 6 дней после ареста Радищева. На этот раз он отказался от своих прежних показаний. Следствие хотело узнать — кто автор "Путешествия", сколько экземпляров и кому было продано. Зотов, сверх спрошенного, поведал о сделке с Полежаевым по наущению Радищева, и о деньгах из таможи, но все это следствие не интересовало и оставлено было без внимания.

Досмотрщика Мейснера, как и Зотова, за несколько дней до ареста Радищева вызвали в полицию, желая узнать имя автора "Путешествия". О своем вызове в полицию он рассказал Радищеву и сказал, что имени его он не назвал. Позже Радищев *показал*, что рукопись его книги провел через цензуру Мейснер.

По делу Радищева были вызваны также Богомолов и Царевский. Из показаний Царевского стало известным, что книгу написал Радищев, а набором руководил Богомолов.

По поводу указания на книге, что она напечатана с разрешения цензуры, Екатерина написала в своих замечаниях: "Сие, вероятно, ложь, либо оплошность." Это была ложь и поэтому никто из цензуры к ответственности не привлекался.

Екатерина II прочла книгу Радищева "от доски до доски" в 2 недели. Первые 30 страниц поразили и возмутили ее. Она лично знала автора. Много было дано ему и сделано для него с ее ведома. И отнюдь не по его заслугам, а по просьбам Воронцова. Такая неблагодарность, естественно, удивила императрицу.

Нелестные для Радищева впечатления накапливались при чтении книги, слившись к концу в одно неприятное чувство, которое Екатерина назвала *презрением*. Составленные ею при чтении замечания были посланы 7-го июля начальнику Тайной экспедиции С.И. Шешковскому, который вел следствие.

Радищев был арестован вечером 30-го июня 1790 года и доставлен в штаб Петербургского главнокомандующего, графа Я.А. Брюса; в 1773-1775 годах Радищев служил под его начальством в армии. Брюс тогда покровительствовал молодому Радищеву и ввел его в лучшие петербургские дома. Теперь к Брюсу доставили управляющего таможней, подозреваемого в авторстве анонимной книги, зло критикующей строй и оскорбляющей царское достоинство. Брюс переслал арестованного в Петропавловскую крепость, а дело передал в Тайную экспедицию.

В советской литературе о Радищеве распространено утверждение, что Радищева будто бы собирались пытать, но спасла его от пыток свояченица, Е.В. Рубановская, которая "задобрила взяткой" Шешковского.

Поверить этой истории довольно трудно. Начать хотя бы с того, что в деле Радищева не было никаких причин применять пытку, так как Радищев тут же признал себя виновным. Затем, если бы даже Шешковский и задумал пытать Радищева, он не смог бы себе этого позволить, будучи в здравом уме. О многолетнем покровительстве Воронцова Радищеву Шешковский, конечно, знал. Знал он и о влиянии графа при дворе. Если бы даже он и был самым отчаянным взяточником, у него все же хватило бы ума в случае с Радищевым воздержаться от получения взятки. Риск был велик. Ко всему этому следует прибавить, что царица была противницей пыток, резко осудив их в своем Наказе, "как установление, противное здравому рассудку и чувству человечества." Вся эта легенда со взяткой являет собой пример обычных в СССР преднамеренных измышлений с целью опорочить прошлое России.

Посылая Петербургскому главнокомандующему 13-го июля 1790 года указ о предании Радищева суду, Екатерина писала:

"Граф Яков Александрович! Недавно здесь издана книга под названием "Путешествие из Петербурга в Москву", наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства, наконец, оскорбительными изречениями противу сана и власти царской. Сочинителем сей книги оказался коллежский советник Александр Радищев, который сам учинил в том признание, присовокупив к сему, что после цензуры Управы Благочиния внес он многие листы в помянутую книгу, в собственной его типографии напечатанную, и потому взят под стражу. Таковое его преступление повелеваем рассмотреть и судить узаконенным порядком в Палате Уголовного Суда Санкт-Петербургской губернии, где, заключа приговор, внести в Сенат наш. Пребываем вам благосклонны. Екатерина."

Получив указ царицы, Брюс 15-го июля 1790 года переслал

все документы в Палату Уголовных Дел с предписанием прочесть прилагаемую книгу всем заседателям, "не впуская во время чтения в присутствие канцелярских служащих."

К числу вымыслов советских авторов относится и утверждение, будто следствие и суд были ни чем иным, как жестокой расправой, во время которой "разгневанные палачи" добивались от Радищева выдачи сообщников. Радищев, как утверждает, например, Г.П. Макогоненко, действовал при этом осторожно, тонко, умно, притворяясь простачком и "категорически отрицал наличие сообщников... Он никого не выдал и всю вину взял на себя."*

Радищев не врал ни следствию, ни суду. Виновен был он один — автор и издатель книги с фальшивым указанием на цензорское разрешение: Имена всех лиц, так или иначе причастных к изданию "Путешествия", также были названы Радищевым. Скрывать их не имело смысла. Они не шли по его делу и никто из них судим не был.

Петербургская Палата Уголовного Суда приговорила Радищева к смертной казни. По характеру предъявленного обвинения и тогдашним суровым законам другого приговора и быть не могло. Приговор объявили Радищеву 24-го июля: "... по силе воинского устава... отсечь голову." Сенат через две недели подтвердил приговор и переслал на утверждение в Государственный Совет. Государственный Совет одобрил приговор 19-го августа и передал для утверждения императрице. 4-го сентября 1790 года Екатерина указом заменила смертную казнь ссылкой на 10 лет в Илимск.

Екатерина II внимательно следила за развитием революции во Франции. Бессмысленные и циничные действия Национального собрания ("гидры о тысяче двухстах головах") ее возмущали, а уступки Людовика XVI и бездействие эмигрантов вызывали в ней негодование и презрение. Она была убеждена, что своевременные суровые меры по отношению к нескольким депутатам образумили бы остальных.

События во Франции, естественно, обострили восприимчи-

* Г. П. Макогоненко, *А.Н. Радищев*, М.-Л., 1965 г., стр. 117.

вость Екатерины к критическим политическим высказываниям и поселили в ней подозрительность, которая вскоре нашла свое выражение в ее отношении к масонству и аресте Н.И. Новикова. Книга Радищева поступила в продажу, когда в Петербурге уже было значительное число беженцев из охваченной революцией Франции. Влияние их при дворе и в высшем обществе было не только значительным, но и определяющим общественное мнение о революции. Все это вместе взятое, конечно, не могло не отразиться на восприятии Екатериной книги Радищева.

Читая "Путешествие", Екатерина увидела в авторе, действительно, "бунтовщика хуже Пугачева". Пугачев со своей шайкой не был врагом существующего строя. Он называл себя царем Петром III Федоровичем, мужем Екатерины, и был окружен самозванными Орловыми, Паниными, Чернышевым. Автор же "Путешествия" не только неуважительно отзывался о властях и дворе, но и позволил себе оскорбительные выражения против царского сана и царской власти. Похвалы же Франклину в конце книги Екатерина сочла выражением единомыслия с зачинщиком бунта против королевской власти в американской колонии. Правда, в книге не было подстрекательства к бунту, вопреки обычным утверждениям в советской литературе, но была в ней, несомненно, угроза бунтом ("Хотиллов") и революцией (ода "Вольность").

Возможно, одной из главных причин всех бед, которые принесла Радищеву его книга, была роковая несвоевременность ее появления. Если бы она появилась раньше, в начале 1789 года, то не попала бы на стол Екатерины и осталась бы незамеченной среди тогдашней лучшей литературы, критиковавшей недостатки режима (Фонвизин, Капнист, Крылов). Если бы она задержалась до 1793 года, то Радищев сам бы, наученный ходом французской революции, не выпустил бы ее в продажу.

ИЛИМСК. НЕМЦОВО. СЛУЖБА

Из Петербурга Радищев выехал ссылкой в кандалах, но дальше ехал не просто вольным, но важным лицом, находящимся под покровительством графа Александра Романовича Ворон-

цова. С разрешения Екатерины, сразу же после отъезда Радищева вдогонку был послан курьер с приказом снять с ссыльного кандалы. По свидетельству сына Радищева, "граф Воронцов написал ко всем губернаторам тех мест, где должен был проехать сосланный, чтобы с ним обходились снисходительнее... и разослал деньги во все города, где ему должно было останавливаться." Прося оказывать содействие Радищеву, граф писал, что будет считать это содействие одолжением, лично ему сделанным.

В Москве Радищев провел две недели в доме своих родителей, где его снабдили всем необходимым в дорогу. Между тем советский историк П.В. Сытин об этой же остановке в Москве пишет, будто Радищева содержали в "присутственном месте": "В Историческом проезде, дом No. 1, пробыл две недели в заключении по пути в Сибирь писатель-революционер А.Н. Радищев." Прощаясь с Москвой, Радищев, по свидетельству сына, со слезами на глазах бил поклоны перед иконой Иверской Божьей Матери.

По пути к месту ссылки Радищев провел более чем полгода в Тобольске. Здесь, сопровождаемая братом Радищева, присоединилась к нему свояченица, Е.В. Рубановская с его младшими детьми: 7-летним Павлом и дочерью Екатериной. Из Тобольска с детьми и Рубановской Радищев выехал в конце июля в Иркутск, а оттуда — к месту ссылки, в Илимск, куда прибыл 3-го января 1792 года.

Поселили ссыльного Радищева в одном из лучших домов Илимска, в старом воеводском доме. Он не устраивал Радищева и ему, с разрешения и с помощью генерал-губернатора, был выстроен новый дом. "В нем были комнаты для детей, спальня, кабинет, кладовая, — рассказывает Макогоненко. — К дому были пристроены с одной стороны баня, а с другой — кухня. Теплые печи хорошо согревали дом, и в суровые морозы в нем было тепло."*

Через две недели по приезде Радищев начал писать свой самый пространный трактат "О человеке". Об этом трактате Пушкин написал просто и коротко: "Умствования оного пошлы и не

* Г. П. Макогоненко, А. Н. Радищев, стр. 122.

оживлены слогом. Радищев хотя и вооружается противу материализма, но в нем еще виден ученик Гельвеция” (“Александр Радищев”).

Кроме названного трактата, Радищев написал для Воронцова “Письмо о китайской торговле” и “Сокращенное повествование о приобретении Сибири”.

Нужные ему книги, журналы и газеты Радищев получал через Воронцова. Услугами почты он вообще не пользовался и всю свою корреспонденцию пересылал через курьеров Воронцова или его приятеля, иркутского генерал-губернатора, которому были даны Воронцовым специальные указания на этот счет.

“Летом он ходил с ружьем по лесам и горам, окружающим Илимск, — рассказывает Макогоненко, — ездил на лодке вверх и вниз по Илимю, а зимою на саних в разные стороны и даже до устья Илима, верст за сто, в селение Коробчанку, где зимою ловилось множество осетров.” И каждое утро “он сам варил себе кофе”*

В Илимске Рубановская родила Радищеву 4-го сына и 2-ую дочь, которые считались внебрачными, так как брак со свояченицей запрещался законом.

Алексей Михайлович Кутузов (1749-1797), которому Радищев посвятил свои два самые большие произведения (“Житие Ф.В. Ушакова” и “Путешествие”), хорошо знал Радищева. Оба они 14 лет были соучениками при Московском университете, в Пажеском корпусе и в Лейпцигском университете, а затем 4 года вместе служили в Сенате и армии. Масон с 1772 года, Кутузов в 1782 году стал одним из руководителей розенкрейцеров и последние десять лет жизни прожил в Берлине, занимаясь масонскими делами.

До 1780-х годов Кутузов переводил произведения художественной литературы (Юнг, Клопшток), а затем много переводил и редактировал масонских сочинений. Как литератор, он был более известен среди современников, чем Радищев, и намного лучше его владел русским языком. Он был человеком глубоко религиозным и не разделял взглядов Радищева, а о его мечте прос-

* Г. П. Макогоненко, А. Н. Радищев, стр. 123.

лавиться, как писатель, отзывался: "Вздумалось ему сделаться автором: несчастное желание!"

Радищев любил Кутузова и, посвятив ему свое "Путешествие", хотел тем самым сделать его единомышленником. Приятели долгие годы переписывались и эта переписка не прервалась со ссылкой Радищева. В одном из писем в Илимск Кутузов писал, что у Радищева теперь достаточно времени странствовать в себе самом. "Может быть, — писал он, — многое представится тебе в совершенно новом виде, и, кто знает, не переменишь ли ты образа твоего мыслить."

Вполне возможно, что письма Кутузова в Сибирь сыграли некоторую роль в этой перемене, которая делает Радищеву честь. "Моложавые мысли, как и молоджавое лицо, всегда имеют что-то странное и смешное, — писал в статье о Радищеве Пушкин. — Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют. Мог ли чувственный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? Мог ли без омерзения глубокого слышать некогда свои любимые мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? Увлеченный однажды лвиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого сентиментального тигра."

Рескриптом от 23-го ноября 1796 года Павел I разрешил Радищеву уехать из Илимска и проживать в своих деревнях. Радищев поселился в своем имении Немцове Калужской губернии, в 100 километрах от Москвы. Здесь он по-прежнему, вместо почты, продолжал пользоваться услугами курьеров Воронцова.

Из Немцова Радищев ездил навестить своих престарелых родителей в их имении в Саратовской губернии, где провел один год. Ездил он в гости к своему приятелю С.Н. Янову и навещал своего покровителя А.Р. Воронцова в его имении во Владимирской губернии. А советские исследователи утверждают, что Радищев был лишен возможности встречаться со своими друзьями, знакомыми и родными.

Старших сыновей Радищева, Василия и Николая, после его отъезда в ссылку взял на воспитание их дядя, Моисей Никола-

евич, таможенный советник в Архангельске. Граф А.Р. Воронцов следил за их воспитанием и образованием. В 1794 году оба брата переехали в Петербург и поступили в лейб-гвардии Измайловский полк, из которого в 1797 году были выпущены подпоручиками в Малороссийский Гренадерский полк. Осенью того же года братья уволились со службы и приехали к вернувшемуся из Сибири отцу в его имение Немцово. За все годы, от ареста до амнистии Радищева, никто из его родителей, родственников или близких знакомых никаким преследованиям не подвергался.

31-го марта 1801 года был издан указ Александра I об амнистии лицам, содержащимся в тюрьмах и ссылке по ведомству Тайной экспедиции. Вскоре и сама Тайная экспедиция, которая вела следствие по делу Радищева, была ликвидирована, а ее помещение передано Комиссии графа П.В. Завадовского. Радищев начал службу в этой Комиссии с августа 1801 года, а его сын Николай — с января 1802 года.

Радищев был прощен с возвращением чина и дворянского достоинства. Орден Владимира 4-ой степени царь возвратил ему отдельным указом в Москве сразу же после коронации, на которой Радищев присутствовал как член Комиссии Составления Законов Российской Империи.

СМЕРТЬ

Причины и обстоятельства смерти Радищева остаются неясными. Никаких официальных документов не сохранилось. И причиной тому, возможно, явились заботы его сыновей, сделавших все возможное, чтобы этих документов не было.

В церковной ведомости Волкова кладбище сказано, что 13-го сентября 1802 года на этом кладбище был погребен коллежский советник Александр Радищев, 53 лет, который умер "чахоткою" и хоронил его священник Василий Наумов.

В журнале Комиссии Составления Законов под 16 сентября 1802 года, на основании сообщения сына Радищева Николая, записано, что Радищев "сего сентября 12-го дня, быв болен, умре".

Из этих документов следует, что Радищев умер от болезни

и был похоронен на следующий день после смерти.

2-го сентября 1802 года, как записано в "Поденных Записях", все пятеро членов Комиссии прибыли в присутствие вовремя, к 9-ти часам утра. Это было редкостью. И дальше в записях следует как бы объяснение этому: "А в 9 часов прибыл в присутствие его сиятельство господин действительный тайный советник сенатор и кавалер граф Петр Васильевич Завадовский; рассматривал сочиненные в Комиссии следующие к составлению законов выписки и разные соображения... Вышел из присутствия в Правительствующий Сенат в 12-ом часу."

Вслед за председателем Комиссии ушел, наверное, и Радищев, так как среди вышедших "во втором часу по полудню" его имени и подписи нет.

В Комиссии, по словам его сослуживца Н.С. Ильинского, Радищев к каждому заключению Комиссии прилагал свое особое соображение. По поводу этих соображений Завадовский, как пишет Пушкин, "сказал ему с дружеским упреком: "Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?" В этих словах Радищев увидел угрозу. Огорченный и испуганный, он возвратился домой... и отравился." Здесь у Пушкина явная ошибка, так как Радищев умер 10 дней спустя после описанной встречи с Завадовским.

Говоря об этой же встрече, Макогоненко утверждает, что Завадовский был раздражен деятельностью Радищева в Комиссии и Радищеву будто бы "пригрозили новой ссылкой".

Среди пяти членов Комиссии Радищев и Ильинский были чином ниже всех по классу, а опыт службы по Сенату был самый меньший у Радищева. От природы властолюбивый, настойчивый и упрямый в своих мнениях, Радищев стремился иметь определяющее, руководящее положение в Комиссии, а значение самой Комиссии мечтал уравнивать с Сенатом. Данных для того, чтобы быть руководителем, судя по сохранившимся записям особых мнений, у него не было. Поэтому причин для огорчений на службе у него могло быть достаточно, но не могло быть ни одной для испуга, ставшего, якобы причиной самоубийства.

Д.С. Бабкин называет причиной смерти отравление, обстоятельства которого остаются загадочными. "На губах клокотала белая пена — следы тяжелого отравления. В продолжительных

муках, несвязных ответах приглашенному медику Радищев в присутствии рыдающих над ним сыновей скончался в первом часу ночи с 11 на 12 сентября 1802 года”.*

Радищев лечился, как и все члены Комиссии Составления Законов, в госпитале у штаб-лекаря Ивана Гейснера. Но к умирающему Радищеву был послан врач царской семьи, лейб-медик Вилье. Это было несомненным знаком благоволения к умирающему со стороны Александра I.

В “Биографии А.Н. Радищева, написанной его сыновьями” сын Павел отрицал самоубийство отца: “О смерти Радищева Пушкин пишет совсем не то.” Между тем, Д.С. Бабкин приводит выписки из сохранившегося в архиве первоначального текста упомянутой биографии. В ней Павел Александрович так описывает ‘последний день жизни отца: “Утром этого дня, почувствовав себя особенно тяжело, он, принявши лекарство, беспрестанно беспокоясь и имея разные подозрения, вдруг берет стакан с приготовленной в нем крепкой водкой для выжиги старых офицерских эполет его старшего сына и выпивает его разом... Потом, схватив бритву, хочет зарезаться. Старший его сын заметил это, бросается к нему и вырывает у него бритву.”

Из всего этого можно заключить, что самоубийство отравлением, названное впервые Пушкиным, имеет под собой основание. Так же следует признать имеющей основания и параллель у Пушкина между описанным Радищевым в “Житии Ф.В. Ушакова” мучительным умиранием его друга студенческих лет и смертью самого Радищева. Умиравший “на 21-ом году своего возраста от следствий невоздержанной жизни” Ушаков, “терзаемый паче всякого истязания”, попросил, по Радищеву, яду у А. М. Кутузова. Поддержанный Радищевым, Кутузов отказался исполнить просьбу. По этому поводу Радищев пишет в “Житии Ф.В. Ушакова”: “...болящий не ошибался в мучении своем и был прав, желая скончания оногo, а мы не правы, дав оному продолжаться.”

Обоснования самоубийства Радищева у большинства советских авторов, в конечном счете, — агитпроповское политическое красноречие.

* Д. С. Бабкин, А. Н. Радищев, М.-Л., 1966, стр. 33.

Радищев не отличался хорошим здоровьем. Осенью 1798 года он, например, жаловался на слабость из своего Немцова Воронцову: "Эта слабость тем более досадна, что она превышает телесные силы." Так, будучи членом Комиссии Составления Законов Российской Империи, Радищев в 1801 году был в присутствии всего 5 раз. Правда, как член Комиссии Завадовского, он выехал 26-го августа в Москву на коронацию. После коронации, имея на то разрешение, он оставался в Москве почти четыре месяца, возвратившись в Петербург к Рождеству.

В следующем, 1802 году, Радищев по болезни пропустил с января по август 32 дня. В августе он был в присутствии всего четыре раза, а в сентябре пришел только 1-го и 2-го числа и оба раза ушел домой раньше времени. Через десять дней он умер. По всей видимости, его болезнь, продолжительная и тяжелая, непрерывно усиливалась. Болезнь и обстоятельства смерти Радищева сыновья его почему-то сочли нужным скрыть.

РАДИЩЕВ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

Радищев был типичным вольтерьянцем, судившим обо всем с необычайной самоуверенностью и легкостью. В главе "Хотилов" своего "Путешествия" он изложил свое представление о цветущем, благополучном во всех отношениях государственном устройстве, представляющем собой "приятное божеству обиталище". Такое состояние государства, созданное разумными законоположениями энциклопедистов, он назвал блаженным. В том, что оно может быть создано законодательным путем, Радищев не сомневался, следуя в этом за Гельвецием и Дидро. Для этого нужен только справедливый, просвещенный, сильный монарх-законодатель.

Между прочим, думая над вопросом уничтожения крепостного права, Екатерина II в 1785 году имела намерение издать закон, "в силу которого все российские подданные, которые будут рождаться, начиная с этого года, с рождения будут свободными людьми, к какому бы сословию не принадлежали их родители". Главным пороком современной России Радищев, как и сама царица, вполне справедливо считал крепостное право и в главе "Хотилов" этому уделено довольно много места. При этом Ра-

дищев, под видом рукописи старого друга, очень подробно излагает свой собственный проект законоположений для уничтожения крепостного права в России. Верный последователь энциклопедистов, Радищев не мог понять, что всякий, даже очевидно благоразумный закон, должен иметь в быту, традициях и нравах народа необходимые и достаточные основания, чтобы стать "властителем в обществе".

Но вот что обращает на себе внимание. В Немцове Радищев написал "Описание моего имения" (вошло в Собр. соч., изд. в 1811 г.), в котором опять доказывал общеизвестную экономическую невыгодность и нравственный вред крепостного права. Однако, отпустить своих крепостных или отдать им свою землю он и не помышлял. Больше того, незадолго до смерти, будучи членом комиссии Завадовского, пользуясь своим служебным положением и связями, Радищев начал хлопоты о решении в пользу Радищевых 45-летней тяжбы с сенатором Козловым о деревне и крепостных в Пензенской губернии.

В итоге все кончилось типичной для русского вольтерьянца деревенской идиллией. Радищев в Немцове, как типичный вольнодумец XVIII века, по словам Ключевского, "ни с чем не враждовал, не чувствовал в своем положении никакого противоречия. Книжки украшали его ум, сообщали ему блеск, даже потрясали его нервы... украшая голову, не улучшали существующего порядка".

А вот как пишет о Радищевском бытии в имении советский исследователь Д.С. Бабкин:

"Все его внимание было поглощено трудовой жизнью крестьян. Глядя на их труд, повседневные заботы и печали, он забывал свое личное горе." Что же, Бабкину нельзя отказать в определенной иронии!

В Немцове написано было Радищевым и "Осьмнадцатое столетие", окрещенное в советском литературоведении "монархической иллюзией" и по возможности не упоминаемое. Между тем Пушкин пишет о нем: "В стихах лучшее произведение его есть "Осьмнадцатый век", лирическое стихотворение, писанное древним элегическим размером, где находятся следующие стихи, столь замечательные под его пером:

Урна времен часы изливает каплям подобно,
Капли в ручьи собрались; в реки ручьи возросли,
И на дальнейшем берегу изливают пенистые волны
Вечности в море, а там нет ни предел, ни берегов,
Не возвышался там остров, ни дна там лот не находит;
Веки в него протекли, в нем исчезает их след;
Но знаменито во веки своею кровавой струею
С звуками грома течет наше столетье туда.
И сокрушил, наконец, корабль, надежды несущий,
Пристани близок уже, в водоворот поглощен.
Счастье и добродетель и вольность пожрал омут ярый.
Зри: всплывают еще страшны обломки в струе.
Нет! ты не будешь забвенно, столетье безумно и мудро.
Будешь проклято во век, в век удивлением всех.
Крови в твоей колыбели, припевание грома сраженьев.
Ах, омочено в крови, ты ниспадаешь во гроб!..
Но зри: две вознеслися скалы во среде струй кровавых,
Екатерина и Петр, вечности чада! и Росс.

Влияние Радищева на современников, вопреки утверждениям советских радищеведов, не было сколько-нибудь заметным. Ни с кем из современных ему известных писателей он не был связан и ни у кого из них нет даже упоминания его имени. Круг его знакомых ограничивался несколькими товарищами по университету (Челищев, Яковлев), портовыми служащими таможи (Мейснер, Царевский, Богомолов), несколькими знакомыми из малоизвестного "Общества друзей словесных наук" (Тучков, Антоновский), в котором Радищев, по предположению Д.С. Бабкина, читал, возможно, свое "Путешествие". На допросе Радищев показал, что "мало в компаниях обращался, а исправляя должность, бывал больше дома". В том окружении, где он мог бы иметь какое-либо влияние, как писатель, не было ни одного в какой-то мере значительного или влиятельного имени.

Личное влияние Радищева после ссылки ограничивалось, главным образом, небольшой группой молодых людей, по возрасту ровесников его старших сыновей. Большей частью это были собиравшиеся на его квартире канцелярские служащие Комиссии: Борн, Пнин, Бородовицын, Брежинский, Тимковский. В этом окружении Радищев довольствовался ролью признанного писателя, которого гости слушали с восторгом, а само общение с ним было для них лестным. Но в эти годы Радищев уже был

автором "Осьмнадцатого столетия", членом Комиссии Завадовского.

В 1858 году М.Н. Катков напечатал в своем умеренно-либеральном "Русском Вестнике" биографию А.Н. Радищева, написанную сыном, Павлом Александровичем. В этом же году Павел Александрович Радищев издал отцовское "Путешествие", напечатав его в лондонской типографии Герцена. В 1868 году книга была переиздана в России с цензурным разрешением. Все эти публикации не вызвали интереса к книге или автору и ни у кого из известных писателей того времени нет никаких упоминаний о Радищеве. Среди публицистов революционно-демократического круга (Белинский, Чернышевский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, Варфоломей Зайцев) никто никакой преемственной связи с Радищевым в своих статьях не засвидетельствовал. Исключением можно назвать предисловие Герцена к напечатанному им "Путешествию": "Что бы он не писал, так и слышишь знакомую струну, которую мы привыкли слышать в первых стихотворениях Пушкина, и в "Думах" Рылеева, и в собственном нашем сердце".

В первые годы советской власти Радищев, благодаря Ленину, был канонизирован в одном ряду с Марксом, Пугачевым, Розой Люксембург, Халтуриным, Лассалем, Карлом Либкнехтом, Разиным. Но "Путешествие" Радищева поначалу рассматривалось советскими авторами, главным образом, как документальное свидетельство порочности царского строя России. Сам Радищев, с его жизнью и судьбой, никого, собственно, не интересовал.

Наступившее после 20-х годов относительно затишье в прославлении Радищева было прервано юбилейными торжествами 1949—1952 годов. К этому времени подобралась значительная группа литературоведов и публицистов, сделавшая Радищева предметом своей карьеры и пропитания. Слава Радищева стремительно возрастала от труда к труду и слово "гений" было уже на кончике языка у некоторых наиболее смелых радищеведов. Возможно, только смерть Сталина, после которой имя Радищева вдруг исчезло со страниц печати, удержала радищеведов от такого превозношения их кумира. Сооруженная в те годы слава Радищева и по сей день, в основном, остается без перемен.

Создание этой славы отразило принципиальную вражду советской власти к России и культуре русского народа.

Тем временем сами произведения Радищева, как и до революции, практически никого не интересуют. Можно с уверенностью сказать, что будет нелегким делом отыскать бескорыстного охотника, который решится прочесть хотя бы "Путешествие из Петербурга в Москву".

В. Я. Миклашевский

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

ПАМЯТИ ИОСИФА АНТОНОВИЧА МАЦКЕВИЧА.
(1902 — 1985)

В интервью, которое Иосиф Антонович дал немецкому журналу "Критикон", он на вопрос о причинах эмиграции сказал: "Их было бесчисленное множество, но только одна являлась решающей — стремление к свободе."

Иосиф Антонович Мацкевич родился 1 апреля 1902 года в Петербурге. Когда мальчику было 6 лет, семья переехала в Вильно, но у отца были дела в Петербурге и других городах. Он много ездил и нередко брал с собой сына. "Мир моих родителей вращался вокруг оси Петербург — Вена — Ницца. Жизнь шла не под знаком марксистской идеологии и даже не под знаком обязательной парламентской демократии, но под лозунгом "жить самими давать жить другим". "Для того, чтобы пересечь границу, не надо было визы", — вспоминал И. А.

Эта жизнь кончилась, когда раздались первые выстрелы революции. Прямо со школьной скамьи, 16-ти летним мальчиком, бросился И. А. на борьбу против большевиков. Он добровольно вступил уланом в эскадрон кубанских казаков. Два года в седле, атаки с саблями наголо против II-го советского кавалерийского корпуса под командованием Гай-Хана, составлявшего правый фланг армии Тухачевского, вторгнувшейся в Польшу. Эскадрон прикрывал отступление уже сильно растерзанной польской армии от Двины к Варшаве.

Амбиции армии Тухачевского шли далеко: перешагнув "через труп реакционной Польши", она должна была захватить Германию, где ожидалась помощь немецких коммунистов. Однако, помощь эта оказалось слабой. Почти уже пришедшей в отчаяние польской армии удалось реорганизоваться на Висле, перейти в контратаку и вытолкнуть Гай-Хана через границу Восточной Пруссии, где большевистские войска были интернированы. Это было знаменитое "чудо на Висле". "Борьба была беспощадной, - вспоминает И. А., — я не могу забыть картины разрезанных саблями тел солдат польской пехотной части, попавших в плен к

большевикам и зверски ими убитых”.

В 1920 г. Польша победила, и 18-летний юноша мог сменить седло и саблю на университетскую аудиторию. И.А. описал этот период своей жизни в романе “Lewa Wolna”. Он сам говорит об этом романе следующее: “У названия двойное значение. С одной стороны, это приказ, дающийся в польской армии кавалерии освободить левую сторону для обгоняющего ее эскадрона или для марширующей навстречу колонны. С другой стороны, это намек на политику тогдашнего главы государства и главнокомандующего Пилсудского. Он не понял зловещего значения большевистского переворота и рассматривал Советскую Россию как не слишком опасный вариант “вечной России”. Пилсудский был членом польской социалистической партии и, как все левые того времени, ненавидел прежде всего царскую Россию. Он больше боялся победы белых и поэтому заключил в разгар войны тайное соглашение с Лениным. Это помогло Ленину сначала разгромить русский антибольшевистский фронт, а потом наброситься на Польшу. Пилсудский не понял бескомпромиссности коммунистической революции и если б не “чудо на Висле”, Польша уже тогда понесла бы величайшее поражение. Это “чудо” не повторилось в 1945 г. — вся Польша и половина Германии стали коммунистическими.”

Юный Мацкевич видел или, может быть, лишь чуял уже тогда всю опасность коммунизма. В университете в Варшаве он изучал естественные науки, что научило его точно мыслить. Чем больше наблюдаешь за политической сценой, чем больше читаешь комментариев и анализов происходящего, тем больше убеждаешься, что большинство тех, кто судит о политике, исходит из тех или иных предвзятых мнений, а не из беспристрастного наблюдения происходящего. Тем более ценны такие наблюдатели и аналитики, как И. А. Мацкевич. Он не дает себя сбить спутни никакими симпатиями и антипатиями, никакими предвзятыми идеями или эмоциями. Примером такого анализа является его книга “Победа провокации”, переведенная на многие языки и вышедшая на русском языке в 1982 г. в Канаде.

По окончании университета И.А. вернулся в Вильно и работал как журналист. В эти годы он вступил на свой нелегкий путь писателя. Советская оккупация города была немного отсрочена, т.к. при разделе Польши между СССР и Германией Вильно, до тех пор принадлежавшее Польше, отошло к Литве. Но вскоре последовала советская оккупация и Литвы. И.А. купил лошадь, телегу, сани и стал ломовым извозчиком.

Его вызвали в органы на допрос, интересовались, почему он, журналист и писатель, работает извозчиком, но отпустили после ответа, что ему надо сначала присмотреться к новой жизни, познакомиться с новыми идеями. Отпустили, конечно, только потому, что час не настал. Массовые аресты и вывоз заключенных начались, как известно, почти через год после оккупации, в июне 1941 года, незадолго до начала войны с Германией.

Предвидя это, И.А. с женой уехали на своей лошади в лес и там отсиделись до прихода немецкой армии. "Тогда люди плакали от радости, чужие обнимались на улице. В наше время даже в демократических странах почти что запрещено об этом говорить, — пишет И.А., — но это было на самом деле так. Однако, потом наступило жестокое разочарование, гитлеровский режим показал свое лицо".

В 1943 г. И.А. был приглашен участвовать в комиссии по расследованию Катынских убийств. Он это приглашение принял, что вызвало нарекания некоторых представителей польского Сопротивления. Думается, что И.А. поступил совершенно правильно. В данном случае национал-социалистической Германии нечего было скрывать: польские офицеры, чьи тела были найдены в массовых могилах Катыни, были убиты советскими коммунистами. Члены комиссии могли видеть трупы, имели свободный доступ ко всем материалам, могли свободно разговаривать с жителями, контроля не было. Эксгумацией руководил врач польского Красного Креста. Не было никакого сомнения, что польские офицеры были убиты в Катыни весной 1940 г. Тем не менее, И. Мацкевич почувствовал некоторое смущение врачей. Он спросил шопотом одного из польских врачей: "Что-то не так?" Тот ответил: "Все так, все, что утверждают немцы верно, кроме... числа убитых". Немецкая пропаганда уже поведала всем, что число найденных в Катыне трупов — 12 тысяч. На самом деле, в Катыни было найдено лишь 4500 тел. Остальные офицеры были ликвидированы в другом месте, всего около 15 тысяч.

Неточная цифра найденных именно в Катыни тел была использована советскими пропагандистами. На Нюрнбергском процессе вина в Катынских убийствах была приписана немцам, а советские представители оперировали цифрой 12 тысяч. Советским это было выгодно: никто в этом случае не стал бы спрашивать о судьбе других пропавших офицеров. И. А. Мацкевич был первым, кто сообщил польскому подполью, что в Катыни было найдено только 4500 тел и другие надо искать в иных местах. И.А. написал книгу о Катыни, которая была переведена

на многие языки.

Как и все беженцы времени **Второй** мировой войны, Мацкевич двинулись в 1944 г., при приближении советской армии, на Запад. Сначала в Краков, потом в Вену. Здесь Мацкевичи встретили своих друзей, крымских татар. Последние добыли им подложные **паспорта** и Мацкевичи отправились в Северную Италию. Как раз там, где позже произошли страшные **выдачи** советским коммунистам казаков, на реке Драу около Линца, поезд, в котором ехали беженцы, был прорешечен пулями английских самолетов. 20 человек из группы, в которой ехали Мацкевичи, были убиты. Но И.А. и его жена благополучно выбрались из развалин поезда и добрались в конце концов до Милана.

Начались годы эмиграции, два года в Риме, 8 лет в Лондоне и 30 лет — в Мюнхене. В Мюнхене жена И.А., польская писательница Барбара Топорская, сотрудничала в отделе "Голоса Америки". Это были тяжелые, но одновременно творческие годы. И.А. написал книгу о казаках, об их страшной выдаче в Линце. Написал ряд романов. Один из них, "Нельзя говорить громко", **посвящен** времени Второй войны, а также судьбе власовцев.

В лице И.А. Мацкевича мы имеем дело с писателем мирового значения и одновременно — умнейшим политическим мыслителем. Его книги переведены на 8 языков. Но судьба эмигрантского писателя нелегка. Он отрезан от массы своих читателей, от своего народа, говорящего с ним на одном языке. Талантливейшие произведения остаются почти **незамеченными**, если они написаны эмигрантом. Но на его несчастной родине И. Мацкевича не забыли. Наоборот, его популярность в польском подполье неуклонно росла. "Третье поколение", если так можно назвать теперешних молодых людей в **Польше**, особенно высоко оценило покойного писателя. Незадолго до его кончины из Польши пришло известие о том, что загнанная сейчас в подполье **Польша** в Кракове присудила ему первую литературную премию. Эта премия не принесла денег, но для писателя она, вероятно, даже важнее Нобелевской. Это была последняя радость уже больного писателя.

И.А. Мацкевич глубоко понимал страшную сущность коммунизма. Он видел, что коммунизм — самая главная опасность для **всего** человечества. Если человечество хочет выжить, оно должно прежде всего преодолеть *эту* опасность. Знавший **дореволюционную** Россию по собственному опыту, писатель четко различал между Россией и СССР. В своей замечательной книге "Победа провокации" Мацкевич писал, что

весь духовный и душевный склад, не говоря уже о государственной системе прежней России, был иным, чем в СССР. Он справедливо считал *огромной опасностью* смешение России и СССР, непонимание самой природы коммунизма, всякого коммунизма, в какой бы стране он не утвердился.

И.А. видел, как часто национализм смещает аспекты и туманит ясность взгляда. В "Победе провокации" И.А. анализировал методы, какие коммунисты использовали для обработки крайних польских националистов. Еще раньше, в гражданскую войну, он видел, как местные национализмы оказались помехой объединения всех антикоммунистических сил для отражения нависшей сначала над Россией, а в наши дни уже надо всем миром коммунистической угрозы. Он с горечью наблюдал, как и среди польских эмигрантов распространялось мнение, что, мол, со своими, польскими коммунистами, мы бы могли договориться, мешают же русские. Полушутя — полусерьезно И.А. говорил: "Я один был антинацист, другие были антинемцы, я один — антикоммунист, другие — руссофобы". Мы помним попытки представить генерала Ярузельского польским патриотом, оберегающим страну от русского вторжения. Теперь генерал доказал всем или, во всяком случае, большинству, что это не так.

Но и русский национализм не может быть противопоставлен коммунизму, если это только лишь национализм. История эмиграции знает, как, одна за другой, волны националистов скатывались к совпатриотизму. Не гнушаясь в средствах, коммунисты ловко используют поверхностный национализм, для которого самое главное — внешнее дутое величие своей страны. Коммунистическому рабству могут быть противопоставлены только свобода духа и достоинство человека.

И.А. Мацкевич с горечью отмечал, что некоторая часть диссидентов преуменьшает страшную опасность коммунизма, нависшую над всем миром, ставя его на одну доску с правыми диктатурами.

Жаль, что пока только одна из книг Мацкевича была переведена на русский язык. Но мы верим в то, что в будущем свободная Россия сумеет высоко оценить этого большого писателя и мыслителя, который всегда был другом настоящей России. С земной жизнью И.А. Мацкевича не заканчивается его путь как писателя и мыслителя. Возможно, он только начинается.

В. Пирожкова



Редакция "Нового Журнала" глубоко скорбит о кончине
своего постоянного сотрудника,
известного эстонского поэта

Алексиса Раннита

и выражает глубокое соболезнование
его вдове Татьяне Олеговне.

Статья В. Блинова о творчестве А. Раннита будет помеще-
на в следующей книге "Нового Журнала"



Редакция "Нового Журнала" глубоко скорбит о кончине
своего постоянного сотрудника,

профессора Николая Ивановича Ульянова

и выражает глубокое соболезнование
его вдове Надежде Николаевне.

Статья С. Крыжицкого о творчестве покойного будет поме-
щена в следующей книге "Нового Журнала"

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

К ПЯТОЙ ГОДОВЩИНЕ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ

Отчет Комитета Спасения Пленных в Афганистане

Комитет под председательством графа Николая Дмитриевича Толстого был создан в июне 1983 года. С тех пор представители Комитета были в Пакистане и Афганистане пять раз и наладили контакты с афганским Сопротивлением с единственной целью оказать помощь советским военнослужащим, находящимся в афганском плену. На призывы Комитета отозвались пять из шести афганских организаций Сопротивления. Представителям Комитета удалось встретиться и оказать помощь десяткам военнопленных. Горьким был на душе осадок от этих встреч, настолько тяжелым было физическое и духовное состояние молодых солдат, жертв преступной политики КПСС. Ребята с безмерной благодарностью приняли помощь (медицинскую, финансовую и моральную), которую наши представители смогли им оказать.

Несмотря на то, что приехавшие в Англию Олег Хлан и Игорь Рыков вернулись в СССР, наш Комитет продолжает свою работу. Были налажены дипломатические связи с рядом правительств стран Запада, которые дадут в будущем (мы на это надеемся) политическое убежище ряду военнопленных. Двое из них уже получили бумаги, необходимые для выезда в одну из Западных стран. Мы хотим подчеркнуть, что без помощи наших представителей и сотрудников, живущих в различных странах Запада, Комитету ничего бы не удалось сделать, ими была проделана огромная, кропотливая, часто неблагодарная работа. Всем им, в Торонто, Мельбурне, Сиднее, Вашингтоне, Сан-Франциско, Нью-Джерси, Вилахе, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Мадриде, Брюсселе и т.д., мы приносим глубочайшую сердечную благодарность.

За прошедшие полтора года было получено на счет Комитета:

а) в английских фунтах ст. 8150.58 (включая суммы, присланные в разных валютах)

б) в американских долларах 6673.62 (включая канадские и австралийские доллары).

Общий расход Комитета за прошедшие полтора года: 6677.01 фт. ст.

Комитет еще раз обращается за помощью и приносит глубокую благодарность всем жертвователям и людям, присылающим нам письма и добрые советы.

Письмо в редакцию.

Дорогой Роман Борисович, прошу Вас поместить это мое письмо в "Новом Журнале".

В мае прошлого года Л.Д. Ржевский обвинил меня в непочтительном отношении к Пушкину, что неверно, и я ответил ему в июньской книжке "Н.Ж." (155). В "Новом Русском Слове" от 16 декабря 1984 г. Л. Ржевский осудил мое будто бы отрицательное отношение к Лермонтову, в особенности к его поэме "Демон". В своей статье Ржевский отмечает, что демон — это библейский падший ангел, причем ему для чего-то понадобилось еще и сослаться на советский академический справочник, в котором мы читаем: "Демон — это образ сильного и гордого человека". Очень уж это по-советски, по-бесовски — хвалиться гордыней. А вот еще один советский оборот: "ущербное толкование". Сразу вспомнил — "ущербное творчество Ахматовой". Ждановские формулировки.

В своей статье, среди прочего, Л. Ржевский ссылается на Владимира Солоухина, на его очерк о Лермонтове и восторгается тем, что этот славянофил коммунист обходится в своем опусе без социологии, а говорит о лермонтовской звездности, об его ощущении космоса. Что же — "и то хлеб" для партийного писателя, но все это давно известно. Не пишу ли я, что Лермонтову "приоткрывались и какие-то тайны", он "ждал какого-то призыва *оттуда*"? Статью Солоухина, недалеко отстоящего от художника И. Глазунова, я читать не собираюсь, но в моем очерке я говорил о метафизичности поэзии Лермонтова, о его "Колыбельной песне" — очень русской и православной:

Дам тебе я на дорогу
Образок святой,
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой.

Вряд ли Солоухин упомянул об этой молитве. Писал я и об религиоз-

ных сомнениях Лермонтова, о беспощадной критике им России, но и о его любви к родине. Незабвенны увиденные им

Дрожащие огни печальных деревень...

Упомянул я и о том, что Лермонтов, так резко отозвавшийся о русской аристократии (в стихах на смерть Пушкина), все же, как и Пушкин, был певцом и свободы и империи (по меткому замечанию Г. П. Федотова).

Но, повторяю, по-моему, "Демон" — слабое произведение Лермонтова. Этот его наивно-романтический герой кажется каким-то недоучкой, несмышленищем в сравнении с Сатаной Милтона, Мефистофелем Гёте или Чертом Ивана Карамазова. С последним спорили Шестов и Бердяев, а с лермонтовским демоненком они бы и разговаривать не стали. Правда, им — ненадолго — соблазнился молодой Борис Пастернак, о чем я упоминаю.

Не хочу пересказывать мою статью, из которой Ржевский выхватил лишь отдельные суждения. Да, я кое-что резко критиковал в поэзии Лермонтова, разделяя мнение кн. П.А. Вяземского, говорившего, что Лермонтов сам себе "заказывал бури" и "ставил" их, как театральные представления. Да, не было у него того чувства слова, стиля, какие были не только у Пушкина, но и у Дельвига, или митрополита Филарета, или гр. М. Сперанского.

Замечу, что в своей апологетике Лермонтова Ржевский как-то обходится без ссылок на наш Серебряный век. Назову наудачу только два имени: В. Розанов, который очень высоко оценивал Лермонтова, и Н. Гумилев, который укорял Лермонтова в бесстильности. Это вам не соловьины...

Ржевский иронически укоряет меня за то, что я поддаюсь обаянию поэтов. И поучает: в литературе нужно понимание! Но без обаяния, без любви к поэту ничего в искусстве понять нельзя. Это значит, что объективное изучение чего-либо в гуманитарной области невозможно, что еще в самом начале нашего века засвидетельствовали немецкие философы Риккерт и Виндельбандт.

Мой гарвардский профессор, Д.И. Чижевский как-то, скорее в шутку, сказал: "И зачем мы изучаем Пушкина, не лучше ли заняться более характерным для той эпохи Подолинским?". Но сам продолжал писать о Пушкине. Между тем научно доказать, что Пушкин лучше Подолинского — нельзя.

С уважением к Вам,

Юрий Иваск

Уже третий раз получил я отказ из израильского посольства: "Никак нельзя освободить вас и семью от израильского гражданства"... Я сейчас не говорю уже о том, что в конце 20 века никакое "гражданство" не является насильственно-принудительным счастьем (не считая тоталитарных режимов). Нет, пока я хочу говорить лишь о самой простой, житейской стороне дела: оставаясь гражданами Израиля, я, жена и дочь — абсолютно не в состоянии получить где-либо постоянную работу. Государственные чиновники в Европе и США ссылаются при этом на какой-то "секретный" договор, неписанный "закон", по которому они обязались всеми силами препятствовать гражданам государства Израиль (по просьбе последнего) в получении работы и права на жительство. Это, говорят, уже давно всем известно... При этом произносят красивую фразу: "У вас — такая прекрасная Родина, поезжайте в Иерусалим!"

Но дело в том, что сразу же по приезде в Иерусалим, в 1971 году, я уже навсегда стал безработным, хотя в Вене чиновники уверяли меня, я непременно получу постоянную работу в любом израильском университете, т.к. есть научное звание, отличные рекомендации, и пр. Это оказалось неправдой: все отмахивались от специалиста по русской литературе... Вот если бы я "прямо" поехал тогда в США или в Европу, то как и многие мои коллеги, эмигранты из СССР и Польши, — имел бы постоянную университетскую работу (в 1971 году это не было проблемой).

Пожив год в Израиле, я убедился, что никогда не получу здесь постоянной работы в университете, т.к. не сумел скрыть, что являюсь бескомпромиссным антикоммунистом, что русская культура и литература — это смысл моей жизни, что национализм (любой) мне чужд, т.к. являюсь христианином. Я не скрывал, что считаю естественным "уход" евреев из коммунистического мира — в любую страну Запада, а не только лишь в Израиль... Я видел на примере моего отца, Леопольда Треппера, что борьба за выезд в Израиль является лишь символом противостояния антисемитизму, ставшему в коммунистических странах государственной политикой. После 1967 года, когда польские и советские власти начали особую антисемитскую вакханалию, отец отказался от поста президента Объединения Польских евреев, от места директора издательства "Идиш бух", подал на выезд в Израиль. Это было "самоубийственно" для всей семьи, т.к. "престиж" не позволял властям отпустить на Запад руководителя антифашистского "Красного Оркестра".

Ради борьбы за исход из соцлагеря — я и поселился в Израиле с семьей, провел четыре голодовки, активно помогал Международному Комитету Защиты Треппера... Три года назад отец был похоронен в Иерусалиме, тогдашний министр Обороны Израиля, генерал Ариель Шарон вручил семье награду — в знак особых заслуг Л. Треппера в войне против фашизма. В настоящее время около Иерусалима посажен лес в честь борцов "Оркестра", книга воспоминаний отца издана на 20 языках...

Однако, все это не решало проблему моего трудоустройства. После приезда в Израиль я с трудом добился получения небольшой "стипендии", и только после колоссальных усилий "пробил" себе право — бесплатно читать Курс лекций по русской литературе 19 века и вести Чеховский Семинар. Зная, что постоянной работы мне никогда не дадут, в 1972 году я поехал в США и Европу. Но мне объяснили, что, являясь обладателем израильского паспорта, я нигде не получу работы. И это тянется уже 13 лет (1972-1985). Отец помог нам поехать в Германию, он считал, что немцы, русские, поляки, евреи — должны ближе познакомиться, чтобы прошлое никогда не повторилось. Только сблизившись, народы могут преодолеть взаимную ненависть... Вот уже шестой год я с семьей живу в Германии, познакомился с коллегами славистами, издал здесь 9 книг. Жена моя все время работала врачом, дочь закончила гимназию, учится в университете, вышла замуж за гражданина Германии (выходец из России). К несчастью, началась безработица у немецких врачей, в университетах. Нам говорят: "У вас — израильские паспорта, вы должны поискать работу у себя на родине, Израиль — прекрасная страна... Вот если бы Израиль освободил вас от ихнего гражданства, — то другое дело, вы бы давно уже могли всюду иметь постоянную работу!"

Поэтому я и обратился в израильское посольство, но, услышал лишь претензии: "Сами виноваты, — надо жить на родине...". В России? С удовольствием, когда там кончится коммунистический режим! Еще более трагическая ситуация у нашей дочери. Когда ей было 8 лет, ее "вывезли" в Израиль, не спрашивая ее согласия — сделали "гражданкой Израиля" ... Когда ей было 14 лет — мы вывезли ее в Германию, где она за 6 лет освоила новую культуру, не переставая чувствовать себя русской, пишет стихи по-русски, изучает русскую литературу. Но ей внушают: "Ты обязана жить в Израиле!" От этих чиновничьих окриков у нее было кровоизлияние в мозг. Я — почти слепой, больное сердце и астма не позволяют мне жить в "африканском" кли-

мате Израиля. Да ведь и работы мне там никто не предложил, хотя я все время писал в университеты. Если угодно, я могу обнародовать несколько "чемоданов" переписки — в поисках работы в Израиле я писал в Кнессет, главе Правительства, во все университеты, в Сохнут. Теперь уже поздно что-либо исправить, я не имею претензий, хотя разбита жизнь всей семьи. Дайте уж нам "выйти" из этого гражданства, спокойно умереть там, где мы сами хотим. Здесь, в Германии, леса и поля напоминают Россию... А в своих книгах я больше всего писал именно о свободе выбора ("Чеховские Университеты", "К проблематике Чеховских Университетов", "Восстание", "Западня", "Бедные люди", "Воля", "1988", "День Победы").

Я неизменно выступаю за освобождение узников тоталитарного режима: за Сахарова, Шаранского, Бородину, Ратушинскую, Мейлаха. Но вот я заметил вдруг, что и сам не располагаю свободой выбора... Зачем меня опять хотят насильно осчастливить ради распрекрасного "изма"... Я вовсе не стремлюсь перейти из Вашего гражданства — в какое-то "лучшее", я не стану ни "немцем", ни "американцем", я остаюсь, как и раньше, русским по культуре, христианином. Я хочу пожелать Вам и Государству Израиль — счастья и процветания! Шалом. С любовью во Христе,

Д-р Бройде-Треттер (Антонов), 18 февраля 1985 г.

БИБЛИОГРАФИЯ

"Диалектика художественной формы" А.Ф. Лосева.

Зарубежная "лосевiana" обогатилась еще одним изданием: по инициативе сотрудников Института славянской филологии Марбургского университета в издательстве Отто Загнера в Мюнхене в 1983 году была переиздана работа Лосева "Диалектика художественной формы".

В 1983 году маститому ученому исполнилось 90 лет. Чтобы отметить юбилей, немецкие ученые решили почтить русского коллегу переизданием какой-нибудь его книги. Запросили юбиляра и он ответил, что его больше всего обрадовало бы переиздание именно этого труда, вышедшего в свет в 1927 году в Москве.

Русский текст переизданной книги предваряют две статьи на немецком языке: библиографическая статья М. Хагемейстера и изложение основ лосевской философии искусства, написанное Александром Хаардтом. Обе статьи снабжены богатейшим справочным материалом, весьма ценным для тех, кто изучает труды нашего великого ученого.

В добавление к тому, что было уже сказано о биографии Лосева в зарубежной печати, из *первой* статьи мы узнаем, что среди университетских профессоров Лосева были философы Л.М. Лопатин (1855-1920) и Г.И. Челпанов (1862-1936). Университет Лосев окончил в 1915 г. по двум отделениям: классической филологии и философии. По рекомендации профессора Н.И. Новосадского он был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию по кафедре классической филологии. Сдав магистерские экзамены, Лосев покидает Московский университет и переезжает в Нижний Новгород для занятия кафедры в университете (1919-1921). В связи с тем, что Лосев интересовался философией математики, он вошел в круг ученых, среди которых наиболее известными были академик Н.Н. Лузин (1883-1950) и профессора С.П. Фиников (1883-1964) и Д.Ф. Егоров (1869-1931). В 1922 г. Лосев женился на Валентине Михайловне Соколовой, астрономе и специалистке по небесной механике.

В краткой рецензии нет возможности рассказать о содержании книги. Это — ученый трактат на тему философии искусства, представляю-

ший собой лосевский синтез того, что было сказано на эту тему неоплатониками, немецкими идеалистами и феноменологами (Плотин, Прокл, Фихте, Шеллинг, Гегель, Гуссерль). Книга состоит из трех частей: : 1) Основные определения (7-37); 2) Антиномика (39-90) и 3) Переход к частной эстетике (91-130). К основному тексту в 130 страниц имеется 117 страниц примечаний.

Хотя в одном месте Лосев пишет: "Я не метафизик, но диалектик, и не идеалист, но мифолог" (стр. 36), этому заявлению не надо верить. Оно было написано для отвода глаз властей предрежащих. Ибо как же назвать абстрактные и теоретические предпосылки эстетики, если не метафизикой этой дисциплины? Ведь об этом автор сам пишет в Предисловии: "Диалектика — точнейшее знание, и диалектический метод — самый точный и надежный метод философии и науки. Но часто эта точность достигается тем, что предмет становится до крайности отвлеченным и схематичным, весьма далеким от живой действительности и ее живого движения и борьбы. Как раз этим отличается и предлагаемая работа. В ней логический скелет искусства обнажен до последней степени, и это, разумеется, вовсе не потому, что в искусстве ничего нет, кроме некоего логического скелета, но только потому, что захватывающая своей жизненностью стихия искусства всегда мешала распознать, проанализировать и формулировать эти его необходимые логические скрепы. В настоящем выпуске я без оглядки бросаюсь в море этой отвлеченной логики для того, чтобы в дальнейших выпусках, уже владея этим логическим слоем искусства, дать анализ и всех прочих слоев искусства" (стр. 4-5).

Выражаясь в терминах абсолютной (креационистической) философии, скажем, что эстетика, как и всякая научная дисциплина, предполагает рассмотрение ее в трех, так сказать, перспективах: метафизики, архитектурники и методологии. Первая — определяет общий закон, общее понятие и непосредственные обстоятельства (субъекта) эстетики; вторая — разрабатывает классификацию составных частей эстетики (их естественную иерархичность, вытекающую из самих принципов, которые полагают или устанавливают их составные части); третья — определяет разные способы действия, свойственные эстетике в процессе ее реализации (методы и способности).

А. Ф. Лосев употребляет несколько различные определения и термины, чем вышеприведенные, но речь в его труде идет о том же.

Игумен Геннадий Эйкалович

Борис Закович. Дождь идет над Сеной. Стихи. Послесловие Р. Герра. Париж, Изд-во "Альбатрос", 1984, 54 стр.

Проф. Ренэ Герра — молодой француз, влюбленный в русскую литературу. Он кропотливо и тщательно собирает фотографии, письма, рукописи тех, кто поддерживал огонь в светильнике русской культуры на чужой земле, и его собрание становится все более известным в научных и журналистских кругах. Проф. Герра — не только собиратель, но и издатель произведений русских писателей и поэтов.

Будучи знаком со многими из них лично, Р. Герра зачастую пишет к своим изданиям и библиографическим работам ценные вступительные или заключительные статьи.

Передо мною новая книга, выпущенная издательством "Альбатрос" и талантливо оформленная художником С. Голлербахом: "Дождь идет над Сеной" — стихи Бориса Заковича с послесловием редактора — составителя Ренэ Герра.

Борис Григорьевич Закович родился в Москве в 1907 году. Россию покинул с семьей тринадцатилетним мальчиком. В Париже начал печататься в 1920 г., сначала в "Сборнике молодых поэтов", затем в "Числах", "Воле России", "Круге" и "Русских записках". Борис Поплавский познакомил своего друга с **Мережковскими**; Закович стал постоянно бывать на их знаменитых "Воскресеньях".

В дневниках Поплавского, посвятившего Борису Заковичу свой "Снежный час", часто упоминаются их совместные блуждания по спящему Парижу, ночи, проведенные в парижских кафе за долгими разговорами.

Эти ночные бдения отражены и в стихах самого Заковича, посвященных В. Мамченку:

Несправедливо мучимые роком,
Искатели и вестники добра
Беседам о прекрасном и высоком
Мы часто посвящали вечера ...

или Лидии Червинской:

С любителями слов о "добром и вечном"
Случается и мне ночами толковать.
Высокие слова, — мне нужные, конечно.

А дома тишина, железная кровать
И пачка папирос, чтоб молча тосковать

Закович входил в литературное объединение "Кочевье", созданное по инициативе М. Слонима. Р. Герра подчеркивает, что "ни славы, ни даже архива у этого поэта, несомненно одаренного, нет." Уже треть века, как в печати не появляется ни одной его строчки, хотя Закович живет и здравствует в Париже и даже продолжает иногда писать стихи. Чтобы составить этот небольшой сборник, редактору пришлось немало потрудиться, разыскивая стихи Заковича по разным старым журналам и антологиям.

Ренэ Герра подчеркивает, что прав был Г. Федотов, когда в свое время писал о том, что трехсот читателей для книги, функция которой — уберечь искры культуры для грядущих поколений, вполне достаточно. Сборник "Дождь идет над Сеной" выпущен именно в количестве трехсот экземпляров. Он дает полное представление о грустной, а порой и желчной музе Заковича. Многочисленные посвящения собратьям-поэтам Б. Поплавскому, Ю. Фельзену, А. Штейгеру, А. Гингеру, Ю. Одарченко и др. позволяют установить тот круг, в котором вращался Б. Закович.

В сборнике только одно датированное стихотворение (1944 г.), но к концу сборника стихи более теплы и умиротворенны, часто обращены к нежно любимой подруге, уже "усталой и седой". Скупая муза Заковича становится все более просветленной и он, как и Бах, в посвященных этому композитору прекрасных, на мой взгляд, стихотворениях, думает уже "не о том, что измененно и пусто", но "о том, что в смертном смерти неподвластно".

Татьяна Фесенко

Ренэ Герра. Библиография Бориса Зайцева. Институт Славяноведения, Париж, 1982. 167 стр.

Имя Бориса Константиновича Зайцева (1881-1972), замечательного русского писателя, широко известного еще в России, но и много написавшего в эмиграции, знакомо каждому русскому, а также и иноязычным знатокам и ценителям подлинно свободной русской литературы.

Б. Зайцев — явление огромное по охвату и значению. Писатель, творец блестящих художественных произведений, он оставил и труды по литературоведению — исследования наследия Данте, Жуковского, Тютчева, Тургенева, Чехова, Блока, Леонида Андреева.

Библиография произведений Бориса Зайцева — большое событие, а то, что предпринял этот труд не природный россиянин, а носитель "острого галльского смысла", француз Ренэ Герра, еще более подчеркивает международное значение Зайцева — писателя русского из русских. Знарок литературы Владимир Вейдле написал краткое, но глубокое по содержанию предисловие "Памяти Бориса Зайцева".

Обстоятельный вводный очерк "Борис Зайцев, или Блуждания русской души" написан самим составителем, в заключение отмечающим верность Бориса Зайцева однажды сделанному выбору между золоченой клеткой (какую избрал, например, А.Н. Толстой), с одной стороны, и "одинокостью и свободой", — с другой.

Составитель прослеживает хронологию Бориса Зайцева, а затем перечисляет библиографические источники. В этом отделе, к слову сказать, я заметил опечатку на странице 46-ой. Заглавие "Русские писатели эмиграции" сопровождается датами 1921-1912, значение которых не самоочевидно. Вторую опечатку заметил я в оглавлении, на странице 165-ой: под номером 140 значится "Курьев" вместо "Курьер".

Зато чрезвычайно обрадовали меня справки No 137 и No 205 о материале о Зайцеве, помещенном в незабвенном харбинском журнале "Рубеж". В более старом номере о Зайцеве писал парижский корреспондент харбинского журнала В. Унковский, а в 1938 году "Рубеж" напечатал приветствие знаменитого писателя к десятилетию журнала. Писала о Зайцеве и харбинская газета "Заря".

Произведения Бориса Константиновича Зайцева были переведены на французский, немецкий, английский, чешский, болгарский, сербохорватский, испанский, голландский, итальянский, венгерский и даже на японский. К сожалению, я не обнаружил перевод на португальский язык. Конечно, культурная элита Португалии и Бразилии может читать Зайцева по-испански или по-французски, но широкой читательской массе, если таковая здесь существует, Зайцев остается недоступным. Нет ли в этом обстоятельстве указания на то, что некая высшая Сила ожидает выполнения этой задачи от моей малости и серости — и от великодушия моего сотрудника, природного бразильца Умберто Маркес Пассоса?

Валерий Перелешин

Екатерина Таубер. "Верность". Париж, Изд-во "Альбатрос", 1984, 44 стр.

Эта маленькая книжечка, скромно и как всегда изящно оформленная художником С. Голлербахом, издана проф. Р.Ю. Герра почти через полвека после выхода в свет первого сборника поэтессы "Одиночество" (1935 г.). "Верность" — пятая книга стихов Екатерины Таубер, в свое время заслужившей одобрительные отзывы Зайцева, Ходасевича и далеко не щедрого на похвалы Бунина.

Е. Таубер сотрудничала в "Современных Записках", "Русских Записках" и в газете "Возрождение" в Париже, а после войны печатала рассказы, стихи и критические статьи в "Новом Журнале" и "Гранях". Она приняла также участие в сборнике "Содружество", вышедшем под моей редакцией в 1966 г. в Вашингтоне. Многие читатели сборника отметили прекрасное стихотворение Е. Таубер — "Твой чекан, бывшая Россия / Нам тобою в награду дан...", заканчивающееся словами:

Вечность верных шадит, не судит
За святого упорства грех.

Стихотворения, вошедшее и в последний сборник, дало имя всей книге.

Всю свою жизнь Екатерина Таубер оставалась верной избранному ей литературному пути, верной своей творческой манере, своим друзьям, своей любви. Она пишет:

... верность, словно вечное объятье,
Ее и смерть не может отменить,

Вдова, "ветхая, в платье ветхом", спешит под осенним дождем на кладбище с целым снопом хризантем:

И незаглохшею связью
С тем, что давно отцвело
Кольца с источенной вязью:
Имя, и год, и число.

Поэтесса стремится:

Предельно вьевшихся морщин
Узор хоть мысленно разглядить.

Спи, старый друг, ты — не один,
Мы — два листка одной тетради.

Таубер верна не только воспоминаниям о детстве в России — “Оно стучится неотвязно / Глубокой старости в окно”, не только памяти о Югославии, где прошла ее юность, но и памяти о ежедневных мелочах, отдаваясь созерцанию “простого мира дремлющих вещей” и наполняя свои стихи бытовыми черточками, делающими их чрезвычайно живыми. Вот “мелкнул огонь заштатного трамвая”; вот “молочника тележка у крылечка / остановилась, скрипнувши едва”. Или целое стихотворение — о сочной, нагретой солнцем сливе:

Шмель над нею, как шалый проносится,
Тихо бабочка кружит, легка,
И коснуться рука моя просится,
И жалеет, и медлит рука.

В доме у Екатерины Таубер теперь “хозяина нет / И хозяйка давно уж не та”,

Только в доме осталась от прожитых лет
Теплота.

Этой теплоты много и в ее небольшом сборнике.

Татьяна Фесенко

ВЫШЛИ ДВА ТОМА ТРИЛОГИИ

РОМАНА ГУЛЯ
"Я УНЕС РОССИЮ"
АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ

ТОМ II. "Россия во Франции". Исправленный и значительно дополненный текст по сравнению с текстом, печатавшимся в "Новом Журнале". Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 356, цена 15 долларов.

ТОМ I. "Россия в Германии". Второе издание. Текст исправленный и значительно дополненный. Много фотографий, факсимиле, указатель имен, стр. 364, цена 12 долларов.

Заказы направлять по адресу "Нового Журнала": "New Review" 2700 Broadway, New York 10025.

Готовится к печати *ТОМ III. "Россия в Америке"*. Перед Америкой — Война во Франции. Великий исход. На стекольной фабрике. Сельскохозяйственные батраки четыре года. Париж после победы: совпатриоты и коллаборанты. Мой уход из масонства. Масоны — адм. Вердеревский, ген. Голлиевский, Игорь Кривошеин и др. Работа с Мельгуновым. Бунин. "Народная Правда". По Германии — встреча с власовцами (СБОНР). Мюнхен, Шляйсхейм, Гамбург, Ганновер. Отъезд в Америку. "Лига борьбы за Народную свободу". Николаевский, Церетели, Керенский, Абрамович, Зензинов, Вишняк. Разрыв с Николаевским и с Лигой, М. М. Карпович и "Новый Журнал", Радиостанция "Свобода". Встреча с Солженицыным. Работа над "Я унес Россию".

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ (главный редактор)
Ю. Д. КАШКАРОВА и Е. Л. МАГЕРОВСКОГО

■
В 1985 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■
Подписная цена на 1985 год 30 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 9 долларов

■
ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — по понедельникам и сре-
дам, от 10-ти до 12-ти час дня
